Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ

Советский писатель

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА

М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
А. М. Туркова

МОСКВА—ЛЕНИНГРАД · 1965

Творчество Николая Алексеевича Заболоцкого сравнительно мало известно широкому кругу читателей. При жизни поэта вышло всего четыре сборника его оригинальных стихов, причем первая книга — «Столбцы» — давно стала библиографической редкостью и стихи этого периода больше никогда не печатались. Из ранних поэм Заболоцкого при жизни была опубликована только одна.

В настоящем издании творчество замечательного советского поэта представлено с большой полнотой. В книгу вошло все наиболее значительное из созданного Заболоцким, включая стихи из ранних сборников и избранные переводы.



НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ

Творчество Николая Заболоцкого еще каких-нибудь десять лет назад было известно лишь немногим любителям современной поэзии. В двадцатые годы Н. Заболоцкий отдал щедрую дань так называемому «левому» искусству, — на его первом сборнике «Столбцы» лежала печать формального экспериментаторства и «остраненного» изображения действительности. С тех пор «Столбцы» не переиздавались, а значительное число произведений, написанных Заболоцким на рубеже двадцатых и тридцатых годов, вообще не появилось в печати при жизни автора.

Мучительно и трудно прокладывал себе новое русло талант поэта, преодолевая возникший после «Столбцов» разлад с читателем. В записи, сделанной незадолго до смерти, Н. Заболоцкий как бы подвел итог своим размышлениям о пройденном пути: «Литература должна служить народу, это верно, но писатель должен прийти к этой мысли сам, и притом каждый своим собственным путем, преодолев на опыте собственные ошибки и заблуждения».[1]

В тридцатые годы Н. Заболоцкий обратился к теме природы. Его поэзия все больше проникалась напряженной мыслью, стремлением постичь сложную диалектику разнообразных связей человека — мыслителя и творца — с породившим и окружающим его миром. Иные из попыток поэта уловить эти связи оказались путаными и наивными («Торжество земледелия»), иные грешили

---

[1] Запись от 10 июля 1958 г. Хранится в архиве семьи Заболоцких.

рационализмом и риторикой, однако в творчестве Н. Заболоцкого (если брать его в целом) произошел очевидный сдвиг. В его даровании обнаружились новые грани, на палитре появились свежие краски. Этот плодотворный процесс не остановило даже то, что в 1938 году Н. Заболоцкий разделил участь многих безвинно пострадавших людей и лишь через несколько лет вернулся к творческой работе.

В своем послевоенном творчестве поэт еще шире раздвинул границы своего поэтического мира. В его стихах стал полноценно, реалистически вырисовываться облик беззаветных тружеников, из чьих усилий слагался великий подвиг народа-созидателя.

Атмосфера, сложившаяся в литературе в результате принятого партией курса на восстановление ленинского стиля руководства страной, вызвала у Н. Заболоцкого огромный творческий подъем. Как и многие поэты старшего поколения — Н. Асеев, В. Луговской, Л. Мартынов, — он переживает своего рода «второе рождение». «Однажды он сказал мне, — вспоминает поэт Б. Слуцкий о последних месяцах жизни Заболоцкого, — что находится в состоянии особого подъема, когда все начатое завершается и когда новые большие замыслы обступают со всех сторон. В немногие месяцы были написаны многие десятки стихотворений. А ведь обычно Николай Алексеевич писал скупо и редко».[1]

Разнообразие тематики, идейная глубина, живописность и классическая ясность последних произведений Н. Заболоцкого вызвали все возрастающий интерес к его творчеству и у читателей, и у критики, до тех пор не баловавшей его вниманием.

1

Николай Алексеевич Заболоцкий родился 24 апреля 1903 года под Казанью, на ферме, где его отец был агрономом.

Вятский крестьянин по происхождению, Алексей Агафонович Заболотский (поэт несколько изменил написание своей фамилии) на казенную стипендию окончил Казанское сельскохозяйственное училище. «По своему воспитанию, нраву и характеру работы он стоял где-то на полпути между крестьянством и тогдашней интеллигенцией, — вспоминал поэт в автобиографическом очерке «Ранние годы». — Не столь теоретик, сколь убежденный практик, он около 40 лет проработал с крестьянами, разъезжая по полям своего

[1] «Литература и жизнь», 1959, 21 июня.

участка, чуть ли не треть уезда перевел с трехполья на многополье и уже в советское время шестидесятилетним стариком был чествуем как герой труда, о чем и до сих пор в моих бумагах хранится немудрая уездная грамота».[1]

Мать поэта Лидия Андреевна Дьяконова — школьная учительница из уездного города Нолинска. В семье было шестеро детей.

В 1910 году семья перебралась на родину отца — в Уржумский уезд Вятской губернии, где А. А. Заболотский получил место агронома в небольшом селе Сернур.

«Мои первые неизгладимые впечатления природы связаны с этими местами, — вспоминал поэт. — Вдоволь наслушался я там соловьев, вдоволь насмотрелся закатов и всей целомудренной прелести растительного мира. Свою сознательную жизнь я почти полностью прожил в больших городах, но чудесная природа Сернура никогда не умирала в моей душе и отобразилась во многих моих стихотворениях».[2]

Н. Заболоцкий был старательным учеником сельской начальной школы, где окончил три класса. Однако его истинным наставником и воспитателем стал книжный шкаф отца. Рядом с заботливо собранными, хотя и не так уж часто листаемыми самим хозяином томиками русских классиков (приложениями к популярному журналу «Нива») красовалось наивно-поучительное, вырезанное из календаря изречение о пользе книг. «Здесь, около книжного шкафа... я навсегда выбрал себе профессию и стал писателем, сам еще не вполне понимая смысл этого большого для меня события»,[3] — вспоминает поэт.

В 1913 году, когда Н. Заболоцкий отправился сдавать экзамены в реальное училище города Уржума, он уже писал стихи.

Несмотря на то что Уржум находился в 180 километрах от железной дороги и мог показаться городом только по контрасту с Сернуром, оборудование училища находилось на высоком уровне. Были кабинеты по физике и химии, класс для рисования с отдельными мольбертами для каждого ученика и копиями античных скульптур. Недаром «живопись была предметом всеобщего увлечения»,[4] а сам Н. Заболоцкий на всю жизнь пристрастился к ней.

---

[1] Сборник «Тарусские страницы». Калуга, 1961, стр. 312.
[2] Там же, стр. 313.
[3] Там же.
[4] Там же, стр. 314.

Не только в «Ранних годах» самого поэта, но и в воспоминаниях его однокашника М. И. Касьянова[1] мы находим благодарные отзывы о некоторых учителях, в особенности об историке В. П. Спасском.

Реалисты участвовали в любительских постановках пьес и даже опер. Стихотворные увлечения и опыты объединяли Н. Заболоцкого с несколькими товарищами, которые, по воспоминаниям Касьянова, издавали рукописный журнал.

Очерк поэта «Ранние годы» обрывается на годах первой мировой войны. Оставленная же им автобиография скупо повествует о последующем, несравненно более важном для его формирования как человека и поэта, времени: «Первые годы революции я встретил 14—15-летним мальчиком. В городе появилось много новой интеллигенции. Были и столичные люди — музыканты, учителя, актеры. Некоторые из них поощряли мои литературные опыты, советовали больше работать, ехать в центр. Намерение сделаться писателем окрепло во мне. Весной 1920 года я окончил школу и осенью приехал в Москву, где был принят на 1-й курс историко-филологического факультета 1-го Московского университета. Однако устроиться в Москве мне не удалось, и в августе 1921 года я уехал в Ленинград и поступил в Педагогический институт им. Герцена по отделению языка и литературы. ...Жил в студенческом общежитии. Много писал, подражая то Маяковскому, то Блоку, то Есенину. Собственного голоса не находил. Считался способным студентом и одно время даже думал посвятить себя всецело науке. Но привязанность к поэзии оказалась сильнее... В 1925 году я окончил институт. За моей душой была объемистая тетрадь плохих стихов, мое имущество легко укладывалось в маленькую корзинку. В 1926 году я был призван в армию. Военную службу я отбывал в Ленинграде, на Выборгской стороне, в команде краткосрочников 59-го стрелкового полка 20-й пехотной дивизии. Наша большая стенгазета, в редакцию которой я входил, считалась лучшей стенгазетой в округе. В 1927 году я сдал экзамены на командира взвода и был уволен в запас».[2]

В воспоминаниях М. И. Касьянова можно найти некоторые подробности короткого пребывания Заболоцкого в Москве. Необходимость как-то обеспечить себе существование заставила однокашников поступить и на медицинский факультет, где можно было получить продовольственный паек. «...Вечера мы делили ме-

---

[1] Рукопись в архиве семьи Заболоцких.
[2] Н. Заболоцкий. Избранное. М., 1960, стр. 233.

жду посещениями театров, Политехнического музея, кафе поэтов... В театры нам удавалось ходить редко, финансы наши этого нам не позволяли; разве что иногда посчастливится проникнуть зайцами, но обычно уже на второе действие. Николаю, да и мне, особенно нравился театр Мейерхольда. Большое впечатление на нас произвели «Зори» Э. Верхарна, когда в последнем действии актер, вместо полагающегося по ходу действия монолога, зачитал свежую фронтовую сводку о взятии Перекопа... В Политехнический музей мы ходили на различные диспуты и на литературные вечера. Там мы не раз слушали Брюсова, читавшего свои новые стихи. Бывали мы и на вечерах пролетарских поэтов: В. Кириллова, М. Герасимова, А. Гастева. Очень часто выступал там В. В. Маяковский... Гораздо чаще, чем в Политехническом музее, мы бывали в кафе поэтов «Домино» на Тверской... Царили в кафе поэтов тогда имажинисты во главе с Вадимом Шершеневичем... Часто бывал в кафе Сергей Есенин...»

Однако формирование Н. Заболоцкого как поэта произошло несколько позже. «Появляется какое-то иное отношение к поэзии, тяготение к глубоким, вдумчивым строфам, тяготение к сильному смысловому образу», — писал он Касьянову 7 ноября 1921 года, уже из Ленинграда. В других письмах к Касьянову упоминается «божественный Гете» и «замечательные стихи» О. Мандельштама, к которым юноша испытывает «непреодолимое влечение».

Впоследствии Заболоцкий говорил, что самое сильное влияние на него в молодости оказали «Диалектика природы» Ф. Энгельса и труды К. Циолковского.[1] «Диалектика природы» впервые появилась в печати только в нашей стране, в 1925 году. Н. Заболоцкий читал либо это, либо второе, более удачное издание 1929 года и, видимо, был настолько захвачен мастерски нарисованной картиной вечного круговорота и разнообразных взаимосвязей, существующих в природе, что это в известной мере отразилось в его позднейших произведениях.

Забегая вперед, скажем, что в 1931—1932 годах между К. Э. Циолковским и Заболоцким возникла переписка, что поэт послал ученому «Торжество земледелия», а тот ему несколько своих работ. «Ваши книги я получил, — писал Заболоцкий. — Благодарю Вас от всего сердца. Почти все я уже прочел, но прочел залпом. На меня надвинулось нечто до такой степени новое и

---

[1] См.: Симон Чиковани. Верный друг грузинской поэзии. — «Литературная Грузия», 1958, № 6, стр. 68.

огромное, что продумать его до конца я пока не в силах: слишком воспламенена голова».[1]

Вскоре по окончании службы в армии Заболоцкий примкнул к группе «обереутов» — молодых писателей, создавших полудомашнее «Объединение реального творчества». В «объединение» входили А. Введенский, Ю. Владимиров, Д. Хармс и некоторые другие начинающие литераторы. Близок к ним был поэт и прозаик К. Вагинов, выступавший в литературе с начала двадцатых годов. В декларации «обереутов» утверждалось право поэтов на интуитивное постижение мира, на аналитическое разложение его на составные элементы сообразно «внутреннему чувству» художника. Входившие в «объединение» поэты отдали дань довольно разнородным литературным влияниям, в их стихах слышались отзвуки то Хлебникова, то Мандельштама.[2] «Обереутам» не удалось как-либо выделиться среди прочих пестрых литературных объединений и групп двадцатых годов. Стихи большинства из них так и остались не собранными. Проза К. Вагинова вращалась в кругу переживаний интеллигенции либо откровенно обывательского толка («Бамбочада», 1931), либо фатально замкнутой в своем профессиональном мирке («Козлиная песня», 1928; «Труды и дни Свистонова», 1929).

Вместе с другими «обереутами» Н. Заболоцкий начал пробовать силы в детской литературе. Выпуском детской литературы в Ленинградском отделении Государственного издательства тогда руководил С. Я. Маршак. Вспоминая о работе для детей Д. Хармса, А. Введенского и Ю. Владимирова, Л. К. Чуковская пишет: «Это были молодые, еще совсем молодые люди... задорно называвшие себя непонятным именем «обереуты» и сочинявшие, в подражание Хлебникову, заумные стихи. Какой прок, казалось бы, можно извлечь для детской литературы, требующей содержательности и ясности, из заумного творчества? «Но мне казалось, что эти люди могут внести причуду в детскую поэзию, ту причуду в считалках, в повторах и припевах, которой так богат детский фольклор во всем мире», — рассказывал впоследствии Маршак. За

---

[1] Этот отзыв приведен как письмо литератора Н. З. из Ленинграда, присланное в январе 1932 г., в брошюре К. Циолковского «Стратоплан — полуреактивный». Калуга, 1932, стр. 31. Подробнее об этом см.: А. Павловский. Из переписки Н. А. Заболоцкого с К. Э. Циолковским. — «Русская литература», 1964, № 3, стр. 219—226.

[2] См., например, Конст. Вагинов. Опыты соединения слов посредством ритма. Л., 1931.

их молодым, задорным экспериментаторством он сумел разглядеть и талантливость, и большую чуткость к слову».[1]

В редакции популярных детских журналов «Еж» и «Чиж», где работали поэт Н. М. Олейников[2] и Е. Л. Шварц (впоследствии известный драматург), также царила атмосфера, благоприятная для творчества, пронизанная искренним интересом к маленьким читателям. Редакция охотно печатала наивные детские рисунки, и не только художники-иллюстраторы были не прочь перенять у ребят поразительную свежесть и остроту зрения, наблюдательность, сквозящую в рисунках откровенность оценок. «Снизу к туловищу приделаны ноги. Четыре штуки, и все на копытах» — так описывает мальчишка носорога в рассказе Н. Заболоцкого «Приключения врунов».[3] Интерес к детскому мировосприятию и творчеству сказался и в ранних стихах Н. Заболоцкого.

2

Первый сборник Николая Заболоцкого «Столбцы» (1929) расценивается обычно как проявление растерянности поэта перед нэпом, перед мещанством, с одной стороны, и как результат увлечения формальными задачами, — учеба у Хлебникова, — с другой. Дальнейший путь Заболоцкого справедливо трактуется как отход от «Столбцов» и примыкающих к ним поэм («Торжество земледелия», «Безумный волк», «Деревья») и обращение к традициям классической русской поэзии. В этой трактовке есть, однако, известная схематичность.

Зрелый Заболоцкий не мыслил себе сколько-нибудь полного издания своих стихов без ранних произведений, хотя многочисленные и часто весьма существенные изменения, внесенные в подготовленный им к печати в последние годы жизни текст «Столбцов» и поэмы «Торжество земледелия», говорят о том, что автор не остался глух к критике, которой подверглись эти произведения.

---

[1] Лидия Чуковская. В лаборатории редактора. М., 1960, стр. 257.

[2] Стихи Н. М. Олейникова не собраны. Некоторые из них, появившиеся в 1934 году в журнале «30 дней» (№ 10), были восприняты как запоздалое подражание «Столбцам» Заболоцкого (см. рецензию А. Тарасенкова в «Литературной газете», 1934, 10 декабря). Мнение это вряд ли основательно, и во всяком случае это литературное «родство» нуждается в дальнейшем изучении.

[3] «Еж», 1929, № 4, стр. 24.

Видимо, ранний период творчества имел в глазах зрелого Заболоцкого ценность, несмотря на то что поэзия его с годами претерпела весьма резкие изменения.

Странный, причудливый мир «Столбцов», «Торжества земледелия» и других произведений поэта 1926—1933 годов невозможно объяснить и истолковать, не учитывая сложности самого времени, когда эти стихи создавались. Этот период — один из самых сложных и решающих в истории нашей страны.

Стремительность, с какой поначалу совершалось триумфальное шествие Советской власти, быстрота, с которой тот, кто, по словам «Интернационала», «был ничем», почувствовал себя «всем», исторические дали, еще вчера казавшиеся почти недосягаемыми, но вдруг придвинувшиеся, — все это породило в некоторых восторженных умах преувеличенные представления о скорости, простоте и безграничных возможностях общественного развития. То обстоятельство, что революция в кратчайшие сроки отторгла у старого мира одну шестую планеты, объясняет «космические» масштабы, к которым тяготели поэты «Кузницы». Преображение Земли казалось делом ближайшего будущего. Фантазия далеко обгоняла действительность, стучалась в двери других миров. Революция — коренное преобразование — казалась универсальным, безотказным ключом ко всем проблемам мироздания. Потребовались немалые усилия В. И. Ленина, для того чтобы растолковать опасность «преувеличения революционности, забвения граней и условий уместного и успешного применения революционных приемов». [1]

Нэповский быт обнаружил бо́льшую живучесть старого, чем это представлялось в годы наступления. Плакатная гидра капитализма показалась недавним мечтателям в своем будничном обличии, повсюду подымая тысячи новых голов и приводя кое-кого в отчаяние своим кажущимся бессмертием после тех ударов, которые были на нее обрушены. Долгое время наше литературоведение рассматривало все произведения тех лет, в которых звучала тревога за судьбу революционных завоеваний в условиях нэпа, как проявление паники перед новой сложной действительностью. Конечно, сетования некоторых авторов были попросту наивны, о чем говорил В. И. Ленин на XI съезде РКП(б). [2] Однако вряд ли можно распространять эту оценку на многие произведения, появившиеся позже, когда общественно-политическая обстановка существенно изменилась. Больше того, думается, что совет-

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, изд. 5-е, т. 44, стр. 223.
[2] Там же, т. 45, стр. 88.

ская историческая наука, исследуя корни отрицательных явлений в жизни нашего общества, связанных с культом личности И. В. Сталина, сможет опереться и на некоторые свидетельства литературы двадцатых годов. Сложная обстановка того времени отражалась в литературе и искусстве в зависимости от мировоззрения, таланта и жизненного опыта художника; она сказывалась и в борьбе за те или иные художественные стили и формы. Последний вопрос пока еще мало изучен.

Несмотря на всю сложность вопроса, решение которого невозможно в рамках этой статьи, необходимо высказать несколько общих соображений о так называемом «левом» искусстве, существенных для понимания раннего творчества Заболоцкого. А. В. Луначарский писал, что «новейшие искания являются продуктами распада буржуазного мира, приведшего также к глубокому кризису сознание мелкой буржуазии»,[1] и действительно, в большинстве своем «левые» течения в искусстве возникли как своеобразное отражение социального пессимизма, бесперспективности. Жизнь трактовалась ими как трагический бесчеловечный кошмар, лишенный смысла и логики. Эстетике реализма противопоставлялась иная эстетика, ставящая под сомнение необходимость отражения мира в его непосредственно, чувственно воспринимаемых формах, «жизни в формах самой жизни». И вместе с тем тот же А. В. Луначарский, как и Г. В. Плеханов, еще более резко относившийся к безыдейному оригинальничанью мнимых новаторов, — в оценке целого ряда конкретных явлений искусства, связанного с «новейшими исканиями», выказывал тонкое понимание возможностей, заложенных в их творческих исканиях. Таковы, например, отзывы Плеханова об импрессионизме или Луначарского — о театре Мейерхольда.

Стоит задуматься над тем, почему отдали дань увлечению «левым» искусством многие из складывавшихся в двадцатые годы поэтов, писателей, композиторов, живописцев, в том числе Маяковский, Пастернак, Сергей Прокофьев, Пабло Пикассо. Ведь эти большие художники были искренни в своих экспериментах и в своей преданности революции, в желании служить своим творчеством народу.

Возникшее на закате буржуазной культуры «левое» искусство настойчиво объявляло себя провозвестником и предтечей социальной революции. «Странная ломка миров живописных была пред-

---

[1] А. В. Луначарский. О театре и драматургии, т. 1. М., 1959, стр. 222.

течею свободы, освобожденья от цепей», — писал Хлебников в стихотворении «Бурлюк». Смутно чувствуя, что в мир приходит что-то новое, невиданное, «левые» поэты и художники пытались предугадать его черты. Прошлое человечества было скомпрометировано, и это давало, казалось, основание для наивных предположений, что буквально все, с ним связанное, надо отбросить и сжечь, как грязное белье, кишащее микробами и паразитами. История так убыстрила свое течение, ввела столько нового в различные области человеческого существования, что казалось совершенно невозможным обойтись уже канонизированными формами художественного языка. Искусство хочет шагать в ногу с веком. Разительная новизна формы и содержания стихов Маяковского, музыки Прокофьева была неоспорима.

Однако уже к середине двадцатых годов даже самые благожелательно настроенные к «левому» искусству критики стали отмечать признаки его кризиса.

Народ видел в искусстве орудие познания новой действительности, орудие самопознания. Подчас это отражалось в наивной форме, но по существу это диктовалось огромным уважением к искусству, в особенности к литературе, всегда бывшей для читателя наставником и учителем.

Шумные декларации о создании нового искусства на основе отказа от художественных традиций не получили опоры в практике «левых» течений. Формальные эксперименты разного рода представляли интерес лишь для узкого круга рафинированных «знатоков». Некоторых художников постигла та же трагедия, что и Френхофера («Неведомый шедевр» Бальзака), на чьей картине, бывшей результатом долголетнего труда, потрясенные зрители увидели рядом с изумительно живописным куском «хаос красок, тонов, неопределенных оттенков, образующих некую бесформенную туманность». Стремление приверженцев традиционных поэтических и художественных форм опереться на инерцию читательского мышления, зрительского восприятия вызывало у «левых» протест, доходивший до игнорирования критерия доступности искусства вообще. При этом сохранялись и даже канонизировались приемы, прежде рассчитанные на эпатирование буржуазии и совершенно неуместные по отношению к новым читателям и зрителям.

Наиболее талантливые сторонники «левого» искусства с тревогой ощущали, что им нет отзвука.

И с ужасом
Я понял, что я никем не видим:

Что нужно сеять очи,
Что должен сеятель очей идти!

(В. Хлебников. «Одинокий лицедей»)

Творчество самого В. Хлебникова — ярчайший пример внутренней противоречивости «левого» искусства. Неутомимая работа поэта над словом, несмотря на лингвистическое чутье и талант, сплошь и рядом оказывалась бесплодным экспериментаторством, в котором не было никакой реальной потребности. С наивностью средневекового алхимика Хлебников искал своего рода «философский камень», могущий дать необычайные результаты, — то пытался вывести математические «законы времени», определяющие исторические события, то усматривал в буквах символическое значение и собирался на этой основе создать новый язык. Современник пишет о глазах В. Хлебникова: «...какая-то бесперспективная глубина была в их жемчужно-серой оболочке, со зрачком, казалось неспособным устанавливаться на близлежащие предметы».[1] И все, что у В. Хлебникова доступно более или менее широкому кругу читателей, обязано своим возникновением тому, что его «зрачок» все-таки останавливался на каких-то «близлежащих» предметах и событиях и, пусть при помощи причудливых ассоциаций, передавал их реальные очертания. Тогда его талант вырывался из круга сомнамбулического созерцания языковых соответствий, начинал работать не вхолостую, и рождались интересные стихи о войне, революции, голоде в Поволжье, нэпе — яркие и в основе своей реалистические.

Однако подражатели В. Хлебникова, в том числе и «обереуты», часто избирали себе за образец как раз его «заумные» стихи. И даже пытались превзойти своего учителя:

верьте верьте
ватошной смерти
верьте папским парусам
дни и ночи
холод пастбищ
голос шашек
птичий срам
ходит в гости тьма коленей
летний штык тягучий ад

---

[1] Бенедикт Лившиц. Полутораглазый стрелец. Л., 1933, стр. 134.

гром гляди каспийский пашет
хоры резвые
посмешищ
небо грозное кидает
взоры птичьи на Кронштадт

(А. Введенский)

Н. Заболоцкий никогда не доходил до столь демонстративного разрушения поэзии, хотя тоже позволял себе алогизм и эксцентричность образа. Восприятие многих его ранних стихов затруднено мудреными, намеренно ошарашивающими читателя уподоблениями, неожиданно выбранными ракурсами. Такие стихи, как «Футбол» или «Офорт», напоминают загадочные картинки.

Вспоминая времена своей молодости, когда косноязычие возводилось многими его сверстниками в добродетель, Сергей Прокофьев писал: «В ту пору, занятый поисками нового гармонического языка, я просто не понимал, как можно любить Моцарта с его простыми гармониями».[1]

Молодой Н. Заболоцкий не ощущал трагичности положения «одинокого лицедея» — актера без зрителей. Опасность оказаться замкнутым в сфере «чистого искусства» еще не пугала его. Он видел даже некоторую привлекательность в противопоставлении искусства жизни. «Искусство похоже на монастырь, где людей любят абстрактно, — утверждал он в одном из писем. — Ну, и люди относятся к монахам так же. И несмотря на это монахи остаются монахами, т. е. праведниками. Стоит Симеон Столпник на своем столбе, а люди ходят и видом его самих себя — бедных, жизнью истерзанных — утешают. Искусство — не жизнь. Мир особый. У него свои законы, и не надо их бранить за то, что они не помогают нам варить суп...»[2]

Многое в этом высказывании идет от склонности к парадоксу. Разумеется, искусство не должно быть голо утилитарным. Однако элементы известного эстетического «высокомерия» по отношению к «не посвященным» в специфические «тайны» искусства в приведенном нами отрывке, безусловно, есть. Столь ревниво охраняемая от любых покушений свобода художественного эксперимента, преображения действительности могла иметь своим результатом пол-

---

[1] Сергей Прокофьев. Материалы. Воспоминания. Письма. М., 1956, стр. 21.

[2] Письмо к Е. В. Клыковой от 29 октября 1929 г. Хранится в архиве семьи Заболоцких.

ный, ничем не контролируемый произвол, доходящий до капризного своеволия.

Впрочем, следует заметить, что «творческие принципы» «обереутов» не всегда можно было принимать всерьез. Многое в их «теоретической» и «организационной» деятельности шло от игры, от пародии на уже существовавшие в литературе нравы и традиции. Так, сохранились свидетельства об анкете, которую должны были заполнить вступавшие в ОБЕРЕУ: в ней следом за вопросом об имени, отчестве и фамилии... шло предложение подчеркнуть, какое мороженое вы предпочитаете: сливочное, земляничное или клубничное.

Впоследствии Н. Заболоцкий дал жестокую оценку некоторым тенденциям, содержавшимся в «Столбцах»: «Изображение вещей и явлений в ту пору было для меня самоцелью... В некоторых стихах, явно экспериментальных, формалистические тенденции выступали еще резче. В ту пору мне казалось, что совершенствовать форму можно независимо от содержания и что эти эксперименты представляют самостоятельный интерес».[1]

Однако при всем том было бы неверно свести «Столбцы» лишь к словесному эксперименту. На них лежит отсвет того времени, когда они были созданы. Мир собственничества, самоуспокоения, косная мещанская среда, не порождающая иных идеалов, кроме мечты о все большем благополучии и богатстве, — вот главный объект, который Заболоцкий старался изобразить с беспощадной, отталкивающей выразительностью, вплоть до поэтического гротеска. Стоит прочесть описание «мясистых баб большой стаи» и их мужей, важно восседающих на «красной свадьбе», или стихотворение «Ивановы», где:

...мир, зажатый плоскими домами,
стоит, как море, перед нами,
грохочут волны мостовые,
и через лопасти колес —
сирены мечутся простые
в клубках оранжевых волос.
Иные — дуньками одеты,
сидеть не могут взаперти:
ногами делая балеты,
они идут. Куда идти,
кому нести кровавый ротик,
кому сказать сегодня «котик»,

[1] «Литературный Ленинград», 1936, 1 апреля.

у чьей постели бросить ботик
и дернуть кнопку на груди?
Неужто некуда идти?! [1]

Трагически воспринимая отрицательные стороны нэпа, многие поэты искали опоры в романтике непосредственно революционной поры, гражданской войны, когда борьба с врагом шла в открытую, с откровенной прямотой (М. Светлов, И. Уткин, М. Голодный). У Заболоцкого эта тема своеобразно преломляется в стихотворении «Пир» с его почти одическим воспеванием штыка:

О штык, летающий повсюду,
Холодный тельцем, кровяной,
О штык, пронзающий Иуду,
Коли еще — и я с тобой!
Я вижу — ты летишь в тумане,
Сияя плоским острием,
Я вижу — ты плывешь морями
Гранитным вздернутым копьем.

В «Столбцах» сквозит тревожное раздумье о том, что старый быт манит людей мнимой полнотой жизни, плотскими радостями, составляя заманчивый контраст по необходимости суровому, временно носящему несколько аскетический характер и поглощающему у людей много сил строительству новой жизни. Нэповский быт притягивает к себе не только обаянием «пошлости таинственной» (о которой говорил еще Блок), веющей в «глуши бутылочного рая» вечернего бара или в толпе «сирен», снующих по вечернему Невскому. Он обещает исполнение простейших человеческих желаний, элементарных и необходимейших потребностей — радоваться жизни, любить. И не сразу разберешься, что его товар с изъяном, что это подделка: радость жизни оказывается сытым самодовольством, любовь — пошлостью. В самой интонации «Столбцов» — в увлеченных, подробных и наивно-косноязычных описаниях обступающего героев вещного мира — есть что-то от взгляда человека, жадно и настороженно взирающего на «соблазны бытия». Так глядят в «Цирке» на сцену; на снедь — в «Рыбной лавке»; в «Обводном канале» — на изобилие этой тогдашней петроградской Сухаревки.

В повадках торгашей с Обводного канала есть что-то гипнотизирующее людей:

[1] Первоначальный вариант.

И нету сил держаться боле,
Толпа в плену, толпа в неволе,
Толпа лунатиком идет,
Ладони вытянув вперед.

Да, все это дразнит, влечет, но не таится ли за этой приманкой, к которой так естественно потянуться, нечто темное, смутное, подстерегающее и требующее отступничества от того, чем ты до сих пор жил? И почти одновременно с «Клопом» Маяковского пишутся такие стихи Заболоцкого, как «Новый быт» и «Свадьба». Величающий себя «новой жизни ополченцем», герой «Нового быта», который «к невесте лепится ужом», и другой жених — из «Свадьбы», — «приделанный к невесте и позабывший гром копыт», — оба они, так же как и Присыпкин, «с треском от класса отрываются». При всем сходстве трактовки и даже отдельных образов, картина, рисуемая Заболоцким, выглядит более устоявшейся и потому более мрачной.

Заболоцкий не в силах выйти за пределы пугающего его мирка. Как будто нет нигде вокруг ни тех, которые ценой напряженного труда и немалых лишений строят социалистическую индустрию (сравним хотя бы написанный в те же годы «Рассказ о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» В. Маяковского), ни людей, после боя засевших за учебу и открывших для себя огромный мир знания («Рабфаковка» М. Светлова), ни самого юного поколения, полного чистейшей, бескомпромиссной готовности жить и умереть коммунистами («Смерть пионерки» Э. Багрицкого). Одна Медуза-Горгона мещанства властно приковывает к себе взгляд поэта.

Характерен пейзаж, открывающийся поэту из окна:

...на весь квартал
Обводный царствует канал.

(«Обводный канал»)

На Обводном канале размещался тогда рынок, превращающийся в стихах Заболоцкого чуть ли не в символ мироздания:

Маклак штаны на воздух мечет,
Ладонью бьет, поет как кречет:
Маклак — владыка всех штанов,
Ему подвластен ход миров,
Ему подвластно толп движенье...

*

Начавшись с шутки («владыка всех штанов»), изображение маклака делается потом довольно зловещим.

С другой стороны, Н. Заболоцкий не различает в это время современных модификаций мещанства, способного вывесить вместо иконы портреты «вождей» и процветать уже не под сладкие вздохи гитары, а под барабанный бой (Победоносиков из «Бани» В. Маяковского). Мещанство кажется ему каким-то извечным злом, и порой поэт даже начинает рассматривать свое неприятие мещанства как нечто благородное, но бесцельное.

В «мире, зажатом плоскими домами», он порой чувствует себя таким же трагически одиноким безумцем, как кот в стихотворении «На лестницах»:

Сомненья нету: замкнут мир
И лишь одни помои плещут
Туда, где мудрости кумир.

Рассказав о том, как «взбунтовавшийся» кот обрел печальный конец, поэт невесело заключает:

И я на лестнице стою,
Такой же белый, важный.
Я продолжаю жизнь твою,
Мой праведник отважный.

Такой взгляд на окружающее породил и своеобразное художественное вúдение. Явления и вещи как бы выступают в двойственном обличии — и в своей чувственной конкретности, и как принадлежность мира собственничества, воплощение всей его скверны. Отчасти поэтому в «Столбцах» ощущается известное противоборство двух стилевых стихий: яркие и сочные мазки сменяются резкими, грубыми штрихами.

Подходит к девке именитой
Мужик роскошный, апельсинщик.
Он держит тазик разноцветный,
В нем апельсины аккуратные лежат.
Как будто циркулем очерченные круги,
Они волнисты и упруги;
Как будто маленькие солнышки, они
Легко катаются по жести
И пальчикам лепечут: «Лезьте, лезьте!»

(«Народный дом»)

А рядом природа выступает всего лишь как подобие мещанского быта.

Обмякли деревья. Они ожирели,
как сальные овечи. Казалося нам —
под ними не пыльный ручей пробегает,
а тянется толстый обрывок слюны.

(«Лето», 1927)

В «Народном доме» мы встретим «фонарь, бескровный, как глиста», а в стихотворении «На лестницах» — нарочито подробную в своей натуралистичности картину кухонной стряпни:

Там от плиты и до сортира
Лишь бабьи туловища скачут.
Там примус выстроен, как дыба,
На нем, от ужаса треща,
Чахоточная воет рыба
В зеленых масляных прыщах.
Там трупы вымытых животных
Лежат на противнях холодных...

При всей спорности своей первой книги, вызвавшей в печати много крайне отрицательных оценок, Заболоцкий, хоть и рассматривал ее как уже пройденный этап, тем не менее не считал возможным целиком сбрасывать со счета. «„Столбцы", — говорил он, — научили меня присматриваться к внешнему миру, пробудили во мне интерес к вещам, развили во мне способность пластически изображать явления. В них удалось мне найти некоторый секрет пластических изображений». [1]

В статье «О стихах Н. Заболоцкого», вспоминая о том, как критики усматривали в «Столбцах» инфантилизм, М. Зощенко писал: «Но это кажущаяся инфантильность. За словесным наивным рисунком у него почти всегда проглядывает мужественный и четкий штрих. И эта наивность остается как прием, допустимый в искусстве». [2] Разумеется, «возврат» к детскому видению привлекателен для художника уже сам по себе — это как бы возврат к непосредственности восприятия: между ребенком и миром нет или почти нет затуманивающей реальные очертания завесы привычных восприятий, автоматических ассоциаций, канонических представлений. Детское видение почти не подчинено и той свое-

[1] «Литературный Ленинград», 1936, 1 апреля.

[2] Мих. Зощенко. Рассказы, повести, фельетоны, театр, критика. 1935—1937. Л., 1937, стр. 381.

образной «автоцензуре», которая непроизвольно вмешивается в наше восприятие и довольно жестко корректирует его согласно определенным, уже принятым вкусам и меркам. Ребенок передает свои впечатления от вещей, не заботясь о том, как «надо» их видеть и как «полагается» об этом говорить. Подобная смелость ощущается в некоторых ранних стихах Заболоцкого:

Сидит извозчик, как на троне,
Из ваты сделана броня,
И борода, как на иконе,
Лежит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,
То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкают
В его блестящем животе.

Название этого стихотворения — «Движение» — ставит нас на ту же точку зрения, с которой сделан этот рисунок. И действительно, как поразителен контраст между недвижно и важно восседающим монументальным возницей и бешено летящим конем! И как быстро мелькают ноги животного, так что их кажется больше, чем есть на самом деле!

В стихах Заболоцкого валит «картошкой дым под небеса», груди у русалок — «крепкие, как репа», а ножки у маленькой собачонки — «грибные». Даже в поздних стихах Заболоцкого нередко встречаешь строки и строфы, обязанные своим возникновением пройденной им в начале пути школе.

Вот Север:

...Где люди с ледяными бородами,
Надев на голову конический треух,
Сидят в санях и длинными столбами
Пускают изо рта оледенелый дух;
Где лошади, как мамонты в оглоблях,
Бегут, урча; где дым стоит на кровлях,
Как изваяние, пугающее глаз...

(«Север», 1936)

А вот картина зоопарка, где:

...звери сидят в отдаленье,
Приделаны к выступам нор.

(«Лебедь в зоопарке», 1948)

Однако М. Зощенко был прав, считая, что «инфантилизм» в «Столбцах» имеет смысл, выходящий за пределы чисто живописной задачи. Порой мнимо простодушная интонация оттеняет и горькую издевку над убожеством быта, желаний, идеалов мещанской среды («Цирк»).

Разнообразно использованы в «Столбцах» и «архаические» средства поэзии XVIII века, тяготение к которым у Заболоцкого справедливо отмечал в своей рецензии на «Столбцы» Н. Степанов.[1] Вспомним одический характер обращения к штыку («Пир»). Как будто из описаний благоуханной жизни Державина в Званке с ее застольным великолепием вышел «мужик роскошный, апельсинщик» со своим заманчивым товаром. Динамичная живопись «Столбцов» по-своему близка к предметности державинских од; однако часто, при внешнем сходстве того или иного образа («дебелые» деревья у Державина и «ожиревшие» — у Заболоцкого), там, где Державин ограничивается конкретным описанием, Заболоцкий доискивается образа, способного воплотить свойства всего окружающего мира, как он его в то время понимал.

8

В двадцатые годы довольно часто высказывались взгляды на природу как на двойник косного быта, подлежащий заодно с ним полной революционной переплавке. Так, один из героев И. Катаева ставил своей целью «смелое, продуманное вмешательство в косные законы жизни, которая раньше неумно и вяло текла сама по себе».[2] И когда Хлебников призывал в поэме «Ладомир» «зажечь костер почина земного быта перемен», то в его утопической программе закономерно значилось:

И будет липа посылать
Своих послов в совет верховный...
Я вижу конские свободы
И равноправие коров...

Выступая на дискуссии о формализме, Н. Заболоцкий так объяснял пафос, владевший им при работе над поэмой «Торжество земледелия»: освобождение человека от эксплуатации означает начало новой жизни и для природы, лучшей частью которой он

---

[1] «Звезда», 1929, № 3.
[2] Иван Катаев. Избранное. М., 1957, стр. 357.

является. Прежде он отделял себя от природы, чувствовал себя ее властелином, который должен полностью подчинить ее себе, чтобы ему самому хорошо жилось. И если раньше сквозь всю историю человечества явственно проходило чувство разобщенности с природой, то ныне приближается время, когда, по словам Энгельса, люди будут не только чувствовать, но и сознавать свое единство с природой, когда сделается невозможным противопоставление человека и природы, духа и материи. Победив эксплуататоров во всем мире, человечество не может не заметить, что по отношению ко всей остальной «живой» и «мертвой» природе оно само является «эксплуататором». И если в прошлом человек был повинен в вымирании или истреблении целых видов и, может быть, в задержке развития и усовершенствования других, то теперь он «распространит всеобщий творческий труд и плановость» на природу и «из ее эксплуататора превратится в ее организатора». Мысль Энгельса, на которую ссылается Заболоцкий, содержится в «Диалектике природы» («Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека»).

Было бы, разумеется, наивно отыскивать в стихах поэта какие-либо прямые параллели с работой Энгельса: Заболоцкий не ставил себе подобных иллюстративных задач. Прочитанное будило его собственную мысль и фантазию, и они шли своими путями, часто отнюдь не бесспорными и осложненными иными литературными влияниями.

Отмеченное самим Заболоцким воздействие работ Циолковского тоже проявилось в его стихах опосредствованно. Поэта привлекала вера изобретателя в неистощимое творчество природы, в разнообразие преображений, которым подвергается каждый ее элемент, вера в гигантские перемены, которые произойдут на Земле и даже в космосе под воздействием человеческого разума, человеческого труда. Однако, как мы увидим, будущее, которое рисуется в утопической поэме «Торжество земледелия», разнится от представления Циолковского и ближе к упованиям Велемира Хлебникова, чей образ появляется в одной из глав поэмы:

...человек, отпав от века,
Зарытый в новгородский ил,
Прекрасный образ человека
В душе природы заронил.

Разумеется, реставрация хлебниковской утопии о «конских свободах» и «равноправии коров» в обстановке 1929—1930 годов,

в пору драматических событий в деревне, — замысел чисто умозрительный, не находящий достаточно прочной опоры в реальной действительности. Коллективизация послужила для Заболоцкого лишь внешним поводом для воплощения занимавшей его идеи.

Один из исследователей назвал «Торжество земледелия» «ироикомической поэмой».[1] Действительно, патетика замысла поэмы приходит в некоторое противоречие с натуралистической, «приземленной» окраской авторского изложения и речи персонажей, приобретающей подчас даже какой-то пародийный характер (например, описание Солдатом своей жены).

Можно предположить, что Заболоцкий просто некритически повторил некоторые приемы, ранее использовавшиеся для изображения мещанского мирка «Столбцов». Однако, возможно, что поэт искал стилистического решения задачи показать и трудность рождения нового в реально существующих условиях, и нелегкую работу мысли героев, встающих в совершенно новые отношения к миру, к природе.

«Торжество земледелия» попало под сильнейший обстрел критики.[2] Однако эта участь была определена не только действительными промахами поэта.

При всей причудливости замысла поэмы, многие настораживающие критиков «эксцентричности» («юродство»), будучи исследованы в рамках образной системы автора, поддаются совершенно конкретному истолкованию и даже имеют известные литературные аналогии. Фанатическая приверженность ко всему новому, резкость и категоричность, проявляемая Солдатом в разговорах с односельчанами и объясняющаяся наивным нетерпением, желанием все быстро изменить, отчасти напоминают черты шолоховского Нагульнова, при всем несходстве самой манеры изображения. А судьба сохи, выступающей как убежище «бога» частной собственности, приводит на память «Прощание с омачом» Н. Тихонова, где этот истертый деревянный плуг просит сжечь его, боясь стать «знаменем» врагов.

Тем не менее в картине, нарисованной Заболоцким, упорно

---

[1] А. Павловский. Из переписки Н. А. Заболоцкого с К. Э. Циолковским. — «Русская литература», 1964, № 3, стр. 220.

[2] В. Ермилов. Юродствующая поэзия и поэзия миллионов. — «Правда», 1933, 21 июля; Е. Усиевич. Под маской юродства. — «Литературный критик», 1933, № 4, стр. 78—91; Ан. Тарасенков. Похвала Заболоцкому. — «Красная новь», 1933, № 9, стр. 177—181; Осип Бескин. О поэзии Заболоцкого, о жизни и о скворешниках. — «Литературная газета», 1933, 11 июля.

искали сатиру на тогдашнюю деревню или подозревали пасквиль на социалистические идеалы, доходя до отождествления Н. Заболоцкого с кулацкими поэтами Н. Клюевым и С. Клычковым, действительно нескрываемо враждебно относившимися ко всему новому в жизни деревни. Уже простое сопоставление их произведений убеждает в полной несостоятельности такого подхода к поэме Н. Заболоцкого. Вот как писал Н. Клюев про электрическую лампочку:

...И на гостя с тупою болью
Дымоходом воззрилась печь.
А гость, как оса в сетчатке,
В стекольчатом пузыре.

(«Деревня», 1927)

Резко противоположны функции образов «неслышно ушедшей» из залитой электрическим светом избы сказки — у Н. Клюева и заколоченной церкви, где, как «стая мертвых ведем», спасаются летучие мыши, — у Н. Заболоцкого. Соха для автора «Торжества земледелия» — «ветхий гад». Старая деревня у Заболоцкого рисуется в гиперболически мрачном, отнюдь не в идиллическом, как то было у Н. Клюева, свете:

Шесты таинственные зыбок
Хрипели, как пустая кость,
Младенцы спали без улыбок,
Блохами съедены насквозь.

Особенно тяжко приходится в этом мире животным. Вот монолог коня:

Солдат, мы наги здесь и босы,
Нас давят плуги, жалят осы.
Рассудки наши — ряд лачуг,
И весь в пыли хвоста бунчук.
В часы полуночного бденья,
В дыму осенних вечеров,
Солдат, слыхал ли ты хрипенье
Твоих замученных волов?

К. Циолковский утверждал, что в будущем, овладев величайшими источниками энергии, человечество сердобольно прекратит само существование на Земле тех животных, в ком можно пред-

полагать присутствие сравнительно высоко развитой нервной деятельности и хотя бы слабое осознание тягот существования. Солдату же, герою поэмы Заболоцкого, мерещится мир, в котором люди, освободив животных от ярма, преобразуют сами «лачуги» их сознания, а в стихотворении «Школа жуков» рисуется даже фантастическая картина того, как сто энтузиастов согласились уступить свой мозг, «чтоб сияло животных разумное царство»: «Вот добровольная расплата человечества со своими рабами! Лучшая жертва, которую видели звезды!»

Резкие нападки критики вызвала сама условность поэмы «Торжество земледелия», хотя, по верному замечанию В. Каверина, стоит положить рядом «Фауста» Гете — «и сразу станет видно, откуда идет это стремление взглянуть на мир глазами батрака, коня, предков, кулака, сохи, животных, солдата, тракториста. И духовный и материальный мир природы глубоко задет этим духом преображения, этим спором человека с природой, этим стремлением человека преобразить и подчинить ее».[1] Исключив в дальнейшем из последней главы некоторые строфы, позволявшие думать, будто мечта Солдата о равноправии животных чуть ли уже не осуществлена, Н. Заболоцкий существенно изменил звучание поэмы. Картина будущего, нарисованная Солдатом, остается фантастикой. Все еще только начинается: как предвестник великих перемен, «вылез трактор, громыхая, прорезав мордою века»:

И новый мир, рожденный в муке,
Перед задумчивой толпой
Твердил вдали то Аз, то Буки,
Качая детской головой.

При всей утопичности поэмы, есть своя, верно уловленная поэтом закономерность в том, что раскрепощаемый от рабского труда человек новым, мудрым, проницательным взглядом смотрит на природу.

Поэт не раз обращался к темам, в какой-то мере аналогичным теме своей первой поэмы. Так, с первой ее главой («Беседа о душе») явственно перекликается стихотворение «Отдыхающие крестьяне», где подчеркнуто наивные, сознательно огрубленные в поэме рассуждения деревенских жителей о «высоких материях» переданы уже в другой интонации:

---

[1] В. Каверин. Рукопись статьи о Н. Заболоцком. Хранится в архиве семьи Заболоцкого.

...Привязанные к хатам,
Они глядят на этот мир,
Обсуждают, что такое атом,
Каков над воздухом эфир.
И скажет кто-нибудь, печалясь,
Что мы, пожалуй, не цари,
Что наверху плывут, качаясь,
Миров иные кубари.
Гром мечут, искры составляют,
Живых растеньями питают,
А мы, приклеены к земле,
Сидим, как птенчики в дупле.

«Задумчивая толпа» в поэме, «отдыхающие крестьяне», которые сидят, «задумчиво мерцая глазами страшной старины», мужик из стихотворения «Осень» — томимы печальным сознанием ограниченности своего прежнего мирка и великой, пусть часто наивно выражаемой, жаждой проникнуть в тайны природы, которая столь свойственна самому Заболоцкому.

Своеобразно выражена эта мысль в поэме «Безумный волк» (1931). Эта поэма начинается разговором волка с медведем:

Медведь

...Скажи мне, волк, откуда появилось
У зверя вверх желание глядеть?
Не лучше ль слушаться природы,
Глядеть лишь под ноги да вбок,
В людские лазать огороды,
Кружиться около дорог?

Волк

...Желаю знать величину вселенной
И есть ли волки наверху!
А на земле я, точно пленный,
Жую овечью требуху.

Этот конфликт пытливой мысли с убежденным самодовольством, как феникс, воскресает даже в утопическом «новом лесу», где волки — инженеры, врачи, музыканты, математики — собираются славить погибшего, «безумца волка», пытавшегося овладеть всеми тайнами природы и взлететь в небо. Похваляющийся тем, что «нет таких мучительных загадок, которых мы распутать не могли б», волк-студент от имени своих товарищей корит предсе-

дателя собрания зверей за снисходительность к «нелепым мечтам»:

Подумай сам, возможно ли растенье
В животное мечтою обратить,
Возможно ль полететь земли произведенью
И тем себе бессмертие купить?

Но председатель отвечает мудрым предостережением — не ставить границ возможному развитию:

Мечты Безумного нелепы,
Но видит каждый, кто не слеп:
Любой из нас, пекущих хлебы,
Для мира старого нелеп.

Напряженными раздумьями о природе полны третья поэма Н. Заболоцкого «Деревья» (1933) и примыкающее к ней большое стихотворение «Лодейников», к которому автор возвращался в течение многих лет. Герой «Деревьев» Бомбеев и Лодейников очень близки друг к другу своим напряженным «всматриванием» в природу:

Бомбеев

— А вы, укромные, как шишечки и нити,
Кто вы, которые под кустиком сидите?

Голоса

— Мы глазки жуковы.
— Я гусеницын нос.
— Я возникающий из семени овес.
— Я дудочка души, оформленной слегка.
— Мы не облекшиеся телом потроха.
— Я то, что будет органом дыханья.
— Я сон грибка.
— Я свечки колыханье.
— Возникновенье глаза я на кончике земли.
— А мы нули.
— Все вместе мы — чудесное рожденье,
Откуда ты свое ведешь происхожденье.

Не только этот многоголосый диалог снова заставляет нас вспомнить о «Фаусте» с его «хоровыми» сценами, но и владеющее героями желание преодолеть свое разъединение с природой, прильнув, подобно гетевскому герою, к ее бездонным ключам,

В их душе, выражаясь словами из первой редакции «Лодейникова», «идет сраженье природы, зренья и науки». И пока они бьются над тем, как соединить между собой «таинства природы», «красавец Соколов» так же презрительно дивится их неразумию, как медведь потешался над безумным волком.

Взаимоотношения человека с природой предстают перед Заболоцким в противоречивом переплетении: извлечение человеком из природы величайших уроков для себя, с одной стороны, и опасность субъективистского привнесения в природу своих собственных мыслей и желаний, чтобы потом отыскать их там как якобы изначально ей самой присущие, — с другой. Открытия человеческого разума, приводящие к неизбежному вторжению в «тайное тайных» природы, и неиссякаемая прелесть простейших ее явлений, во многом остающаяся неразгаданной. Мнимое противоречие между «мертвящим» разумом и бессознательной природой. Кажущийся противоестественным процесс уничтожения мыслящей материи, особенно в его физиологической обнаженности, — и стройность всех природных метаморфоз в целом.

Признание закономерности вечного круговорота природы долго выглядело у поэта рационалистическим и декларативным. В эмоциональном же восприятии его стихов «смутный шорох тысячи смертей» часто заглушал голос «младой жизни». Отсюда такое пристальное, временами кажущееся патологическим внимание к распаду живого тела («Искушение»), отсюда строки о море — «морде гроба», поглотившей Атлантиду («Подводный город»), отсюда в какой-то мере и отношение к природе как к «высокой тюрьме», удел обитателей которой — «равномерное страданье» («Прогулка»).

О противоречии своих взглядов на природу откровенно сказал Н. Заболоцкий в «Лодейникове»:

Природы вековечная давильня
Соединяла смерть и бытие
В один клубок, но мысль была бессильна
Соединить два таинства ее.

Михаил Зощенко писал о некоторых тогдашних стихах поэта, что в них «поражает какая-то мрачная философия и... удивительно жизнерадостный взгляд на смысл бытия... Кажется, что поэт никак не может примириться с тем, что все смертны, что все, рождаясь, погибают».[1]

[1] Мих. Зощенко. Рассказы, повести, фельетоны, театр, критика. 1935—1937. Л., 1937, стр. 383.

Это «бессилие мысли» сказывалось в характере образности. «Таинство» смерти неизменно рисуется Н. Заболоцким как жесточайший, почти отталкивающий акт. По видимости примирившись с его необходимостью и естественностью, поэт «проговаривается» образами. Даже простая стряпня в его изображении приобретает «людоедства страшные черты», выражаясь словами Бомбеева («Деревья»):

Приготовленье пищи так приятно —
Кровавое искусство жить!
Картофелины мечутся в кастрюльке,
Головками младенческими шевеля...

(«Обед»)

Однако к середине тридцатых годов Н. Заболоцкий освобождается от этого обостренного восприятия природного круговорота в его жестоких проявлениях, «таинство» смерти воспринимается им уже как неотъемлемое звено жизненного процесса:

Чтоб кровь моя остынуть не успела,
Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел
Я отделил от собственного тела!

(«Метаморфозы»)

«О единстве органического мира советский поэт стал говорить с пафосом убежденного материалиста, нашедшего в подобном взгляде на действительность и истину и поэзию одновременно», — пишет в своей интересной статье «Поэзия Н. Заболоцкого» И. Роднянская.[1]

Как всё меняется! Что было раньше птицей,
Теперь лежит написанной страницей;
Мысль некогда была простым цветком;
Поэма шествовала медленным быком;
А то, что было мною, то, быть может,
Опять растет и мир растений множит.

(«Метаморфозы»)

В 1936 году Н. Заболоцкий написал одно из прекраснейших своих стихотворений — «Всё, что было в душе». Оно в значительной мере знаменовало собой итог его раздумий о природе. В нем

---

[1] «Вопросы литературы», 1959, № 1, стр. 131.

поначалу как на очную ставку или на смертельную дуэль сходятся «прекрасное тело цветка», как оно есть в природе, и «чертеж» его в книге, кажущийся «черным и мертвым» по сравнению с «оригиналом»:

И цветок с удивленьем смотрел на свое отраженье
И как будто пытался чужую премудрость понять.
Трепетало в листах непривычное мысли движенье,
То усилие воли, которое не передать.

И кузнечик трубу свою поднял, и природа внезапно
проснулась,
И запела печальная тварь славословье уму,
И подобье цветка в старой книге моей шевельнулось
Так, что сердце мое шевельнулось навстречу ему.

Чудо природы и чудо человеческого ума не противоречат друг другу. Ни отвержение «мертвящего» разума во имя природы, ни пренебрежение к «косности» последней не находят в Заболоцком поддержки:

...Мир
Во всей его живой архитектуре —
Орга́н поющий, море труб, клавир,
Не умирающий ни в радости, ни в буре.

(«Метаморфозы»)

«Взгляд на природу как на торжество противоречий, мир вечного уничтожения и возрождения... необычен для русской лирики», — утверждает И. Роднянская в той же статье.[1] Вряд ли это полностью верно. Уже в стихах Державина слышится горестное размышление о противоречии между сладостным обилием земных благ и преходящестью их, между способностью человека к наслаждению ими и краткостью отпущенных для этого сроков. Мысль поэта с трудом осваивается с представлением об относительности и взаимных переходах добра и зла:

Видишь ли, Дмитрев! всего изобилье,
Самое благо быть может нам злом;
Счастье и нега разума крылья
Сплошь давят ярмом.

(«Лето»)

[1] «Вопросы литературы», 1959, № 1, стр. 127.



Самый твой торг — империй цвет, слава,
Первый к вреду, растлению шаг...

(«Весна»)

Недаром некоторые пейзажи-размышления Баратынского, в котором нельзя не видеть, как и в Тютчеве, поэтического «предка» Заболоцкого, почти цитатно совпадают с державинскими (державинская «Осень во время осады Очакова» и «Осень» Баратынского, например).

Однако Баратынский несравненно рельефнее выразил мысль, едва затронутую его знаменитым предшественником, и несмотря на свой пессимизм мудро подметил диалектику смерти и рождения в природе, их взаимосвязи:

Смерть дщерью тьмы не назову я
И, раболепною мечтой
Гробовый остов ей даруя,
Не ополчу ее косой.
О дочь верховного эфира!
О светозарная краса!
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса.
...Даешь пределы ты растенью,
Чтоб не покрыл гигантский лес
Земли губительною тенью...

(«Смерть»)

От Баратынского уже с полным правом можно вести в русской литературе трактовку природы как динамического «равновесья диких сил», а не как сладкой идиллии всеобщего согласья, якобы противостоящего людской разрозненности.

В критике уже отмечалась определенная близость между Заболоцким и Пришвиным в их взгляде на природу как на могучую творческую силу, чья жизнесозидающая деятельность протекает в борьбе противоречий, вне привычных пасторальных о ней представлений.

«Растений молчаливый бой», который наблюдает Лодейников, привидевшийся ему «огромный червь, железными зубами схвативший лист и прянувший во тьму»; «смутный шорох тысячи смертей» в ночном саду — все это напоминает суровый реализм многих пришвинских записей, фиксирующих жестокую борьбу, происходящую в природе.

Уже в «Столбцах» звучала трудно пробивавшаяся наружу мысль о естественности для человека тяги к красоте и радостям жизни. «Пролетарской музе, которая еще недавно родилась, очень необходима красота, — писал А. В. Луначарский в одной из своих последних статей (1933). — Совершенно ошибаются те, которые думают, что ей, как рожденной в бедности девчонке, прилично только серое тряпье да грошовые игрушки, притом возможно более утилитарного характера. Нет, она с детства должна любить красоту; краски, звуки, линии, переживания в их максимальном развитии, в их прекрасных сочетаниях». [1]

Еще раньше, в рассказе Ивана Катаева «Сердце», кооператор Журавлев — образ, перекликающийся и в то же время полемизирующий с Бабичевым из «Зависти» Ю. Олеши, — восклицал, любуясь изобилием фруктов на прилавках у нэпманов: «Неужели наши руки так еще грубы, что мы не можем ухватить эту круглоту, эту нежность и сочность?!» [2]

Среди произведений, разрушавших мнение, будто советскому искусству не под силу показать все разнообразие и привлекательность мира, будто с воцарением социализма искусство будет довольствоваться исполнением грубо утилитарных поручений уже в тридцатые годы заняли видное место многие из стихов Николая Заболоцкого, собранные во «Второй книге» (1937).

Явственные изменения, происходившие в мировоззрении поэта, сопровождались — а во многом и разрешились — приходом к более ясным, законченным, классическим по своей простоте изобразительным средствам.

«Нам кухня кажется органом, она поет в сто двадцать дудок», — писал когда-то Заболоцкий в стихотворении «Свадьба», и стиль «Столбцов» часто как бы воспроизводил эту полную резких диссонансов музыку оглушающего людей быта.

Теперь изобразительная манера поэта становится более строгой. Меняется не только стих, все более тяготеющий к музыкальному благозвучию, кажущийся почти архаическим по сравнению со стихами «Столбцов». Ранний Заболоцкий стремился достичь изобразительного эффекта, резко смещая привычные пропорции и представления и приковывая напряженное внимание читателя к изменившимся очертаниям предметов. Он и теперь не отказывается от этого приема, говоря, например, о реке: «И всё ее беспомощное

---

[1] А. В. Луначарский. О театре и драматургии, т. I, М., 1958, стр. 685—687.
[2] Иван Катаев. Избранное. М., 1957, стр. 33.

тело вдруг страшно вытянулось и оцепенело и, еле двигая свинцовою волной, теперь лежит и бьется головой». Но и в «Венчании плодами», и в «Ночном саде» перед нами — другая живопись, захватывающая не внешней парадоксальностью, а мощью красок, внутренней законченностью каждой картины и динамикой великолепных переходов от одной из них к другой:

О, сад ночной, таинственный орган,
Лес длинных труб, приют виолончелей!
О, сад ночной, печальный караван
Немых дубов и неподвижных елей!

Он целый день метался и шумел.
Был битвой дуб, и тополь — потрясеньем.
Сто тысяч листьев, как сто тысяч тел,
Переплетались в воздухе осеннем.

Железный Август в длинных сапогах
Стоял вдали с большой тарелкой дичи.
И выстрелы гремели на лугах,
И в воздухе мелькали тельца птичьи.

И сад умолк, и месяц вышел вдруг,
Легли внизу десятки длинных теней,
И толпы лип вздымали кисти рук,
Скрывая птиц под купами растений.

О, сад ночной, о, бедный сад ночной,
О, существа, заснувшие надолго!
О, вспыхнувший над самой головой
Мгновенный пламень звездного осколка!

Первая строфа и впрямь звучит как виолончельное вступление. Вторая — это целая буря в оркестре; на редкость экспрессивны живописные мазки: «Был битвой дуб!» Зато в третьей — фигура «железного Августа» словно сошла с декоративного панно, говорящего об обилии благ земных. И смолкают в следующих строфах, как бы умиротворяясь в ночной тишине, отголоски яркого и в то же время тревожного дня. И лишь мгновенная вспышка залетного метеора снова напоминает о том, что «покой — только призрак покоя», как скажет Н. Заболоцкий впоследствии.

В стихотворении «Венчание плодами» сначала показано «равно-

мерное страданье» плодов в ту пору, когда «землей невежественно правил животному подобный человек»:

Вас червь глодал, и, налетая тучей,
Хлестал вас град по маленьким телам...
И ястреб, рощи царь, перед началом ночи
Выклевывал из вас сияющие очи,
И морщил кожицу, и соки леденил.

Торжественно-одическая, размеренная интонация здесь как бы удерживает в русле бурный поток фантазии, умеряет экспрессию образов. Архаическое словосочетание «рощи царь» оттеняет трагическую гротескность последующих строк, выводящую нас за пределы «земного» притяжения образа, за пределы обычного правдоподобия. И уже совсем сказочной дымкой заволакивается, относится куда-то в легендарное прошлое человечества рай, который в «Торжестве земледелия» мерещился в грядущем:

Страна, среди светил висящая, где звери
С большими лицами блаженных чудаков
Гуляют, учатся и молятся химере...

Правда, автор сначала (см. «Вторую книгу») рисовал ту же, что и прежде, сказочную перспективу дальнейшего прогресса в развитии природы:

Плоды, мы вызвали вас к жизни наилучшей,
когда для вас построены дома,
чтоб расцвели зародыши ума,
чтоб мысли в вас окрепли и созрели,
чтобы глаза на совершенном теле
открылись, чтобы длинные листы
могли владеть пером, чтоб умные кусты
могли передвигать корнями, как ногами,
чтоб из плодов вы сделались богами...

Но это уже воспринималось как избыток метафоричности, и центр стихотворения естественно перемещался на мироощущение человека, вступившего в гармоническое единство с природой и обретшего общий с нею язык:

...Земля в тяжелых сливах,
и тысячи людей, веселых и счастливых,

в ладонях держат персики, и барбарис
на шее девушки, блаженствуя, повис.

Надо отметить, что порой поэту не удавалось найти эту внутреннюю логику переходов, и тогда в его картинах при всем их великолепии появлялся риторический холодок, невольные повторения уже известного (так, последние строфы «Седова» живо напоминают знаменитый финал стихотворения В. Маяковского «Товарищу Нетте, пароходу и человеку»).

В целом же изменения, происшедшие в поэтике Заболоцкого в связи с тем новым, что вошло в его творчество, могут быть охарактеризованы его собственными словами:

Живой язык проснувшейся природы
Здесь учит нас основам языка,
И своды слов стоят, как башен своды,
И мысль течет, как горная река.

4

Окончившийся накануне 1938 года пленум Союза писателей, посвященный юбилею поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре», отметил среди других ее переводчиков и работу Н. Заболоцкого.

Отвечая на вопрос «Литературной газеты» о творческих планах, Н. Заболоцкий говорил: «Попробую дать стихотворную обработку «Слова о полку Игореве». Буду переводить поэмы Важа Пшавела. Буду работать над третьей книгой стихов».[1]

Однако этим планам пришлось осуществиться не скоро.

19 марта 1938 года Н. Заболоцкий был арестован по ложному политическому обвинению. Последующие годы он находился на Дальнем Востоке, Алтае и в Казахстане, и вернулся в Москву в мае 1946 года.

Истинным поэтическим подвигом является завершенный им в 1946 году труд — вольное переложение «Слова о полку Игореве», начатое еще в 1938 году.

Н. Заболоцкого справедливо называют одним из первых в блестящем ряду выдающихся советских поэтов-переводчиков — М. Лозинского, Б. Пастернака, Н. Тихонова, С. Маршака, В. Левика, С. Липкина и др. Их трудам русский читатель обязан тем, что за

[1] «Литературная газета», 1937, 31 декабря.

последние десятилетия он с огромным эстетическим наслаждением, не говоря уж о познавательном интересе, прочел множество произведений, известных прежде в крайне несовершенных переводах, а то и вовсе ему недоступных. В ряде случаев эти переводы оказывались не просто литературным фактом, а знаменовали собою для читателя открытие ранее ему неизвестных пластов человеческой культуры, бывших прежде узконациональным достоянием.

«Переводчик служит делу дружбы народов, их взаимному обогащению в области культуры, — писал Н. Заболоцкий. — Весь его труд и все его профессиональные навыки определяются этой основной его целью».[1] «Заметки переводчика», откуда взяты эти слова, — это своеобразные заповеди, которые выработал для себя поэт и которых он строго придерживался. Они свидетельствуют о высоком чувстве ответственности переводчика перед автором оригинала, перед иноязычной культурой, перед своими читателями: «Успех перевода зависит от того, насколько точно переводчик сочетал меру точности с мерой естественности. Удачно сочетать эти условия может только тот, кто правильно отличает большое от малого и сознательно жертвует малым для достижения большого... Переводчиков справедливо упрекают в том, что многие из них не знают языка, с которого переводят. Однако первая и необходимая их обязанность: хорошо знать тот язык, на котором они пишут... Перевод — экзамен для твоей литературной речи. Он показывает, каким количеством слов ты пользуешься и как часто обращаешься к Ушакову и Далю... Подстрочник поэмы подобен развалинам Колизея. Истинный облик постройки может воспроизвести только тот, кто знаком с историей Рима, его бытом, его обычаями, его искусством, развитием его архитектуры. Случайный зритель на это не способен... Переводчик, последователь лингвистического метода, подобно жуку, ползает по тексту и рассматривает каждое слово в огромную лупу. В его переводе слова переведены «по науке», но книгу читать трудно, так как перевод художественного произведения не есть перевод слов... Существуют образы, которые, будучи выражены автором, заставляют читателей плакать, а в буквальном переводе на другой язык вызывают смех. Неужели ты будешь смешить людей там, где им положено проливать слезы?»

Н. Заболоцкому принадлежат многие переводы с немецкого, венгерского, итальянского, сербского, таджикского, узбекского, украинского языков, но в особенности значительны его переводы классической и современной грузинской поэзии. Фундаментальным

---

[1] «Молодая гвардия», 1956, № 3, стр. 197—198.

итогом многолетней работы является вышедший в Тбилиси в 1958 году двухтомник «Грузинская классическая поэзия в переводах Н. Заболоцкого».

«Поэт Симон Чиковани еще в довоенное время познакомил меня с Грузией, ее историей и культурой и привлек мое внимание к ее литературе», — писал Н. Заболоцкий в предисловии, вспоминая «истоки» этой работы.

Уже в середине тридцатых годов он перевел, в сокращенном варианте, знаменитую поэму Шота Руставели и начал работать над переводами из Важа Пшавела. Когда после войны Н. Заболоцкий возвратился к прерванному труду, он заново, полностью перевел «Витязя в тигровой шкуре» и целую плеяду грузинских классиков — Давида Гурамишвили, Григола Орбелиани, Илью Чавчавадзе, Акакия Церетели и Важа Пшавела. Это было плодом огромной работы, изучения множества источников, посещения мест, с которыми были связаны переводимые стихи и поэмы. Н. Заболоцкий читал по-грузински и знал на память целые строфы «Витязя в тигровой шкуре».

В статьях Г. Маргвелашвили, посвященных этой стороне деятельности поэта,[1] убедительно показаны не только ее безукоризненная добросовестность и научность, но и то, что обращение Н. Заболоцкого к тем, а не иным произведениям грузинской классики было обусловлено ощущением близости их каким-либо особенностям его собственного творчества. И в этом один из секретов поразительных удач, достигнутых Н. Заболоцким.

Действительно, Важа Пшавела, например, был ему необычайно близок своим высоким гуманизмом, напряженными раздумьями и тяготением к философской поэзии Гете и Баратынского. Герой поэмы Пшавела «Змееед» Миндия испытывает едва ли не те же чувства, которые передал Н. Заболоцкий в одном из своих довоенных стихотворений:

...Небеса с благоволеньем
Вдруг посмотрели на него.
Сознанье новое вселилось
В него и некий новый дух.
И зренье сердца прояснилось,
И отворился к миру слух.

---

[1] Г. Маргвелашвили. Литературно-критические статьи. Тбилиси, 1958, стр. 102—129; «Дружба народов», 1959, № 6, стр. 217—226.

И понял он пернатых пенье,
И рев зверей, и шепот трав,
И в думы каждого растенья
Проник, душой затрепетав.

(«Змееед»)

Сам Н. Заболоцкий писал в стихотворении «Вчера, о смерти размышляя...»:

...и в этот миг
Всё, всё услышал я — и трав вечерних пенье,
И речь воды, и камня мертвый крик.

Очень родственна таким стихам Н. Заболоцкого, как «Метаморфозы» и «Завещание», песня Важа Пшавела «Почему я создан человеком».

Нам представляется, однако, что этим не исчерпываются причины последовательной работы Н. Заболоцкого над переводами грузинских классиков. Не забывая ни о внутренней близости его собственной поэзии многим их произведениям, ни о притягательной для каждого поэта возможности испробовать свои силы в таком «соперничестве», ни даже о том, что в годы культа личности оригинальные стихи Н. Заболоцкого печатались редко и он часто бывал вынужден обращаться к переводам, — грузинская классическая поэзия воспринималась Н. Заболоцким как художественная летопись народной жизни. В этом смысле работа над ее воспроизведением на русском языке стояла для него рядом с переложением «Слова о полку Игореве» и замыслами о стихотворной обработке русских былин, перекликалась с переводом сербского эпоса и мечтой сделать полноценным достоянием русского читателя «Сказание о Нибелунгах».

Русь, напрягающая силы в борьбе с половцами, ослабленная раздорами и терпящая поражение от монголов; Грузия, то и дело наводняемая иранскими и турецкими полчищами; Сербия, надолго потерявшая свободу после битвы на Косовом поле; Венгрия, стонущая под фашистским игом (перевод стихов Антала Гидаша), — едва ли можно счесть простой случайностью, что Н. Заболоцкий как переводчик обращается к *этим* темам. Яркая живописная природа Грузии рельефно оттеняла трагизм происходящих на этой земле событий, ее солнечное обаяние как бы подчеркивало злую черноту бед и горя, обрушивающихся на людей. Бывали в истории

Грузии времена, о которых с огромной горечью сказал Важа Пшавела:

Немногого недостает,
Чтоб смерть, воцарившись в отчизне,
Родной поглотила народ,
Присвоив название жизни.

(«Копала»)

Драматично описание раздирающих страну феодальных междоусобиц у Д. Гурамишвили; мучительно продираются сквозь кровавый туман родовой мести и национальной розни герои поэм Важа Пшавела, испытывая неприязнь, нарекания и ненависть со стороны своих фанатичных соплеменников. Но несмотря на периоды отчаяния, лучшие грузинские поэты во все времена сохраняли страстную привязанность к родной земле, верили в ее будущее и могли бы повторить вслед за героями Руставели:

Лишь добро одно бессмертно,
Зло подолгу не живет.

Грузинская классическая поэзия ревниво оберегала, как лучшее национальное достояние, драгоценные черты народной морали, размышляла о причинах народных бедствий, безбоязненно возвышала голос против их виновников:

Обличителю нередко
Не прощают обличенья,
Но стране забвенье правды
Не приносит облегченья.

(Д. Гурамишвили. «Бедствия Грузии»)

Многолетнее увлечение Н. Заболоцкого переводами грузинской классики воодушевляло его на то, чтобы с блеском преодолевать немалые художественные трудности.

Естественно, что поэт, являющийся знатоком и превосходным интерпретатором лучшего, что было в национальной поэзии прошлого, отлично подготовлен и для перевода современной поэзии, будучи способен воспринимать ее на огромном историко-литературном фоне. Н. Заболоцкий успешно перевел многие стихи Г. Абашидзе, К. Каладзе, М. Квливидзе, Г. Леонидзе, Т. Табидзе, С. Чиковани и других поэтов советской Грузии. Все эти переводы, статьи

о Руставели и Гурамишвили, давняя дружба с грузинскими писателями делают понятным, почему Симон Чиковани назвал Заболоцкого «не только бережным ценителем, но и по существу своеобразным деятелем грузинской культуры».

5

В раннем творчестве Н. Заболоцкого решительно преобладало изображение мещанского собственнического быта, духовно убогого существования. Персонажи его стихов — плоть от плоти этого быта, и поэт относился к ним с откровенной неприязнью или с грустной жалостью, как например к «девицам» («Народный дом») с их нехитрым кокетством и грошовыми радостями.

Здесь радость пальчиком водила,
Она к народу шла потехою, —

писал Н. Заболоцкий, давая нам ощутить, как все мельчает, выцветает, обесценивается в этом мирке. Даже люди, старавшиеся вырваться из оков прежней жизни, несли на себе тяжкий, натуралистически подчеркнутый поэтом отпечаток ее скудости (Солдат в «Торжестве земледелия»).

К середине тридцатых годов Н. Заболоцкий обращается к образам людей, воплощающих в себе героическое, творческое начало. Однако и тут (кроме «Седова») в его стихах отражаются скорее удивительные плоды человеческого труда, чем сами творцы. Так же, как «мир исполински прекрасный» кажется поэту «слепком» сердца замечательного коммуниста — С. М. Кирова («Прощание»), «угрюмый и печальный» пейзаж Арктики преображен для него подвигами советских полярников («Север»).

Н. Заболоцкий не принадлежал к числу поэтов, способных на быстрый, оперативный отклик на события. Такого рода стихи почти неизменно слабее других (характерно, что подавляющее большинство этих стихов автор не включал в свои книги). Однако и во многих из них заметен своеобразный, чисто индивидуальный поворот темы. Так, пафос перестройки мира — отношение человека к природе, — оказавшийся в поэме «Торжество земледелия» в значительной мере абстрагированным от реальной действительности, находит себе выражение не только в таких стихах, как «Север» и «Седов», но и в позднейшем, написанном по сугубо злободневному поводу стихотворении «Преображение степи».[1] То, что для мно-

---

[1] «Дружба народов», 1949, № 4, стр. 13.

гих поэтов оказалось лишь очередной «газетной» темой, было глубоко созвучно давней мечте Заболоцкого:

...Пусть природа работает с нами
Против собственной злобы своей.
Поднимая зеленые всходы,
Управляя течением рек,
В мастерскую могучей природы,
Как хозяин, вступил человек.

Стоит сравнить эти строки с такими стихами, как «Я не ищу гармонии в природе» (1947) или с позднейшей редакцией «Лодейникова». В них — вера поэта в творческую, преобразующую силу человеческого труда:

Разрозненного мира элементы
Теперь слились в один согласный хор,
Как будто, пробуя лесные инструменты,
Вступал в природу новый дирижер.

(«Лодейников»)

И все-таки лица людей, благодаря которым свершаются все эти перемены, еще долго не возникают в стихах Н. Заболоцкого.

Кто, чародей, в необозримом поле
Воздвиг потомству эти города?
Кто выстроил пролеты колоннад,
Кто вылепил гирлянды на фронтонах,
Кто средь степей разбил испепеленных
Фонтанами взрывающийся сад?

(«Город в степи»)

Разумеется, работа поэта серьезнейшим образом осложнялась и потому, что сделать людей, с которыми он после ареста жил и работал, героями своих произведений ему было необычайно трудно. Нельзя поэтому не отметить, что по мере возможности поэт все-таки нарисовал именно их самоотверженный труд и их гордость за его плоды:

...Мы бежим нестройною толпою,
Подняв ломы, громам наперерез...
Охотский вал ударил в наши ноги,

Морские птицы прянули из трав,
И мы стояли на краю дороги,
Сверкающие заступы подняв.

(«Творцы дорог»)

А мы шагали по дороге
Среди кустарников и трав,
Как древнегреческие боги,
Трезубцы в облако подняв.

(«Возвращение с работы»)

Подчеркнутая торжественность и скульптурность поз, уподобление немудреных вил «трезубцу» — все это вполне закономерно для одической интонации этих стихов, служащих памятником безымянным творцам.

Поражает внутренняя стойкость, с какой Н. Заболоцкий отнесся к постигшей его участи. В его позднейших стихах мы не расслышим надломленности, не ощутим желания привлечь сочувствие, не заметим позы пострадавшего.

В стихотворении «Гроза идет» поэт обращается к разбитому молнией кедру:

Пой мне песню, дерево печали!
Я, как ты, ворвался в высоту,
Но меня лишь молнии встречали
И огнем сжигали на лету.

Почему же, надвое расколот,
Я, как ты, не умер у крыльца,
И в душе всё тот же лютый голод,
И любовь, и песни до конца!

«Лютый голод» творчества находил себе пищу везде, где бы поэт ни очутился, и рос от соприкосновения с другими людьми, в которых автор угадывал это зиждительное начало.

Начатая партией борьба против культа личности и недооценки роли масс плодотворно сказалась на развитии всей литературы и в частности поэзии. Появляются попытки осмыслить исторический опыт народа в самых разных жанрах и формах («За далью — даль» А. Твардовского, «Середина века» В. Луговского, стихи Л. Мартынова и др.). В поэзию входят новые имена, и в то же время необычайно усиливается творческая активность многих поэ-

тов старшего поколения. Получают простор разнообразные творческие стили и направления, восстанавливается в правах неправомерно третировавшаяся критикой любовная и пейзажная лирика. Критика начинает оперировать значительно большим количеством поэтических имен и старается более чутко относиться к творческой индивидуальности авторов.

Что касается самого Н. Заболоцкого, то характерно, что его вышедшая в 1948 году книга «Стихотворения» не получила никакого отклика, хотя помимо стихотворений тридцатых годов в нее были впервые включены такие стихи, как «Завещание», «Гроза», «Еще заря не встала над селом...», а также стихи, появившиеся в периодической печати: «Город в степи», «Творцы дорог», «Воздушное путешествие». В первые послевоенные годы о стихах Н. Заболоцкого не было ни одной статьи или рецензии, они лишь изредка упоминались в обзорах. В 1955—1957 годах число появляющихся в печати произведений поэта резко увеличивается. За рецензией А. Марченко на цикл стихов, опубликованный в «Литературной Москве»,[1] последовали другие статьи.[2]

В последние годы народ все отчетливее становится главным героем поэзии не только как общее понятие, философская категория, но и в неисчерпаемой конкретности своего исторического бытия. Возрастает пытливый интерес и уважение к человеку, современнику, строителю и защитнику первого в мире социалистического государства, проявившему чудеса творческой инициативы, героизма и стойкости. Новый этап развития нашего общества, выразившийся в решениях XX съезда, отразился в поэзии усилением внимания к каждой человеческой жизни, ее высокой ценности. По-новому встал вопрос о нравственном долге литературы, часто проходившей мимо реальных жизненных драм. Поэты осознавали, что многие стороны человеческой жизни и деятельности — мысли, чувства, нравственный склад, — формирующиеся в условиях нашего общества, не нашли еще в литературе должного отражения. Разумеется, в творчестве каждого отдельного поэта совсем не обязательно возникал весь комплекс этих проблем, да и каждая из них получала особую трактовку в зависимости от поэтической индивидуальности и жизненного опыта.

---

[1] «Литературная газета», 1956, 20 сентября.

[2] Вл. Мильков. Поэзия Заболоцкого. — «Москва», 1957, № 2; А. Урбан. Стихи Заболоцкого. — «Нева», 1958, № 1; Д. Максимов. О старом и новом в поэзии Николая Заболоцкого. — «Звезда», 1958, № 2; А. Македонов. О старом и новом в поэзии Николая Заболоцкого. — «Литература и жизнь», 1958, 2 июля.

6

Послевоенные стихи Н. Заболоцкого исключительно разнообразны. Перечитывая их, чувствуешь себя как будто в огромной лаборатории, где рядом с законченными созданиями заметны следы поисков, шедших во многих направлениях и оборванных преждевременной смертью. Это отнюдь не то формальное экспериментаторство, над сутью которого с беспристрастием подлинного ученого размышлял поэт уже в зрелые годы:

Любопытно, забавно и тонко:
Стих, почти не похожий на стих.
Бормотанье сверчка и ребенка
В совершенстве писатель постиг.

И в бессмыслице скомканной речи
Изощренность известная есть.
Но возможно ль мечты человечьи
В жертву этим забавам принесть?

И возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?

(«Читая стихи»)

Это — нащупывание новых тем, поиски новых героев и соответствующих этому новому содержанию средств выражения. Подобно тому как Лодейников мечтал пробиться к подлинной природе, Н. Заболоцкий пытливо всматривался в лицо своего времени, своих сограждан. С. Чиковани передает слова, сказанные ему Н. Заболоцким примерно за год до смерти: «Раньше я был увлечен образами природы, а теперь я постарел и, видимо, поэтому больше любуюсь людьми и присматриваюсь к ним».[1] В этих словах чувствуется тот же пафос, что и в целом ряде стихотворений последних лет.

Когда-то «нестерпимая», «тоска разъединения» с природой отступилась от поэта, и перед ним «мысли мертвецов прозрачными столбами... вставали до небес», слышался живой голос Пуш-

[1] «Литературная Грузия», 1958, № 6, стр. 68.

кина, а в камне «проступал лик» украинского философа Сковороды.

Оглядываясь на пройденный поэтом путь, вспоминая трагические ноты, прозвучавшие в «Столбцах», можно сказать, что в чем-то они объяснялись «нестерпимой тоской разъединения» с народом, заслоненным тогда от Заболоцкого зловещим «мурлом мещанина».

Н. Заболоцкий сравнительно редко обращался к теме истории в ее крупномасштабных политических проявлениях, к событиям, разыгрывающимся, так сказать, на ее авансцене. История интересует его в своем ежедневном течении, в отблесках, шрамах и почетных морщинах, которые она кладет на души и лица обыкновеннейших людей. «В захолустном районе, где кончается мир», «в стороне от шоссейной дороги, в городишке из хаток и лип», в хевсурском «бедном... селенье, скопленье домов и закут», «где-то в поле возле Магадана», — в таких невидных, невзрачных местах разыгрывается действие многих стихов Н. Заболоцкого. Здесь производятся им «промеры» истории, человеческих душ, мужества и горя. Поэту глубоко ненавистно отчуждение от земных забот, радостей и горестей, какой бы внешней импозантностью и значительностью оно ни прикрывалось. Недаром в стихотворении «Казбек» холодному величию прославленной горы противопоставлена жизнь ютящихся у ее подножья хевсуров:

У ног ледяного Казбека
Справляя людские дела,
Живая душа человека
Страдала, дышала, жила.
А он, в отдаленье от пашен,
В надмирной своей вышине,
Был только бессмысленно страшен
И людям опасен вдвойне.

В «Противостоянии Марса» давнее поверье становится поводом для гневной отповеди тем, «кто о чужой не страждет боли, кому все средства хороши».

Истинное величие — не «в надмирной вышине», а в способности и готовности принять в свое сердце все, чем жива человеческая душа, быть плотью от плоти скромных тружеников. Со всем грузом своих мыслей и забот вступают крестьянские ходоки в кабинет В. И. Ленина, и вождь оказывается не просто гостеприимным, но близким им по своему складу и даже обличью великого труженика и скромнейшего человека:

...Человек в потертом пиджаке,
Сам работой до смерти измаян,
С ними говорил накоротке.

(«Ходоки»)

Быт, который прежде преимущественно казался поэту олицетворением косности, теперь нередко становится для Н. Заболоцкого источником таких поэтических деталей, сквозь которые, как сквозь волшебное стекло, видится вековая история народа, его жизнестойкость.

Бьются пó ветру тысячи юбок,
Шароваров, рубах и онуч.
Отдыхая от потного тела
Домотканой основой холста,
Здесь с монгольского ига висела
Этих русских одежд пестрота.
И виднелись на ней отпечатки
Человеческих выпуклых тел,
Повторяя в живом беспорядке,
Кто и как в них лежал и сидел.

(«Стирка белья»)

Для Н. Заболоцкого значительны не только «избранные» моменты народного и человеческого бытия, а все, чем «живая душа человека страдала, дышала, жила». То, что кажется мелким и непримечательным, часто заключает в себе весьма красноречивую характеристику существенных черт жизни. В будничной обстановке нередко невидимо для окружающих расцветает или, наоборот, увядает до времени человеческая душа. Равнодушному глазу не откроется «блаженный смысл короткой той минуты», когда в глубь детского сознания, «как спутники живые, вошли и этот дом, и этот сад, и лес» — навеки вошло очарование мира («Детство»). Не заметит он и того, как трагически застилается этот «дивный мир» скучной повседневностью в глазах другой девочки («Городок»). Охватившая ее тоска, «беспричинное» отвращение к копошащимся вокруг петухам да гусям — это инстинктивное сопротивление юной души той бездумной инерции существования, которая отталкивает и другого созерцателя «птичьего двора» — самого поэта:

Ждут, безумные, покуда
Распростятся с головой.

Вечный гам и вечный топот,
Вечно глупый, важный вид.
Им, как видно, жизни опыт
Ни о чем не говорит.

Их сердца послушно бьются
По желанию людей,
И в душе не отдаются
Крики вольных лебедей.

(«Птичий двор»)

Взятые отдельно, некоторые стихи Н. Заболоцкого могли бы показаться абстрактно-психологическими. Таково, например, размышление «О красоте человеческих лиц»:

Есть лица, подобные пышным порталам,
Где всюду великое чудится в малом.
Есть лица — подобия жалких лачуг,
Где варится печень и мокнет сычуг.
Иные холодные, мертвые лица
Закрыты решетками, словно темница.
Другие — как башни, в которых давно
Никто не живет и не смотрит в окно.

Однако, если сопоставить это со всем творчеством Заболоцкого пятидесятых годов, мы увидим, что почти за каждой строкой стоит конденсированный жизненный опыт, итоги долгих наблюдений и что мысли, здесь заключенные, образно реализованы в таких стихах, как «Ласточка», «Неудачник», «Некрасивая девочка».

Пристрастие поэта к живописи сказалось не только в его многочисленных пейзажах и не только в неоднократных обращениях к ассоциациям с великими творениями художников: «...дуб бушевал, как Рембрандт в Эрмитаже, а клен, как Мурильо, на крыльях парил» («Гомборский лес»). В таких его стихах, как «В кино» или «Старая актриса», явственно сквозит желание использовать ту технику, которая восхищала его в мастерских живописных портретах и позволяла «души изменчивой приметы переносить на полотно» («Портрет»). «Выраженье тяжелой заботы», не сходящее с лица «одинокой, слегка седоватой, но еще моложавой на вид» женщины, дает для познания волнующей поэта человеческой судьбы не меньше, чем «прекрасные глаза» Струйской, пленившей Заболоцкого на рокотовском портрете.

А какой неожиданный и беспощадный луч правды врывается в портрет прославленной актрисы вместе с фигурой девочки — полуродственницы, полуслужанки. Это стихотворение отнюдь не заключает в себе плоской моралистической сентенции, а вызывает живую и тревожную мысль о противоречиях человеческих натур, о том, что, по выражению Гейне, и соловьи бывают с копытами.

Разве девочка может понять до конца,
Почему, поражая нам чувства,
Поднимает над миром такие сердца
Неразумная сила искусства!

Неверно утверждать, будто и эта заключительная строфа, и финал стихотворения «Некрасивая девочка» риторичны![1] О Заболоцком можно сказать то же, что говорится в последнем стихотворении о детской душе, жадно впитывающей все впечатления бытия: «Ей всё на свете так безмерно ново, так живо всё, что для иных мертво!» Та живая интонация сочувствия и сострадания, которая постепенно крепнет в «Некрасивой девочке», не имеет ничего общего с заданностью тезиса о «подлинной и мнимой красоте».

Поэма Н. Заболоцкого «Рубрук в Монголии» посвящена путешествию семивековой давности. Однако при всей экзотичности материала (эту экзотику поэт часто преподносит с тонким юмором, сталкивая своего героя-европейца с монолитным и глубоко чуждым ему бытом воинов-кочевников) она внезапно начинает звучать необычайно современно. И это происходит не за счет уподобления стай птиц эскадрильям, а монгольского хана — «генералиссимусу степей», и не за счет юмористического осовременивания отдельных деталей (так, хан иронически замечает в споре с монахом Рубруком, что христиане-европейцы «не сплотились в коллектив», в то время как у них, монголов, — «дисциплина»). Но страстность, с какой написана «панорама земель, обугленных дотла», выдает в авторе современника не менее страшных войн и бесчеловечного насилия и их убежденного противника.

По-прежнему мы встретим в стихах Н. Заболоцкого его излюбленную героиню — природу. Он пишет ее, как Рембрандт — Саскию, во всех позах, во всех одеяньях, с радостью открывая новую красоту, казалось бы, до мелочей изученного лица.

---

[1] И. Роднянская. Поэзия Н. Заболоцкого. — «Вопросы литературы», 1959, № 1, стр. 136.

В отличие от многих стихов Н. Заболоцкого начала тридцатых годов, смерть перестала рисоваться поэту натуралистической картиной распада или пугающим провалом. «Вот так я тебе и поверил!» — насмешливо возражает поэт самой природе, внушающей ему, что «жизнь продолжается только мгновенье» («Читайте, деревья, стихи Гезиода...»).

Только на миг замедляется полет журавлей из-за гибели вожака. «Черное зияющее дуло» ружья (любопытно здесь применение тех же эпитетов, которые часто относятся к могильной яме) отыскало себе жертву, но журавли продолжают путь «в долину изобилья»:

Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла:

Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбе —
Всё, что от былого поколенья
Переходит, молодость, к тебе.

(«Журавли»)

Ясно и гармонически истолкована одна из «вечных тем» мировой поэзии в стихотворении «Прощание с друзьями». «Гробовая тьма» оказывается просто «страной, где нет готовых форм, где все разъято, смешано, разбито». «Безмолвный мрак могил — томление пустое», — скажет поэт в «Завещании»:

Когда на склоне лет иссякнет жизнь моя
И, погасив свечу, опять отправлюсь я
В необозримый мир туманных превращений...
Над головой твоей, далекий правнук мой,
Я в небе пролечу, как медленная птица,
Я вспыхну над тобой, как бледная зарница,
Как летний дождь прольюсь, сверкая над травой.

Обращаясь к природе, поэт с пытливостью подлинного исследователя доискивается истинного смысла явлений, мимо которых другие проходят равнодушно. Сказка, миф, темное поверье для Заболоцкого интересны как «рабочая гипотеза» «малолетнего» человечества, как тот вероятный «обломок давней правды», который мерещился Баратынскому в смешных для потомков предрассудках.

«Петухи поют» — одно из характерных стихотворений этого рода:

Нет, не бьют эти птицы баклуши,
Начиная торжественный зов!
Я сравнил бы их темные души
С циферблатами древних часов.

Здесь, в деревне, и вы удивитесь,
Услыхав, как в полуночный час
Трубным голосом огненный витязь
Из курятника чествует вас.

Сообщает он кучу известий,
Непонятных, как вымерший стих,
Но таинственный разум созвездий
Несомненно присутствует в них...

Изменяется угол паденья,
Напрягаются зренье и слух,
И, взметнув до небес оперенье,
Как ужаленный, кличет петух.

Прозрачная ясность и строгость формы подобных стихов Заболоцкого, бесспорно, говорят о влиянии классической поэзии. В своих интересных воспоминаниях о Заболоцком Симон Чиковани рассказывает про любовь поэта к Гете и Баратынскому, а также к Руставели, Важа Пшавела, Гурамишвили. Заболоцкий обрадовался, узнав, что Важа Пшавела тоже любил стихотворение Баратынского «На смерть Гете».[1] Ведь и ему самому были дороги строки:

Над дивной могилой не плачь, не жалей,
Что гения череп — наследье червей...
С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье.

Ему был близок и тот пафос исследователя, с которым подходил к природе великий немецкий поэт и естествоиспытатель. Отнюдь не просто ради соответствия теме обращался он в стихотво-

[1] Симон Чиковани. Верный друг грузинской поэзии. — «Литературная Грузия», 1958, № 6, стр. 67.

рении «Храмгэс» к музе со словами: «Ты — подружка гидравлики, сверстница тока!» Он отдал даже известную дань рационалистической научной поэзии (отрывок «Урал»), и «речь органических масс», угадываемая им «под волшебным стеклом Левенгука», была для него так же драгоценна, как «говор древесных листов». Радость познания навсегда осталась близка его душе. Поэтому «органические массы», «организм», «равнозначащие числа» не были для него скучными прозаизмами и легко вплетались в живую ткань стиха:

Это тоже образ мирозданья,
Организм, сплетенный из лучей...

(«Последняя любовь». — «Чертополох»)

Хлестало, словно из баклаги,
И над собранием берез
Пир электричества и влаги
Сливался в яростный хаос.

(«Возвращение с работы»)

Богатству тем и мотивов, которые мы встречаем у Н. Заболоцкого, отвечает и разнообразие применяемых им художественных средств.

С одинаковой легкостью прибегает он и к обстоятельному эпическому повествованию, иногда принимающему своеобразную ироническую окраску («Рубрук в Монголии»), и к величавой патетике оды («Город в степи», «Творцы дорог»), и к элегии («Завещание»), и даже к романсу («Можжевеловый куст» из цикла «Последняя любовь»).

Н. Заболоцкий — один из немногих современных поэтов, который сохраняет в своей художественной системе мифологические и античные образы, казалось бы одним своим появлением сразу делающие стихи старомодными: «Так из темной воды появляется в мир светлоокая дева...» («Гроза»); «О, что бы я только не отдал взамен за то, чтобы даль донесла и стон Персефоны, и пенье сирен...» («Гурзуф»); вспомним также «Стирку белья».

Не только в пределах одной книги, но и в одном и том же стихотворении мы встретим у него акварельный «розовато-коричневый дым не покрытых листами ветвей» и красочно-романтический пейзаж:

Ползут по деревьям туманы,
Фонтаны умолкли в саду.

Олни неподвижные канны
Пылают у всех на виду.
Так, вытянув крылья, орлица
Стоит на уступе скалы,
И в клюве ее шевелится
Огонь, выступая из мглы.

(«Последние канны»)

В одном и том же стихотворении мы увидим удивительное соседство:

Были тут огнеликие канны,
Как стаканы с кровавым вином,
И седых аквилегий султаны,
И ромашки в венце золотом.
В неизбежном предчувствии горя,
В ожиданье осенних минут,
Кратковременной радости море
Окружало любовников тут.
И они, наклоняясь друг к другу,
Бесприютные дети ночей,
Молча шли по цветочному кругу
В электрическом блеске лучей.
А машина во мраке стояла,
И мотор трепетал тяжело,
И шофер улыбался устало,
Опуская в кабине стекло.

(«Последняя любовь»)

Надо было быть большим художником, чтобы звук невыключенного мотора, благодаря парадоксальному и в то же время точному слову «трепетал», так органически «вписался» в изысканную по краскам картину этого горького свиданья (отметим ненавязчивую аллитерацию, сопровождающую упоминание об этом звуке: «мотор трепетал тяжело»).

Надо было быть дерзким художником, чтобы в стихотворении «Стирка белья» нарисовать образ Афродиты — прекрасной человеческой души, как бы заново родившейся на этот раз не из морской пены, а из бесчисленных корыт скромных прачек. Незаметно, без навязчивой аллегоричности стирка «в городишке из хаток и лип», где уже века «бьются по ветру тысячи юбок, шароваров, рубах и онуч», превращается в образ великого очищения человеческой души, погрузившейся в народную глубь.

Начало стихотворения «Некрасивая девочка» прозаично и по интонации, и по словарю: «Заправлена в трусы худая рубашонка... Не торопясь к обеду, гоняют по двору...» Смелой рукой объединяет Заболоцкий воедино эти строфы с высоким пафосом последующих. Подчеркнуто беспощадный портрет «дурнушки» («рот длинен, зубки кривы») — со словами о «младенческой грации души», сквозящей в каждом ее движенье.

Секретом таких неожиданных сочетаний, дерзких переходов поэт владел в совершенстве. Поэтому и проявляется в его стихах «мир во всей его живой архитектуре», а не стилизованный согласно эстетическим представлениям автора о том, что́ в стихах будет выглядеть «красиво», а что — нет.

Н. Заболоцкий — выдающийся мастер прекрасного по своему благозвучию стиха. Величавые раздумья, горделивый восторг познания мира часто воплощены в его произведениях в плавных периодах, в строфах с широким использованием анафоры, разнообразных синтаксических параллелизмов, а иногда и внутренней рифмы. Читатель мог это заметить уже по некоторым ранее приводившимся отрывкам. Можно, однако, привести еще множество примеров:

Поселись на высоком шесте,
Полыхая по небу восторгами,
Прилепись паутинкой к звезде
Вместе с птичьими скороговорками.

Повернись к мирозданью лицом,
Голубые подснежники чествуя,
С потерявшим сознанье скворцом
По весенним полям путешествуя.

(«Уступи мне, скворец, уголок»)

И я лежал, схватившись за каменья,
И надо мной, сверкая, выл поток,
И камни шевелились в исступленье
И бормотали, прыгая у ног.

И я смотрел на бледный свет огарка,
Который колебался вдалеке,
И с берега огромная овчарка
Величественно двигалась к реке.

(«Ночь в Пасанаури»)

Или такие стихи, как «Еще заря не встала над селом...», «Я не ищу гармонии в природе», «Храмгэс», «Сагурамо», «Город в степи» и многие другие.

Только на первый взгляд может показаться неуместно архаическим размер, избранный им для стихотворения «Воздушное путешествие»:

В крылатом домике, высоко над землей,
Двумя ревущими моторами влекомый,
Я пролетал вчера дорогой незнакомой,
И облака, скользя, толпились подо мной.

На самом деле эта торжественная плавность интонации удивительно под стать полету, когда под вами с обманчивой медлительностью проплывает земля. А в следующей строфе, благодаря ее синтаксическому построению и аллитерации, как бы отзывается гул винтов:

Два бешеных винта, два трепета земли,
Два грозных грохота, две ярости, две бури,
Сливая лопасти с блистанием лазури,
Влекли меня вперед. Гремели и влекли.

Необычайно живописно передано в другом стихотворении приближение грозы:

Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница,
Тень от тучи легла, и слилась и смешалась с травой.
Всё труднее дышать, в небе облачный вал шевелится,
Низко стелется птица, пролетев над моей головой.
Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь
вдохновенья,
Человеческий шорох травы, вещий холод на темной руке,
Эту молнию мысли и медлительное появленье
Первых дальних громов — первых слов на родном языке.

(«Гроза»)

Ощущение затрудненного дыхания и нарастающего напряженья возникает здесь не только благодаря точнейшим деталям и эпитетам («Человеческий шорох травы, вещий холод на темной руке»), но и благодаря прерывающим звучание строк паузам. На фоне всего отрывка рельефно выделяются две последние строки, где

неожиданный перенос (enjambement) и впрямь дает ощущение громового раската.

Вот взрыв в «Творцах дорог»:

Завыл, запел, взлетел под небо камень,
И заволокся дымом весь карьер.

Многоударная первая строка, изобилующая глаголами и аллитерированная («з-з-з»), сменяется долгим безударным «зачииом» второй («И заволокся...»), что дает почти физическое ощущение взрыва, наступившей за ним тишины и безмолвно растекающегося по карьеру дыма.

А вот — для контраста — бесшумное, плавное движение лебедя:

Плывет белоснежное диво,
Животное, полное грез,
Колебля на лоне залива
Лиловые тени берез.

(«Лебедь в зоопарке»)

Мы часто говорим о том или ином ушедшем от нас человеке, что это случилось безвременно, когда он был в расцвете сил. По отношению к Н. Заболоцкому это особенно верно. Николай Алексеевич Заболоцкий умер 14 октября 1958 года в Москве.

Драматические обстоятельства личной и творческой судьбы поэта помешали ему получить заслуженное признание при жизни. Творческий путь его был нелегок и сложен; при всем своеобразии таланта Н. Заболоцкого его поэтическая биография отразила определенные закономерности литературного процесса, происходившего в нашей стране с двадцатых по пятидесятые годы.

Не сразу, по-своему, но Н. Заболоцкий проделал ту же эволюцию, что и многие поэты, начинавшие с некритического следования увлекавшим их в молодости образцам «левого» искусства. Он не замкнулся в позе «непризнанного гения», а неизменно расширял круг своих наблюдений, тем, героев, притягивая к себе все большее читательское внимание. При этом он не насиловал своего дарования, а доискивался в нем еще не использованных возможностей, стремился к высшей художественной ясности и законченности. В этом смысле путь Заболоцкого по-своему поучителен. Сам поэт утверждал, что не может сбросить со счета свои ранние стихи, которые какими-то сторонами вошли в его творческий опыт,

но объективно поэт преодолел свои ранние опыты зрелым творчеством — он не только раздвинул границы своего искусства, но и внес в него то жизненное и нравственное содержание, без которого нет и не может быть настоящего большого искусства. Перед нами пример того, как сама жизнь, действительность, история перестраивают душу художника, ведут его от узкоиндивидуалистического взгляда на мир и на человека — к глубокому, верному пониманию и правдивому изображению главных, решающих сторон жизни. От фантасмагории и гротеска — к глубоким раздумьям, к художественной правде, к классической ясности, к революционному гуманизму.

Николай Алексеевич Заболоцкий — один из лучших советских поэтов. Оригинальное, глубоко философское истолкование им взаимоотношений природы и человека, который открывает в ней всё новые тайны, находит новые соответствия своему углубляющемуся внутреннему миру, роднит Заболоцкого с такими замечательными русскими лириками, как Баратынский и Тютчев.

С каждым годом растет число почитателей, которые по достоинству оценили яркий талант, упорный труд и непрекращавшиеся творческие поиски этого истинного и вдохновенного поэта.

А. Турков

СТИХОТВОРЕНИЯ

(1932–1958)

Я НЕ ИЩУ ГАРМОНИИ В ПРИРОДЕ

Я не ищу гармонии в природе.
Разумной соразмерности начал
Ни в недрах скал, ни в ясном небосводе
Я до сих пор, увы, не различал.

Как своенравен мир ее дремучий!
В ожесточенном пении ветров
Не слышит сердце правильных созвучий,
Душа не чует стройных голосов.

Но в тихий час осеннего заката,
Когда умолкнет ветер вдалеке,
Когда, сияньем немощным объята,
Слепая ночь опустится к реке,

Когда, устав от буйного движенья,
От бесполезно тяжкого труда,
В тревожном полусне изнеможенья
Затихнет потемневшая вода,

Когда огромный мир противоречий
Насытится бесплодною игрой, —
Как бы прообраз боли человечьей
Из бездны вод встает передо мной.

И в этот час печальная природа
Лежит вокруг, вздыхая тяжело,
И не мила ей дикая свобода,
Где от добра неотделимо зло.

И снится ей блестящий вал турбины,
И мерный звук разумного труда,
И пенье труб, и зарево плотины,
И налитые током провода.

Так, засыпая на своей кровати,
Безумная, но любящая мать
Таит в себе высокий мир дитяти,
Чтоб вместе с сыном солнце увидать.

1947

ОСЕНЬ

Когда минует день и освещение
Природа выбирает не сама,
Осенних рощ большие помещения
Стоят на воздухе, как чистые дома.
В них ястребы живут, вороны в них ночуют,
И облака вверху, как призраки, кочуют.

Осенних листьев ссохлось вещество
И землю всю устлало. В отдалении
На четырех ногах большое существо
Идет, мыча, в туманное селение.
Бык, бык! Ужели больше ты не царь?
Кленовый лист напоминает нам янтарь.

Дух Осени, дай силу мне владеть пером!
В строенье воздуха — присутствие алмаза.
Бык скрылся за углом,
И солнечная масса
Туманным шаром над землей висит
И край земли, мерцая, кровенит.

Вращая круглым глазом из-под век,
Летит внизу большая птица.
В ее движенье чувствуется человек.
По крайней мере он таится
В своем зародыше меж двух широких крыл.
Жук домик между листьев приоткрыл.

Архитектура Осени. Расположенье в ней
Воздушного пространства, рощи, речки,
Расположение животных и людей,
Когда летят по воздуху колечки
И завитушки листьев, и особый свет, —
Вот то, что выберем среди других примет.

Жук домик между листьев приоткрыл
И, рожки выставив, выглядывает,
Жук разных корешков себе нарыл
И в кучку складывает,
Потом трубит в свой маленький рожок
И вновь скрывается, как маленький божок.

Но вот приходит ветер. Всё, что было чистым,
Пространственным, светящимся, сухим, —
Всё стало серым, неприятным, мглистым,
Неразличимым. Ветер гонит дым,
Вращает воздух, листья валит ворохом
И верх земли взрывает порохом.

И вся природа начинает леденеть.
Лист клена, словно медь,
Звенит, ударившись о маленький сучок.
И мы должны понять, что это есть значок,
Который посылает нам природа,
Вступившая в другое время года.

1932

ВЕНЧАНИЕ ПЛОДАМИ

Плоды Мичурина, питомцы садовода,
Взращенные усильями народа,
Распределенные на кучи и холмы,
Как вы волнуете пытливые умы!
Как вы сияете своим прозрачным светом,
Когда, подобные светилам и кометам,
Лежите, образуя вокруг нас
Огромных яблоков живые вавилоны!
Кусочки солнц, включенные в законы
Людских судеб, мы породили вас

Для новой жизни и для высших правил.
Когда землей невежественно правил
Животному подобный человек,
Напоминали вы уродцев и калек
Среди природы дикой и могучей.
Вас червь глодал, и, налетая тучей,
Хлестал вас град по маленьким телам,
И ветер Севера бывал неласков к вам,
И ястреб, рощи царь, перед началом ночи
Выклевывал из вас сияющие очи,
И морщил кожицу, и соки леденил.

Преданье говорит, что Змей определил
Быть яблоку сокровищницей знаний.
Во тьме веков и в сумраке преданий
Встает пред нами рай, страна средь облаков,
Страна, среди светил висящая, где звери
С большими лицами блаженных чудаков
Гуляют, учатся и молятся химере.
И посреди сверкающих небес
Стоит, как башня, дремлющее древо.
Оно — центр сфер, и чудо из чудес,
И тайна тайн. Направо и налево
Огромные суки поддерживают свод
Густых листов. И сумрачно и строго
Сквозь яблоко вещает голос бога,
Что плод познанья — запрещенный плод.

Теперь, когда, соперничая с тучей,
Плоды, мы вызвали вас к жизни наилучшей,
Чтобы, самих себя переборов,
Вы не боялись северных ветров,
Чтоб зерна в вас окрепли и созрели,
Чтоб, дивно увеличиваясь в теле,
Не знали вы в развитии преград,
Чтоб наша жизнь была сплошной плодовый
сад, —
Скажите мне, какой чудесный клад
Несете вы поведать человеку?

Я заключил бы вас в свою библиотеку,
Я прочитал бы вас и вычислил закон,





Хранимый вами, и со всех сторон
Измерил вас, чтобы понять строенье
Живого солнца и его кипенье.

О маленькие солнышки! О свечки,
Зажженные средь мякоти! Вы — печки,
Распространяющие дивное тепло.
Отныне всё прозрачно и кругло
В моих глазах. Земля в тяжелых сливах,
И тысячи людей, веселых и счастливых,
В ладонях держат персики, и барбарис
На шее девушки, блаженствуя, повис.
И новобрачные, едва поцеловавшись,
Глядят на нас, из яблок приподнявшись,
И мы венчаем их, и тысячи садов
Венчают нас венчанием плодов.

Когда плоды Мичурин создавал,
Преобразуя древний круг растений,
Он был Адам, который сознавал
Себя отцом грядущих поколений.
Он был Адам и первый садовод,
Природы друг и мудрости оплот,
И прах его, разрушенный годами,
Теперь лежит, увенчанный плодами.

1932

УТРЕННЯЯ ПЕСНЯ

Могучий день пришел. Деревья встали прямо,
Вздохнули листья. В деревянных жилах
Вода закапала. Квадратное окошко
Над светлою землею распахнулось,
И все, кто были в башенке, сошлись
Взглянуть на небо, полное сиянья.

И мы стояли тоже у окна.
Была жена в своем весеннем платье,
И мальчик на руках ее сидел,
Весь розовый и голый, и смеялся,

И, полный безмятежной чистоты,
Смотрел на небо, где сияло солнце.

А там, внизу, деревья, звери, птицы,
Большие, сильные, мохнатые, живые,
Сошлись в кружок и на больших гитарах,
На дудочках, на скрипках, на волынках
Вдруг заиграли утреннюю песню,
Встречая нас. И всё кругом запело.

И всё кругом запело так, что козлик
И тот пошел скакать вокруг амбара.
И понял я в то золотое утро,
Что счастье человечества — бессмертно.

1932

ЛОДЕЙНИКОВ

1

В краю чудес, в краю живых растений,
Несовершенной мудростью дыша,
Зачем ты просишь новых впечатлений
И новых бурь, пытливая душа?
Не обольщайся призраком покоя:
Бывает жизнь обманчива на вид.
Настанет час, и утро роковое
Твои мечты, сверкая, ослепит.

2

Лодейников, закрыв лицо руками,
Лежал в саду. Уж вечер наступал.
Внизу, постукивая тонкими звонками,
Шел скот домой и тихо лопотал
Невнятные свои воспоминанья.
Травы холодное дыханье
Струилось вдоль дороги. Жук летел.
Лодейников открыл лицо и поглядел

В траву. Трава пред ним предстала
Стеной сосудов. И любой сосуд
Светился жилками и плотью. Трепетала
Вся эта плоть и вверх росла, и гуд
Шел по земле. Прищелкивая по суставам,
Пришлепывая, странно шевелясь,
Огромный лес травы вытягивался вправо,
Туда, где солнце падало, светясь.
И то был бой травы, растений молчаливый бой.
Одни, вытягиваясь жирною трубой
И распустив листы, других собою мяли
И напряженные их сочлененья выделяли
Густую слизь. Другие лезли в щель
Между чужих листов. А третьи, как в постель,
Ложились на соседа и тянули
Его назад, чтоб выбился из сил.

И в этот миг жук в дудку задудил.
Лодейников очнулся. Над селеньем
Всходил туманный рог луны,
И постепенно превращалось в пенье
Шуршанье трав и тишины.
Природа пела. Лес, подняв лицо,
Пел вместе с лугом. Речка чистым телом
Звенела вся, как звонкое кольцо.
В тумане белом
Трясли кузнечики сухими лапками,
Жуки стояли черными охапками,
Их голоса казалися сучками.
Блестя прозрачными очками,
По лугу шел красавец Соколов,
Играя на задумчивой гитаре.
Цветы его касались сапогов
И наклонялись. Маленькие твари
С размаху шлепались ему на грудь
И, бешено подпрыгивая, падали,
Но Соколов ступал по падали
И равномерно продолжал свой путь.

Лодейников заплакал. Светляки
Вокруг него зажгли свои лампадки,

Но мысль его, увы, играла в прятки
Сама с собой, рассудку вопреки.

8

В своей избушке, сидя за столом,
Он размышлял, исполненный печали.
Уже сгустились сумерки. Кругом
Ночные птицы жалобно кричали.
Из окон хаты шел дрожащий свет,
И в полосе неверного сиянья
Стояли яблони, как будто изваянья,
Возникшие из мрака древних лет.
Дрожащий свет из окон проливался
И падал так, что каждый лепесток
Среди туманных листьев выделялся
Прозрачной чашечкой, открытой на восток
И всё чудесное и милое растенье
Напоминало каждому из нас
Природы совершенное творенье,
Для совершенных вытканное глаз.

Лодейников склонился над листами,
И в этот миг привиделся ему
Огромный червь, железными зубами
Схвативший лист и прянувший во тьму.
Так вот она, гармония природы,
Так вот они, ночные голоса!
Так вот о чем шумят во мраке воды,
О чем, вздыхая, шепчутся леса!
Лодейников прислушался. Над садом
Шел смутный шорох тысячи смертей.
Природа, обернувшаяся адом,
Свои дела вершила без затей.
Жук ел траву, жука клевала птица,
Хорек пил мозг из птичьей головы,
И страхом перекошенные лица
Ночных существ смотрели из травы.
Природы вековечная давильня
Соединяла смерть и бытие
В один клубок, но мысль была бессильна
Соединить два таинства ее.

А свет луны летел из-за карниза,
И, нарумянив серое лицо,
Наследница хозяйская Лариса
В суконной шляпке вышла на крыльцо.
Лодейников ей был неинтересен:
Хотелось ей веселья, счастья, песен, —
Он был угрюм и скучен. За рекой
Плясал девиц многообразный рой.
Там Соколов ходил с своей гитарой.
К нему, к нему! Он песни распевал,
Он издевался над любою парой
И, словно бог, красоток целовал.

4

Суровой осени печален поздний вид.
Уныло спят безмолвные растенья.
Над крышами пустынного селенья
Заря небес болезненно горит.
Закрылись двери маленьких избушек,
Сад опустел, безжизненны поля,
Вокруг деревьев мерзлая земля
Покрыта ворохом блестящих завитушек,
И небо хмурится, и мчится ветер к нам,
Рубаху дерева сгибая пополам.

О, слушай, слушай хлопанье рубах!
Ведь в каждом дереве сидит могучий Бах,
И в каждом камне Ганнибал таится...
И вот Лодейникову по ночам не спится:
В оркестрах бурь он слышит пред собой
Напев лесов, тоскующий и страстный...
На станции однажды в день ненастный
Простился он с Ларисой молодой.

Как изменилась бедная Лариса!
Всё, чем прекрасна молодость была,
Она по воле странного каприза
Случайному знакомцу отдала.
Еще в душе холодной Соколова

Не высох след ее последних слез, —
Осенний вихрь ворвался в мир былого,
Разбил его, развеял и унес.
Ах, Лара, Лара, глупенькая Лара,
Кто мог тебе, краса моя, помочь?
Сквозь жизнь твою прошла его гитара
И этот голос, медленный, как ночь.
Дубы в ту ночь так сладко шелестели,
Цвела сирень, черемуха цвела,
И так тебе певцы ночные пели,
Как будто впрямь невестой ты была.
Как будто впрямь серебряной фатою
Был этот сад сверкающий покрыт...
И только выпь кричала за рекою
Вплоть до зари и плакала навзрыд.

Из глубины безмолвного вагона,
Весь сгорбившись, как немощный старик,
В последний раз печально и влюбленно
Лодейников взглянул на милый лик.
И поезд тронулся. Но голоса растений
Неслись вослед, качаясь и дрожа,
И сквозь тяжелый мрак миротворенья
Рвалась вперед бессмертная душа
Растительного мира. Час за часом
Бежало время. И среди полей
Огромный город, возникая разом,
Зажегся вдруг миллионами огней.
Разрозненного мира элементы
Теперь слились в один согласный хор,
Как будто, пробуя лесные инструменты,
Вступал в природу новый дирижер.
Орга́нам скал давал он вид забоев,
Оркестрам рек — железный бег турбин
И, хищника отвадив от разбоев,
Торжествовал, как мудрый исполин.
И в голоса нестройные природы
Уже вплетался первый стройный звук,
Как будто вдруг почувствовали воды,
Что не смертелен тяжкий их недуг.
Как будто вдруг почувствовали травы,
Что есть на свете солнце вечных дней,

Что не они во всей вселенной правы,
Но только он — великий чародей.

Суровой осени печален поздний вид,
Но посреди ночного небосвода
Она горит, твоя звезда, природа,
И вместе с ней душа моя горит.

1932—1947

ПРОЩАНИЕ

Памяти С. М. Кирова

Прощание! Скорбное слово!
Безгласное темное тело.
С высот Ленинграда сурово
Холодное небо глядело.
И молча, без грома и пенья,
Все три боевых поколенья
В тот день бесконечной толпою
Прошли, расставаясь с тобою.

В холодных садах Ленинграда,
Забытая в траурном марше,
Огромных дубов колоннада
Стояла, как будто на страже.
Казалось, высоко над нами
Природа сомкнулась рядами
И тихо рыдала и пела,
Узнав неподвижное тело.

Но видел я дальние дали,
И слышал с друзьями моими,
Как дети детей повторяли
Его незабвенное имя.
И мир исполински прекрасный
Сиял над могилой безгласной,
И был он надежен и крепок,
Как сердца погибшего слепок.

1934

НАЧАЛО ЗИМЫ

Зимы холодное и ясное начало
Сегодня в дверь мою три раза простучало.
Я вышел в поле. Острый, как металл,
Мне зимний воздух сердце спеленал,
Но я вздохнул и, разгибая спину,
Легко сбежал с пригорка на равнину,
Сбежал и вздрогнул: речки страшный лик
Вдруг глянул на меня и в сердце мне проник.

Заковывая холодом природу,
Зима идет и руки тянет в воду.
Река дрожит и, чуя смертный час,
Уже открыть не может томных глаз,
И всё ее беспомощное тело
Вдруг страшно вытянулось и оцепенело
И, еле двигая свинцовою волной,
Теперь лежит и бьется головой.

Я наблюдал, как речка умирала,
Не день, не два, но только в этот миг,
Когда она от боли застонала,
В ее сознанье, кажется, проник.
В печальный час, когда исчезла сила,
Когда вокруг не стало никого,
Природа в речке нам изобразила
Скользящий мир сознанья своего.

И уходящий трепет размышленья
Я, кажется, прочел в глухом ее томленье,
И в выраженье волн предсмертные черты
Вдруг уловил. И если знаешь ты,
Как смотрят люди в день своей кончины,
Ты взгляд реки поймешь. Уже до середины
Смертельно почерневшая вода
Чешуйками подергивалась льда.

И я стоял у каменной глазницы,
Ловил на ней последний отблеск дня.
Огромные внимательные птицы
Смотрели с елки прямо на меня.

И я ушел. И ночь уже спустилась.
Крутился ветер, падая в трубу.
И речка, вероятно, еле билась,
Затвердевая в каменном гробу.

1935

ВЕСНА В ЛЕСУ

Каждый день на косогоре я
Пропадаю, милый друг.
Вешних дней лаборатория
Расположена вокруг.

В каждом маленьком растеньице,
Словно в колбочке живой,
Влага солнечная пенится
И кипит сама собой.

Эти колбочки исследовав,
Словно химик или врач,
В длинных перьях фиолетовых
По дороге ходит грач.

Он штудирует внимательно
По тетрадке свой урок
И больших червей питательных
Собирает детям впрок.

А в глуши лесов таинственных,
Нелюдимый, как дикарь,
Песню прадедов воинственных
Начинает петь глухарь.

Словно идолище древнее,
Обезумев от греха,
Он рокочет за деревнею
И колышет потроха.

А на кочках под осинами,
Солнца празднуя восход,

С причитаньями старинными
Водят зайцы хоровод.

Лапки к лапкам прижимаючи,
Вроде маленьких ребят,
Про свои обиды заячьи
Монотонно говорят.

И над песнями, над плясками
В эту пору каждый миг,
Населяя землю сказками,
Пламенеет солнца лик.

И, наверно, наклоняется
В наши древние леса
И невольно улыбается
На лесные чудеса.

1935

ЗАСУХА

О солнце, раскаленное чрез меру,
Угасни, смилуйся над бедною землей!
Мир призраков колеблет атмосферу,
Дрожит весь воздух ярко-золотой.
Над желтыми лохмотьями растений
Плывут прозрачные фигуры испарений.
Как страшен ты, костлявый мир цветов,
Сожженных венчиков, расколотых листов,
Обезображенных, обугленных головок,
Где бродит стадо божиих коровок!

В смертельном обмороке бедная река
Чуть шевелит засохшими устами.
Украсив дно большими бороздами,
Ползут улитки, высунув рога.
Подводные кибиточки, повозки,
Коробочки из перла и известки,
Остановитесь! В этот страшный день
Ничто не движется, пока не пала тень.

Лишь вечером, как только за дубравы
Опустится багровый солнца круг,
Заплакав жалобно, придут в сознанье травы,
Вздохнут дубы, подняв остатки рук.

Но жизнь моя печальней во сто крат,
Когда болеет разум одинокий
И вымыслы, как чудища, сидят,
Поднявши морды над гнилой осокой.
И в обмороке смутная душа,
И, как улитки, движутся сомненья,
И на песках, колеблясь и дрожа,
Встают как уголь черные растенья.

И чтобы снова исцелился разум,
И дождь и вихрь пускай ударят разом!
Ловите молнию в большие фонари,
Руками черпайте кристальный свет зари,
И радуга, упавшая на плечи,
Пускай дома украсит человечьи.

Не бойтесь бурь! Пускай ударит в грудь
Природы очистительная сила!
Ей всё равно с дороги не свернуть,
Которую сознанье начертило.
Учительница, девственница, мать,
Ты не богиня, да и мы не боги,
Но все-таки как сладко понимать
Твои бессвязные и смутные уроки!

1936

НОЧНОЙ САД

О, сад ночной, таинственный орган,
Лес длинных труб, приют виолончелей!
О, сад ночной, печальный караван
Немых ду́бов и неподвижных елей!

Он целый день метался и шумел.
Был битвой дуб, и тополь — потрясеньем.
Сто тысяч листьев, как сто тысяч тел,
Переплетались в воздухе осеннем.

Железный Август в длинных сапогах
Стоял вдали с большой тарелкой дичи.
И выстрелы гремели на лугах,
И в воздухе мелькали тельца птичьи.

И сад умолк, и месяц вышел вдруг,
Легли внизу десятки длинных теней,
И толпы лип вздымали кисти рук,
Скрывая птиц под купами растений.

О, сад ночной, о, бедный сад ночной,
О, существа, заснувшие надолго!
О, вспыхнувший над самой головой
Мгновенный пламень звездного осколка!

1936

ВСЁ, ЧТО БЫЛО В ДУШЕ

Всё, что было в душе, всё как будто опять потерялось,
И лежал я в траве, и печалью и скукой томим,
И прекрасное тело цветка надо мной поднималось,
И кузнечик, как маленький сторож, стоял перед ним.

И тогда я открыл свою книгу в большом переплете,
Где на первой странице растения виден чертеж.
И черна и мертва, протянулась от книги к природе
То ли правда цветка, то ли в нем заключенная ложь.

И цветок с удивленьем смотрел на свое отраженье
И как будто пытался чужую премудрость понять.
Трепетало в листах непривычное мысли движенье,
То усилие воли, которое не передать.

И кузнечик трубу свою поднял, и природа внезапно
проснулась,
И запела печальная тварь славословье уму,
И подобье цветка в старой книге моей шевельнулось
Так, что сердце мое шевельнулось навстречу ему.

1936

ВЧЕРА, О СМЕРТИ РАЗМЫШЛЯЯ

Вчера, о смерти размышляя,
Ожесточилась вдруг душа моя.
Печальный день! Природа вековая
Из тьмы лесов смотрела на меня.

И нестерпимая тоска разъединенья
Пронзила сердце мне, и в этот миг
Всё, всё услышал я — и трав вечерних пенье,
И речь воды, и камня мертвый крик.

И я, живой, скитался над полями,
Входил без страха в лес,
И мысли мертвецов прозрачными столбами
Вокруг меня вставали до небес.

И голос Пушкина был над листвою слышен,
И птицы Хлебникова пели у воды.
И встретил камень я. Был камень неподвижен,
И проступал в нем лик Сковороды.

И все существованья, все народы
Нетленное хранили бытие,
И сам я был не детище природы,
Но мысль ее! Но зыбкий ум ее!

1936

СЕВЕР

В воротах Азии, среди лесов дремучих,
Где сосны древние стоят, купая в тучах
Свои закованные холодом верхи;
Где волка валит с ног дыханием пурги;
Где холодом охваченная птица
Летит, летит и вдруг, затрепетав,
Повиснет в воздухе, и кровь ее сгу́стится,
И птица падает, замерзшая, стремглав;
Где в желобах своих гробообразных,
Составленных из каменного льда,
Едва течет в глубинах рек прекрасных
От наших взоров скрытая вода;

Где самый воздух, острый и блестящий,
Дает нам счастье жизни настоящей,
Весь из кристаллов холода сложен;
Где солнца шар короной окружен;
Где люди с ледяными бородами,
Надев на голову конический треух,
Сидят в санях и длинными столбами
Пускают изо рта оледенелый дух;
Где лошади, как мамонты в оглоблях,
Бегут, урча; где дым стоит на кровлях,
Как изваяние, пугающее глаз;
Где снег, сверкая, падает на нас
И каждая снежинка на ладони
То звездочку напомнит, то кружок,
То вдруг цилиндриком блеснет на небосклоне,
То крестиком опустится у ног;
В воротах Азии, в объятиях метели,
Где сосны в шубах и в тулупах ели, —
Несметные богатства затая,
Лежит в сугробах родина моя.

А дальше к Северу, где океан полярный
Гудит всю ночь и перпендикулярный
Над головою поднимает лед,
Где, весь оледенелый, самолет
Свой тяжкий винт едва-едва вращает
И дальние зимовья навещает, —
Там тень «Челюскина» среди отвесных плит,
Как призрак царственный, над пропастью стоит.

Корабль недвижим. Призрак величавый,
Что ты стоишь с твоею чудной славой?
Ты — пар воображенья, ты — фантом,
Но подвиг твой — свидетельство о том,
Что здесь, на Севере, в средине льдов тяжелых,
Разрезав моря каменную грудь,
Флотилии огромных ледоколов
Необычайный вырубили путь.

Как бронтозавры каменного века,
Они прошли, созданья человека,

Плавучие вместилища чудес,
Бия винтами, льдам наперерез.
И вся природа мертвыми руками
Простерлась к ним, но, брошенная вспять,
Горой отчаянья легла над берегами
И не посмела головы поднять.

1936

СЕДОВ

Он умирал, сжимая компас верный.
Природа мертвая, закованная льдом,
Лежала вкруг него, и солнца лик пещерный
Через туман просвечивал с трудом.
Лохматые, с ремнями на груди,
Свой легкий груз собаки чуть влачили.
Корабль, затертый в ледяной могиле,
Уж далеко остался позади.
И целый мир остался за спиною!
В страну безмолвия, где полюс-великан,
Увенчанный тиарой ледяною,
С меридианом свел меридиан;
Где полукруг полярного сиянья
Копьем алмазным небо пересек;
Где вековое мертвое молчанье
Нарушить мог один лишь человек, —
Туда, туда! В страну туманных бредней,
Где обрывается последней жизни нить!
И сердца стон и жизни миг последний —
Всё, всё отдать, но полюс победить!

Он умирал посереди дороги,
Болезнями и голодом томим.
В цинготных пятнах ледяные ноги,
Как бревна, мертвые лежали перед ним.
Но странно! В этом полумертвом теле
Еще жила великая душа:
Превозмогая боль, едва дыша,
К лицу приблизив компас еле-еле,
Он проверял по стрелке свой маршрут

И гнал вперед свой поезд погребальный...
О край земли, угрюмый и печальный!
Какие люди побывали тут!

И есть на дальнем Севере могила...
Вдали от мира высится она.
Один лишь ветер воет там уныло,
И снега ровная блистает пелена.
Два верных друга, чуть живые оба,
Среди камней героя погребли,
И не было ему простого даже гроба,
Щепотки не было родной ему земли.
И не было ему ни почестей военных,
Ни траурных салютов, ни венков,
Лишь два матроса, стоя на коленях,
Как дети, плакали одни среди снегов.

Но люди мужества, друзья, не умирают!
Теперь, когда над нашей головой
Стальные вихри воздух рассекают
И пропадают в дымке голубой,
Когда, достигнув снежного зенита,
Наш флаг над полюсом колеблется, крылат,
И обозначены углом теодолита
Восход луны и солнечный закат, —
Друзья мои, на торжестве народном
Помянем тех, кто пал в краю холодном!

Вставай, Седов, отважный сын земли!
Твой старый компас мы сменили новым,
Но твой поход на Севере суровом
Забыть в своих походах не могли.
И жить бы нам на свете без предела,
Вгрызаясь в льды, меняя русла рек, —
Отчизна воспитала нас и в тело
Живую душу вдунула навек.
И мы пойдем в урочища любые,
И, если смерть застигнет у снегов,
Лишь одного просил бы у судьбы я:
Так умереть, как умирал Седов.

1937

ГОЛУБИНАЯ КНИГА

В младенчестве я слышал много раз
Полузабытый прадедов рассказ
О книге сокровенной... За рекою
Кровавый луч зари, бывало, чуть горит,
Уж спать пора, уж белой пеленою
С реки ползет туман и сердце леденит,
Уж бедный мир, забыв свои страданья,
Затихнул весь, и только вдалеке
Кузнечик, маленький работник мирозданья,
Всё трудится, поет, не требуя вниманья, —
Один, на непонятном языке...
О тихий час, начало летней ночи!
Деревня в сумерках. И возле темных хат
Седые пахари, полузакрывши очи,
На бревнах еле слышно говорят.

И вижу я сквозь темноту ночную,
Когда огонь над трубкой вспыхнет вдруг,
То спутанную бороду седую,
То жилы выпуклые истомленных рук.
И слышу я знакомое сказанье,
Как правда кривду вызвала на бой,
Как одолела кривда, и крестьяне
С тех пор живут обижены судьбой.
Лишь далеко на океане-море,
На белом камне, посредине вод,
Сияет книга в золотом уборе,
Лучами упираясь в небосвод.
Та книга выпала из некой грозной тучи,
Все буквы в ней цветами проросли,
И в ней написана рукой судеб могучей
Вся правда сокровенная земли.
Но семь на ней повешено печатей,
И семь зверей ту книгу стерегут,
И велено до той поры молчать ей,
Пока печати в бездну не спадут.

А ночь горит над тихою землею,
Дрожащим светом залиты поля,

И высоко плывут над головою
Туманные ночные тополя.
Как сказка — мир. Сказания народа,
Их мудрость темная, но милая вдвойне,
Как эта древняя могучая природа,
С младенчества запали в душу мне...

Где ты, старик, рассказчик мой ночной?
Мечтал ли ты о правде трудовой
И верил ли в годину искупленья?
Не знаю я... Ты умер, наг и сир,
И над тобою, полные кипенья,
Давно шумят иные поколенья,
Угрюмый перестраивая мир.

1937

МЕТАМОРФОЗЫ

Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь, —
На самом деле то, что именуют мной, —
Не я один. Нас много. Я — живой.
Чтоб кровь моя остынуть не успела,
Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел
Я отделил от собственного тела!
И если б только разум мой прозрел
И в землю устремил пронзительное око,
Он увидал бы там, среди могил, глубоко
Лежащего меня. Он показал бы мне
Меня, колеблемого на морской волне,
Меня, летящего по ветру в край незримый, —
Мой бедный прах, когда-то так любимый.

А я всё жив! Всё чище и полней
Объемлет дух скопленье чудных тварей.
Жива природа. Жив среди камней
И злак живой и мертвый мой гербарий.
Звено в звено и форма в форму. Мир

Во всей его живой архитектуре —
Орга́н поющий, море труб, клавир,
Не умирающий ни в радости, ни в буре.

Как всё меняется! Что было раньше птицей,
Теперь лежит написанной страницей;
Мысль некогда была простым цветком,
Поэма шествовала медленным быком;
А то, что было мною, то, быть может,
Опять растет и мир растений множит.

Вот так, с трудом пытаясь развивать
Как бы клубок какой-то сложной пряжи,
Вдруг и увидишь то, что должно называть
Бессмертием. О, суеверья наши!

1937

ЛЕСНОЕ ОЗЕРО

Опять мне блеснула, окована сном,
Хрустальная чаша во мраке лесном.

Сквозь битвы деревьев и волчьи сраженья,
Где пьют насекомые сок из растенья,
Где буйствуют стебли и стонут цветы,
Где хищная тварями правит природа,
Пробрался к тебе я и замер у входа,
Раздвинув руками сухие кусты.

В венце из кувшинок, в уборе осок,
В сухом ожерелье растительных дудок
Лежал целомудренной влаги кусок,
Убежище рыб и пристанище уток.
Но странно, как тихо и важно кругом!
Откуда в трущобах такое величье?
Зачем не беснуется полчище птичье,
Но спит, убаюкано сладостным сном?

Один лишь кулик на судьбу негодует
И в дудку растенья бессмысленно дует.

И озеро в тихом вечернем огне
Лежит в глубине, неподвижно сияя,
И сосны, как свечи, стоят в вышине,
Смыкаясь рядами от края до края.
Бездонная чаша прозрачной воды
Сияла и мыслила мыслью отдельной.
Так око больного в тоске беспредельной
При первом сиянье вечерней звезды,
Уже не сочувствуя телу больному,
Горит, устремленное к небу ночному.
И толпы животных и диких зверей,
Просунув сквозь елки рогатые лица,
К источнику правды, к купели своей
Склонялись воды животворной напиться.

1938

СОЛОВЕЙ

Уже умолкала лесная капелла.
Едва открывал свое горлышко чижик.
В коронке листов соловьиное тело
Одно, не смолкая, над миром звенело.

Чем больше я гнал вас, коварные страсти,
Тем меньше я мог насмехаться над вами.
В твоей ли, пичужка ничтожная, власти
Безмолвствовать в этом сияющем храме?

Косые лучи, ударяя в поверхность
Прохладных листов, улетали в пространство.
Чем больше тебя я испытывал, верность,
Тем меньше я верил в твое постоянство́.

А ты, соловей, пригвожденный к искусству,
В свою Клеопатру влюбленный Антоний,
Как мог ты довериться, бешеный, чувству,
Как мог ты увлечься любовной погоней?

Зачем, покидая вечерние рощи,
Ты сердце мое разрываешь на части?
Я болен тобою, а было бы проще
Расстаться с тобою, уйти от напасти.

Уж так, видно, мир этот создан, чтоб звери,
Родители первых пустынных симфоний,
Твои восклицанья услышав в пещере,
Мычали и выли: «Антоний! Антоний!»

1939

СЛЕПОЙ

С опрокинутым в небо лицом,
С головой непокрытой,
Он торчит у ворот,
Этот проклятый богом старик.
Целый день он поет,
И напев его грустно-сердитый,
Ударяя в сердца,
Поражает прохожих на миг.

А вокруг старика
Молодые шумят поколенья.
Расцветая в садах,
Сумасшедшая стонет сирень.
В белом гроте черемух
По серебряным листьям растений
Поднимается к небу
Ослепительный день...

Что ж ты плачешь, слепец?
Что томишься напрасно весною?
От надежды былой
Уж давно не осталось следа.
Черной бездны твоей
Не укроешь весенней листвою,
Полумертвых очей
Не откроешь, увы, никогда.

Да и вся твоя жизнь —
Как большая привычная рана.
Не любимец ты солнцу,
И природе не родственник ты.
Научился ты жить
В глубине векового тумана,
Научился смотреть
В вековое лицо темноты...

И боюсь я подумать,
Что где-то у края природы
Я такой же слепец
С опрокинутым в небо лицом.
Лишь во мраке души
Наблюдаю я вешние воды,
Собеседую с ними
Только в горестном сердце моем.

О, с каким я трудом
Наблюдаю земные предметы,
Весь в тумане привычек,
Невнимательный, суетный, злой!
Эти песни мои —
Сколько раз они в мире пропеты!
Где найти мне слова
Для возвышенной песни живой?

И куда ты влечешь меня,
Темная грозная муза,
По великим дорогам
Необъятной отчизны моей?
Никогда, никогда
Не искал я с тобою союза,
Никогда не хотел
Подчиняться я власти твоей, —

Ты сама меня выбрала,
И сама ты мне душу пронзила,
Ты сама указала мне
На великое чудо земли...
Пой же, старый слепец!

Ночь подходит. Ночные светила,
Повторяя тебя,
Равнодушно сияют вдали.

1946

УТРО

Петух запевает, светает, пора!
В лесу под ногами гора серебра.
Там черных деревьев стоят батальоны,
Там елки как пики, как выстрелы — клены,
Их корни как шкворни, сучки как стропила,
Их ветры ласкают, им светят светила.
Там дятлы, качаясь на дубе сыром,
С утра вырубают своим топором
Угрюмые ноты из книги дубрав,
Короткие головы в плечи вобрав.
Рожденный пустыней,
Колеблется звук,
Колеблется синий
На нитке паук.
Колеблется воздух,
Прозрачен и чист,
В сияющих звездах
Колеблется лист.
И птицы, одетые в светлые шлемы,
Сидят на воротах забытой поэмы,
И девочка в речке играет нагая
И смотрит на небо, смеясь и мигая.
Петух запевает, светает, пора!
В лесу под ногами гора серебра.

1946

ГРОЗА

Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница,
Тень от тучи легла, и слилась, и смешалась с травой.
Всё труднее дышать, в небе облачный вал шевелится,
Низко стелется птица, пролетев над моей головой.

Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь
вдохновенья,
Человеческий шорох травы, вещий холод на темной
руке,
Эту молнию мысли и медлительное появленье
Первых дальних громов — первых слов на родном языке.

Так из темной воды появляется в мир светлоокая дева,
И стекает по телу, замирая в восторге, вода,
Травы падают в обморок, и направо бегут и налево
Увидавшие небо стада.

А она над водой, над просторами круга земного,
Удивленная, смотрит в дивном блеске своей наготы.
И, играя громами, в белом облаке катится слово,
И сияющий дождь на счастливые рвется цветы.

1946

БЕТХОВЕН

В тот самый день, когда твои созвучья
Преодолели сложный мир труда,
Свет пересилил свет, прошла сквозь тучу туча,
Гром двинулся на гром, в звезду вошла звезда.

И яростным охвачен вдохновеньем,
В оркестрах гроз и трепете громов,
Поднялся ты по облачным ступеням
И прикоснулся к музыке миров.

Дубравой труб и озером мелодий
Ты превозмог нестройный ураган,
И крикнул ты в лицо самой природе,
Свой львиный лик просунув сквозь орган..

И пред лицом пространства мирового
Такую мысль вложил ты в этот крик,
Что слово с воплем вырвалось из слова
И стало музыкой, венчая львиный лик.

Гроза

Содрогаясь от мук, ~~пробежала~~ промелькнула над миром зарница,
Тень от тучи легла и слилась, и смешалась с травой.
Все труднее дышать, в небе ~~[illegible]~~ облачный вал (~~шевелится~~, ~~[illegible]~~
Низко стелется птица над безумной моей головой

Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновенья,
Человеческий шорох травы, вещий холод на темной руке,
Эту молнию мысли и медлительное появленье
Первых ~~сладостных слов на прозрачном~~ дальних громов — первых слов на родном языке

Так из темной воды поднимается ~~в мир непорочная~~ дева
И стекает по телу, замирая в восторге, вода,
Травы падают в обморок, и направо бегут и налево
~~[illegible]~~ Увидавшие небо стада.
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

А она над водой, над обломками круга земного
Удивленная смотрит в дивном блеске своей наготы
И играя громами, в белом облаке катится слово,
И сияющий дождь на счастливые льется цветы.

---

3 мая 1946

А она над расколотым озером над обломками круга земного

В рогах быка опять запела лира,
Пастушьей флейтой стала кость орла,
И понял ты живую прелесть мира
И отделил добро его от зла.

И сквозь покой пространства мирового
До самых звезд прошел девятый вал...
Откройся, мысль! Стань музыкою, слово,
Ударь в сердца, чтоб мир торжествовал!

1946

УСТУПИ МНЕ, СКВОРЕЦ, УГОЛОК

Уступи мне, скворец, уголок,
Посели меня в старом скворешнике.
Отдаю тебе душу в залог
За твои голубые подснежники.

И свистит и бормочет весна.
По колено затоплены тополи.
Пробуждаются клены от сна,
Чтоб, как бабочки, листья захлопали.

И такой на полях кавардак,
И такая ручьев околесица,
Что попробуй, покинув чердак,
Сломя голову в рощу не броситься!

Начинай серенаду, скворец!
Сквозь литавры и бубны истории
Ты — наш первый весенний певец
Из березовой консерватории.

Открывай представленье, свистун!
Запрокинься головкою розовой,
Разрывая сияние струн
В самом горле у рощи березовой.

Я и сам бы стараться горазд,
Да шепнула мне бабочка-странница:

«Кто бывает весною горласт,
Тот без голоса к лету останется».

А весна хороша, хороша!
Охватило всю душу сиренями.
Поднимай же скворешню, душа,
Над твоими садами весенними.

Поселись на высоком шесте,
Полыхая по небу восторгами,
Прилепись паутинкой к звезде
Вместе с птичьими скороговорками.

Повернись к мирозданью лицом,
Голубые подснежники чествуя,
С потерявшим сознанье скворцом
По весенним полям путешествуя.

1946

ЧИТАЙТЕ, ДЕРЕВЬЯ, СТИХИ ГЕЗИОДА

Читайте, деревья, стихи Гезиода,
Дивись Оссиановым гимнам, рябина!
Не меч ты поднимешь сегодня, природа,
Но школьный звонок над щитом Кухулина.
Еще заливаются ветры, как барды,
Еще не смолкают березы Морвена,
Но зайцы и птицы садятся за парты
И к зверю девятая сходит Камена.
Березы, вы школьницы! Полно калякать,
Довольно скакать, задирая подолы!
Вы слышите, как через бурю и слякоть
Ревут водопады, спрягая глаголы?
Вы слышите, как перед зеркалом речек,
Под листьями ивы, под лапами ели,
Как маленький Гамлет, рыдает кузнечик,
Не в силах от вашей уйти канители?
Опять ты, природа, меня обманула,
Опять провела меня за нос, как сводня!
Во имя чего среди ливня и гула
Опять, как безумный, брожу я сегодня?

В который ты раз мне твердишь, потаскуха,
Что здесь, на пороге всеобщего тленья,
Не место бессмертным иллюзиям духа,
Что жизнь продолжается только мгновенье!
Вот так я тебе и поверил! Покуда
Не вытряхнут душу из этого тела,
Едва ли иного достоин я чуда,
Чем то, от которого сердце запело.
Мы, люди, — хозяева этого мира,
Его мудрецы и его педагоги,
Затем и поет Оссианова лира
Над чащею леса, у края берлоги.
От моря до моря, от края до края
Мы учим и пестуем младшего брата,
И бабочки, в солнечном свете играя,
Садятся на лысое темя Сократа.

1946

ЕЩЕ ЗАРЯ НЕ ВСТАЛА НАД СЕЛОМ

Еще заря не встала над селом,
Еще лежат в саду десятки теней,
Еще блистает лунным серебром
Замерзший мир деревьев и растений.

Какая ранняя и звонкая зима!
Еще вчера был день прозрачно-синий,
Но за ночь ветер вдруг сошел с ума,
И выпал снег, и лег на листья иней.

И я смотрю, задумавшись, в окно.
Над крышами соседнего квартала,
Прозрачным пламенем своим окружено,
Восходит солнце медленно и вяло.

Седых берез волшебные ряды
Метут снега безжизненной куделью.
В кристалл холодный убраны сады,
Внезапно занесенные метелью.

Мой старый пес стоит, насторожась,
А снег уже блистает перламутром,
И всё яснее чувствуется связь
Души моей с холодным этим утром.

Так на заре просторных зимних дней
Под сенью замерзающих растений
Нам предстают свободней и полней
Живые силы наших вдохновений.

1946

В ЭТОЙ РОЩЕ БЕРЕЗОВОЙ

В этой роще березовой,
Вдалеке от страданий и бед,
Где колеблется розовый
Немигающий утренний свет,
Где прозрачной лавиною
Льются листья с высоких ветвей, —
Спой мне, иволга, песню пустынную,
Песню жизни моей.

Пролетев над поляною
И людей увидав с высоты,
Избрала деревянную
Неприметную дудочку ты,
Чтобы в свежести утренней,
Посетив человечье жилье,
Целомудренно бедной заутреней
Встретить утро мое.

Но ведь в жизни солдаты мы,
И уже на пределах ума
Содрогаются атомы,
Белым вихрем взметая дома.
Как безумные мельницы,
Машут войны крылами вокруг.
Где ж ты, иволга, леса отшельница?
Что ты смолкла, мой друг?

Окруженная взрывами,
Над рекой, где чернеет камыш,
Ты летишь над обрывами,
Над руинами смерти летишь.
Молчаливая странница,
Ты меня провожаешь на бой,
И смертельное облако тянется
Над твоей головой.

За великими реками
Встанет солнце, и в утренней мгле
С опаленными веками
Припаду я, убитый, к земле.
Крикнув бешеным вороном,
Весь дрожа, замолчит пулемет.
И тогда в моем сердце разорванном
Голос твой запоет.

И над рощей березовой,
Над березовой рощей моей,
Где лавиною розовой
Льются листья с высоких ветвей,
Где под каплей божественной
Холодеет кусочек цветка, —
Встанет утро победы торжественной
На века.

1946

ВОЗДУШНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

В крылатом домике, высоко над землей,
Двумя ревущими моторами влекомый,
Я пролетал вчера дорогой незнакомой,
И облака, скользя, толпились подо мной.

Два бешеных винта, два трепета земли,
Два грозных грохота, две ярости, две бури,
Сливая лопасти с блистанием лазури,
Влекли меня вперед. Гремели и влекли.

Лентообразных рек я видел перелив,
Я различал полей зеленоватых призму,

Туманно-синий лес, прижатый к организму
Моей живой земли, гнездился между нив.

Я к музыке винтов прислушивался, я
Согласный хор винтов распределял на части,
Я изучал их песнь, я понимал их страсти,
Я сам изнемогал от счастья бытия.

Я посмотрел в окно, и сквозь прозрачный дым
Блистательных хребтов суровые вершины,
Торжественно скользя под грозный рев машины,
Дохнули мне в лицо дыханьем ледяным.

И вскрикнула душа, узнав тебя, Кавказ!
И солнечный поток, прорезав тело тучи,
Упал, дымясь, на кристаллические кучи
Огромных ледников, и вспыхнул, и погас.

И далеко внизу, расправив два крыла,
Скользило подо мной подобье самолета.
Казалось, из долин за нами гнался кто-то,
Похитив свой наряд и перья у орла.

Быть может, это был неистовый Икар,
Который вырвался из пропасти вселенной,
Когда напев винтов с их тяжестью мгновенной
Нанес по воздуху стремительный удар.

И вот он гонится над пропастью земли,
Как привидение летающего грека,
И славит хор винтов победу человека,
И Грузия моя встречает нас вдали.

1947

ХРАМГЭС

Плоскогорие Цалки, твою высоту
Стерегут, обступив, Триалетские скалы.
Ястреб в небе парит и кричит на лету,
И приветствует яростным воплем обвалы.

Здесь в бассейнах священная плещет форель,
Здесь стада из разбитого пьют саркофага,
Здесь с ума археологи сходят досель,
Открывая гробницы на склоне оврага.

Здесь История пела, как дева, вчера,
Но сегодня от грохота дрогнули горы,
Титанических взрывов взвились веера,
И взметнулись ракет голубых метеоры.

Там, где волны в ущелье пробили проход,
Многотонный бетон пересек горловину,
И река, закипев у подземных ворот,
Покатилась, бушуя, обратно в долину.

Словно пойманный зверь, зарычала она,
Вырывая орешник, вздымая каменья,
Заливая печальных гробниц письмена,
Где давно позабытые спят поколенья.

Опустись, моя муза, в глубокий тоннель!
Ты — подружка гидравлики, сверстница тока.
Пред тобой в глубине иверийских земель
Зажигается новое солнце Востока.

Ты послушай, как свищет стальной соловей,
Как трепещет в бетоне железный вибратор,
Опусти свои очи в зияющий кратер,
Что уходит в скалу под ногою твоей.

Здесь грузинские юноши, дети страны,
Словно зодчие мира, под звуки пандури
Заключили в трубу завывание бури
И в бетон заковали кипенье волны.

Нас подхватит волна, мы помчимся с тобой,
Мы по трубам низринемся в бездну ущелья,
Где раструбы турбин в хороводе веселья
Заливаются песней своей громовой.

Из пространств генератора мы полетим
Высоко над землей по струне передачи,

Мы забудем с тобою про все неудачи,
Наслаждаясь мгновенным полетом своим

Над Курою огромные звезды горят,
Словно воины, встали вокруг кипарисы,
И залитые светом кварталы Тбилиси
О грядущих веках до утра говорят.

1947

САГУРАМО

Я твой родничок, Сагурамо,
Наверно, вовек не забуду.
Здесь каменных гор панорама
Вставала, подобная чуду.

Здесь гор изумрудная груда
В одежде из груш и кизила,
Как некое древнее чудо,
Навек мое сердце пленила.

Спускаясь с высот Зедазени,
С развалин старинного храма,
Я видел, как тропы оленьи
Бежали к тебе, Сагурамо.

Здесь птицы, как малые дети,
Смотрели в глаза человечьи
И пели мне песню о лете
На птичьем блаженном наречье.

И в нише из древнего камня,
Где ласточек плакала стая,
Звучала струя родника мне,
Дугою в бассейн упадая.

И днем, над работой склоняясь,
И ночью, проснувшись в постели,
Я слышал, как, в окна врываясь,
Холодные струи звенели.

И мир превращался в огромный
Певучий источник величья,
И, песней его изумленный,
Хотел его тайну постичь я.

И спутники Гурамишвили,
Вставая из бездны столетий,
К постели моей подходили,
Рыдая, как малые дети.

И туч поднимались волокна,
И дождь барабанил по крыше,
И с шумом в открытые окна
Врывались летучие мыши.

И сердце Ильи Чавчавадзе
Гремело так громко и близко,
Что молнией стала казаться
Вершина его обелиска.

Я вздрагивал, я просыпался,
Я с треском захлопывал ставни,
И снова мне в уши врывался
Источник, звенящий на камне.

И каменный храм Зедазени
Пылал над блистательным Мцхетом,
И небо тропинки оленьи
Своим заливало рассветом.

1947

НОЧЬ В ПАСАНАУРИ

Сияла ночь, играя на пандури,
Луна плыла в убежище любви,
И снова мне в садах Пасанаури
На двух Арагвах пели соловьи.

С Крестового спустившись перевала,
Где в мае снег и каменистый лед,

Я так устал, что не желал нимало
Ни соловьев, ни песен, ни красот.

Под звуки соловьиного напева
Я взял фонарь, разделся догола,
И вот река, как бешеная дева,
Мое большое тело обняла.

И я лежал, схватившись за каменья,
И надо мной, сверкая, выл поток,
И камни шевелились в исступленье
И бормотали, прыгая у ног.

И я смотрел на бледный свет огарка,
Который колебался вдалеке,
И с берега огромная овчарка
Величественно двигалась к реке.

И вышел я на берег, словно воин,
Холодный, чистый, сильный и земной,
И гордый пес, как божество, спокоен,
Узнав меня, улегся предо мной.

И в эту ночь в садах Пасанаури,
Изведав холод первобытных струй,
Я принял в сердце первый звук пандури
Как в отрочестве — первый поцелуй.

1947

Я ТРОГАЛ ЛИСТЫ ЭВКАЛИПТА

Я трогал листы эвкалипта
И твердые перья агавы,
Мне пели вечернюю песню
Аджарии сладкие травы.
Магнолия в белом уборе
Склоняла туманное тело,
И синее-синее море
У берега бешено пело.

Но в яростном блеске природы
Мне снились московские рощи,
Где синее небо бледнее,
Растенья скромнее и проще.
Где нежная иволга стонет
Над светлым видением луга,
Где взоры печальные клонит
Моя дорогая подруга.

И вздрогнуло сердце от боли,
И светлые слезы печали
Упали на чаши растений,
Где белые птицы кричали.
А в небе, седые от пыли,
Стояли камфарные лавры
И в бледные трубы трубили,
И в медные били литавры.

1947

УРАЛ

(Отрывок)

Зима. Огромная, просторная зима.
Деревьев громкий треск звучит, как канонада.
Глубокий мрак ночей выводит терема
Сверкающих снегов над выступами сада.
В одежде кристаллической своей
Стоят деревья. Темные вороны,
Сшибая снег с опущенных ветвей,
Шарахаются, немощны и сонны.
В оттенках грифеля клубится ворох туч,
И звезды, пробиваясь посредине,
Свой синеватый движущийся луч
Едва влачат по ледяной пустыне.

Но лишь заря прорежет небосклон
И встанет солнце, как, подобно чуду,
Свет тысячи огней возникнет отовсюду,

Частицами снегов в пространство отражен.
И девственный пожар январского огня
Вдруг упадет на школьный палисадник,
И хоры петухов сведут с ума курятник,
И зимний день всплывет, ликуя и звеня.

В такое утро русский человек,
Какое б с ним ни приключилось горе,
Не может тосковать. Когда на косогоре
Вдруг заскрипел под валенками снег
И большеглазых розовых детей
Опять мелькнули радостные лица, —
Лариса поняла: довольно ей томиться,
Довольно мучиться. Пора очнуться ей!

В тот день она рассказывала детям
О нашей родине. И в глубину времен,
К прошедшим навсегда тысячелетьям
Был взор ее духовный устремлен.
И дети видели, как в глубине веков,
Образовавшись в огненном металле,
Платформы двух земных материков
Средь раскаленных лав затвердевали.
В огне и буре плавала Сибирь,
Европа двигала свое большое тело,
И солнце, как огромный нетопырь,
Сквозь желтый пар таинственно глядело.
И вдруг, подобно льдинам в ледоход,
Материки столкнулись. В небосвод
Метнулся камень, образуя скалы;
Расплавы звонких руд вонзились в интервалы
И трещины пород; подземные пары,
Как змеи, извиваясь меж камнями,
Пустоты скал наполнили огнями
Чудесных самоцветов. Все дары
Блистательной таблицы элементов
Здесь улеглись для наших инструментов
И затвердели. Так возник Урал.

Урал, седой Урал! Когда в былые годы
Шумел строительства первоначальный вал,

Кто, покоритель скал и властелин природы,
Короной черных домн тебя короновал?
Когда магнитогорские мартены
Впервые выбросили свой стальной поток,
Кто отворил твои безжизненные стены,
Кто за собой сердца людей увлек
В кипучий мир бессмертных пятилеток?
Когда бы из могил восстал наш бедный предок
И посмотрел вокруг, чтоб целая страна
Вдруг сделалась ему со всех сторон видна, —
Как изумился б он! Из черных недр Урала,
Где царствуют топаз и турмалин,
Пред ним бы жизнь невиданная встала,
Наполненная пением машин.
Он увидал бы мощные громады
Магнитных скал, сползающих с высот,
Он увидал бы полный сил народ,
Трудящийся в громах подземной канонады,
И землю он свою познал бы в первый раз...

Не отрывая от Ларисы глаз,
Весь класс молчал, как бы завороженный.
Лариса чувствовала: огонек, зажженный
Ее словами, будет вечно жить
В сердцах детей. И совершилось чудо:
Воспоминаний горестная груда
Вдруг перестала сердце ей томить.
Что сердце? Сердце — воск. Когда ему блеснет
Огонь сочувственный, огонь родного края,
Растопится оно и, медленно сгорая,
Навстречу жизни радостно плывет.

1947

ГОРОД В СТЕПИ

1

Степным ветрам не писаны законы.
Пирамидальный склон воспламеняя,
Всю ночь над нами тлеют терриконы —
Живые горы дыма и огня.

Куда ни глянь, от края и до края
На пьедесталах каменных пород
Стальные краны, в воздухе ныряя,
Свой медленный свершают оборот.
И вьется дым в искусственном ущелье,
И за составом движется состав,
И свищет ветер в бешеном веселье,
Над Казахстаном крылья распластав.

2

Какой простор для мысли и труда!
Какая сила дерзости и воли!
Кто, чародей, в необозримом поле
Воздвиг потомству эти города?
Кто выстроил пролеты колоннад,
Кто вылепил гирлянды на фронтонах,
Кто средь степей разбил испепеленных
Фонтанами взрывающийся сад?
А ветер стонет, свищет и гудит,
Рвет вымпела, над башнями играя,
И изваянье Ленина стоит,
В седые степи руку простирая.
И степь пылает на исходе дня,
И тень руки ложится на равнины,
И в честь вождя заводят песнь акыны,
Над инструментом голову склоня.
И затихают шорохи и вздохи,
И замолкают птичьи голоса,
И вопль певца из струнной суматохи,
Как вольный беркут, мчится в небеса.
Летит, летит, летит... остановился...
И замер где-то в солнце... А внизу
Переполох восторга прокатился,
С туманных струн рассыпав бирюзу.
Но странный голос, полный ликованья,
Уже вступил в особый мир чудес,
И целый город, затаив дыханье,
Следит за ним под куполом небес.
И Ленин смотрит в глубь седых степей,
И думою чело его объято,

И песнь летит, привольна и крылата,
И, кажется, конца не будет ей.
И далеко, в сиянии зари,
В своих широких шляпах из брезента
Шахтеры вторят звону инструмента
И поднимают к небу фонари.

3

Гомер степей на пегой лошаденке
Несется вдаль, стремительно красив.
Вослед ему летят сизоворонки,
Головки на закат поворотив.
И вот, ступив ногой на солончак,
Стоит верблюд, Ассаргадон пустыни,
Дитя печали, гнева и гордыни,
С тысячелетней тяжестью в очах.
Косматый лебедь каменного века,
Он плачет так, что слушать нету сил,
Как будто он, скиталец и калека,
Вкусив пространства, счастья не вкусил.
Закинув темя за предел земной,
Он медленно ворочает глазами,
И тамариск, обрызганный слезами,
Шумит пред ним серебряной волной.

4

Надев остроконечные папахи
И наклонясь на гриву скакуна,
Вокруг отар во весь опор казахи
Несутся, вьются, стиснув стремена.
И стрепет, вылетев из-под копыт,
Шарахается в поле, как лазутчик,
И солнце жжет верхи сухих колючек,
И на сто верст простор вокруг открыт.
И Ленин на холме Караганды
Глядит в необозримые просторы,
И вкруг него ликуют птичьи хоры,
Звенит домбра и плещет ток воды.
И за составом движется состав,

И льется уголь из подземной клети,
И ветер гонит тьму тысячелетий,
Над Казахстаном крылья распластав.

1947

В ТАЙГЕ

За высокий сугроб закатилась звезда,
Блещет месяц — глазам невтерпеж.
Кедр, владыка лесов, под наростами льда
На бриллиантовый замок похож.

Посреди кристаллически-белых громад
На седом телеграфном столбе,
Оседлав изоляторы, совы сидят,
И в лицо они смотрят тебе.

Запахнув на груди исполинский тулуп,
Ты стоишь над землянкой звена.
Крепко спит в тишине молодой лесоруб,
Лишь тебе одному не до сна.

Обнимая огромный канадский топор,
Ты стоишь, неподвижен и хмур.
Пред тобой голубую пустыню простер
Замурованный льдами Амур.

И далеко внизу полыхает пожар,
Рассыпая огонь по реке,
Это печи свои отворил сталевар
В Комсомольске, твоем городке.

Это он подмигнул в ледяную тайгу,
Это он побратался с тобой,
Чтобы ты не заснул на своем берегу,
Не замерз, околдован тайгой.

Так растет человеческой дружбы зерно,
Так в январской морозной пыли
Два могучие сердца, сливаясь в одно,
Пламенеют над краем земли.

1947

ТВОРЦЫ ДОРОГ

1

Рожок поет протяжно и уныло, —
Давно знакомый утренний сигнал!
Покуда медлит сонное светило,
В свои права вступает аммонал.
Над крутизною старого откоса
Уже трещат бикфордовы шнуры,
И вдруг — удар, и вздрогнула береза,
И взвыло чрево каменной горы.
И выдохнув короткий белый пламень
Под напряженьем многих атмосфер,
Завыл, запел, взлетел под небо камень,
И заволокся дымом весь карьер.
И равномерным грохотом обвала
До глубины своей потрясена,
Из тьмы лесов трущоба простонала,
И, простонав, замолкнула она.
Поет рожок над дальнею горою,
Восходит солнце, заливая лес,
И мы бежим нестройною толпою,
Подняв ломы, громам наперерез.
Так под напором сказочных гигантов,
Работающих тысячами рук,
Из недр вселенной ад поднялся Дантов
И, грохнув наземь, раскололся вдруг.
При свете солнца разлетелись страхи,
Исчезли толпы духов и теней.
И вот лежит, сверкающий во прахе,
Подземный мир блистательных камней.
И всё черней становится и краше
Их влажный и неправильный излом.
О, эти расколовшиеся чаши,
Обломки звезд с оторванным крылом!
Кубы и плиты, стрелы и квадраты,
Мгновенно отвердевшие грома, —
Они лежат передо мной, разъяты
Одним усильем светлого ума.
Еще прохлада дышит вековая

Над грудью их, еще курится пыль,
Но экскаватор, черный ковш вздымая,
Уж сыплет их, урча, в автомобиль.

2

Угрюмый Север хмурился ревниво,
Но с каждым днем всё жарче и быстрей
Навстречу льдам Берингова пролива
Неслась струя тропических морей.
Под непрерывный грохот аммонала,
Весенними лучами озарен,
Уже летел, раскинув опахала,
Огромный, как ракета, махаон.
Сиятельный и пышный самозванец,
Он, как светило, вздрагивал и плыл,
И вслед ему неслась толпа созданьиц,
Подвесив тельца меж лазурных крыл.
Кузнечики, согретые лучами,
Отщелкивали в воздухе часы,
Тяжелый жук, летающий скачками,
Влачил, как шлейф, гигантские усы.
И сотни тварей, на своей свирели
Однообразный поднимая вой,
Ползли, толклись, метались, пили, ели,
Вились, как столб, над самой головой.
И в куполе звенящих насекомых,
Среди болот и неподвижных мхов,
С вершины сопок, зноем опаленных,
Вздымался мир невиданных цветов.
Соперничая с блеском небосвода,
Здесь, посредине хлябей и камней,
Казалось, в небо бросила природа
Всю ярость красок, собранную в ней.
Над суматохой лиственных сплетений,
Над ураганом зелени и трав
Здесь расцвела сама душа растений,
Огромные цветы образовав.
Когда горят над сопками Стожары
И пенье сфер проносится вдали,

Колокола и сонные гитары
Им нежно откликаются с земли.
Есть хор цветов, неуловимый ухом,
Концерт тюльпанов и квартет лилей.
Быть может, только бабочкам и мухам
Он слышен ночью посреди полей.
В такую ночь, соперница лазурей,
Вся сопка дышит, звуками полна,
И тварь земная музыкальной бурей
До глубины души потрясена.
И засыпая в первобытных норах,
Твердит она уже который век
Созвучье тех мелодий, о которых
Так редко вспоминает человек.

8

Рожок гудел, и сопка клокотала,
Узкоколейка пела у реки.
Подобье циклопического вала
Пересекало древний мир тайги.
Здесь, в первобытном капище природы,
В необозримом вареве болот,
Врубаясь в лес, проваливаясь в воды,
Срываясь с круч, мы двигались вперед.
Нас ветер бил с Амура и Амгуни,
Трубил нам лось, и волк нам выл вослед,
Но всё, что здесь до нас лежало втуне,
Мы подняли и вынесли на свет.
В стране, где кедрам светят метеоры,
Где молится березам бурундук,
Мы отворили заступами горы
И на восток пробились и на юг.
Охотский вал ударил в наши ноги,
Морские птицы прянули из трав,
И мы стояли на краю дороги,
Сверкающие заступы подняв.

1947

ЗАВЕЩАНИЕ

Когда на склоне лет иссякнет жизнь моя
И, погасив свечу, опять отправлюсь я
В необозримый мир туманных превращений,
Когда мильоны новых поколений
Наполнят этот мир сверканием чудес
И довершат строение природы, —
Пускай мой бедный прах покроют эти воды,
Пусть приютит меня зеленый этот лес.

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов
Себя я в этом мире обнаружу.
Многовековый дуб мою живую душу
Корнями обовьет, печален и суров.
В его больших листах я дам приют уму,
Я с помощью ветвей свои взлелею мысли,
Чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли
И ты причастен был к сознанью моему.

Над головой твоей, далекий правнук мой,
Я в небе пролечу, как медленная птица,
Я вспыхну над тобой, как бледная зарница,
Как летний дождь прольюсь, сверкая над травой.
Нет в мире ничего прекрасней бытия.
Безмолвный мрак могил — томление пустое.
Я жизнь мою прожил, я не видал покоя:
Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я.

Не я родился в мир, когда из колыбели
Глаза мои впервые в мир глядели, —
Я на земле моей впервые мыслить стал,
Когда почуял жизнь безжизненный кристалл,
Когда впервые капля дождевая
Упала на него, в лучах изнемогая.

О, я недаром в этом мире жил!
И сладко мне стремиться из потемок,
Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний
мой потомок,
Доделал то, что я не довершил.

1947

ЖЕНА

Откинув со лба шевелюру,
Он хмуро сидит у окна.
В зеленую рюмку микстуру
Ему наливает жена.

Как робко, как пристально-нежно
Болезненный светится взгляд,
Как эти кудряшки потешно
На тощей головке висят!

С утра он всё пишет да пишет,
В неведомый труд погружен.
Она еле ходит, чуть дышит,
Лишь только бы здравствовал он.

А скрипнет под ней половица,
Он брови взметнет, — и тотчас
Готова она провалиться
От взгляда пронзительных глаз.

Так кто же ты, гений вселенной?
Подумай: ни Гете, ни Дант
Не знали любви столь смиренной,
Столь трепетной веры в талант.

О чем ты скребешь на бумаге?
Зачем ты так вечно сердит?
Что ищешь, копаясь во мраке
Своих неудач и обид?

Но коль ты хлопочешь на деле
О благе, о счастье людей,
Как мог ты не видеть доселе
Сокровища жизни своей?

1948

ЖУРАВЛИ

Вылетев из Африки в апреле
К берегам отеческой земли,
Длинным треугольником летели,
Утопая в небе, журавли.

Вытянув серебряные крылья
Через весь широкий небосвод,
Вел вожак в долину изобилья
Свой немногочисленный народ.

Но когда под крыльями блеснуло
Озеро, прозрачное насквозь,
Черное зияющее дуло
Из кустов навстречу поднялось.

Луч огня ударил в сердце птичье,
Быстрый пламень вспыхнул и погас,
И частица дивного величья
С высоты обрушилась на нас.

Два крыла, как два огромных горя,
Обняли холодную волну,
И, рыданью горестному вторя,
Журавли рванулись в вышину.

Только там, где движутся светила,
В искупленье собственного зла
Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла:

Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбе —
Всё, что от былого поколенья
Переходит, молодость, к тебе.

А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно,
И заря над ним образовала
Золотого зарева пятно.

1948

ПРОХОЖИЙ

Исполнен душевной тревоги,
В треухе, с солдатским мешком,
По шпалам железной дороги
Шагает он ночью пешком.

Уж поздно. На станцию Нара
Ушел предпоследний состав.
Луна из-за края амбара
Сияет, над кровлями встав.

Свернув в направлении к мосту,
Он входит в весеннюю глушь,
Где сосны, склоняясь к погосту,
Стоят, словно скопища душ.

Тут летчик у края аллеи
Покоится в ворохе лент,
И мертвый пропеллер, белея,
Венчает его монумент.

И в темном чертоге вселенной,
Над сонною этой листвой
Встает тот нежданно мгновенный,
Пронзающий душу покой,

Тот дивный покой, пред которым,
Волнуясь и вечно спеша,
Смолкает с опущенным взором
Живая людская душа.

И в легком шуршании почек,
И в медленном шуме ветвей
Невидимый юноша-летчик
О чем-то беседует с ней.

А тело бредет по дороге,
Шагая сквозь тысячи бед,
И горе его, и тревоги
Бегут, как собаки, вослед.

1948

ЧИТАЯ СТИХИ

Любопытно, забавно и тонко:
Стих, почти не похожий на стих.
Бормотанье сверчка и ребенка
В совершенстве писатель постиг.

И в бессмыслице скомканной речи
Изощренность известная есть.
Но возможно ль мечты человечьи
В жертву этим забавам принесть?

И возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?

Нет! Поэзия ставит преграды
Нашим выдумкам, ибо она
Не для тех, кто, играя в шарады,
Надевает колпак колдуна.

Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.

1948

КОГДА ВДАЛИ УГАСНЕТ СВЕТ ДНЕВНОЙ

Когда вдали угаснет свет дневной
И в черной мгле, склоняющейся к хатам,
Всё небо заиграет надо мной,
Как колоссальный движущийся атом, —

В который раз томит меня мечта,
Что где-то там, в другом углу вселенной,
Такой же сад, и та же темнота,
И те же звезды в красоте нетленной.

И может быть, какой-нибудь поэт
Стоит в саду и думает с тоскою,
Зачем его я на исходе лет
Своей мечтой туманной беспокою.

1948

ОТТЕПЕЛЬ

Оттепель после метели.
Только утихла пурга,
Разом сугробы осели,
И потемнели снега.

В клочьях разорванной тучи
Блещет осколок луны.
Сосен тяжелые сучья
Мокрого снега полны.

Падают, плавятся, льются
Льдинки, втыкаясь в сугроб.
Лужи, как тонкие блюдца,
Светятся около троп.

Пусть молчаливой дремотой
Белые дышат поля,
Неизмеримой работой
Занята снова земля.

Скоро проснутся деревья,
Скоро, построившись в ряд,
Птиц перелетных кочевья
В трубы весны затрубят.

1948

ПРИБЛИЖАЛСЯ АПРЕЛЬ К СЕРЕДИНЕ

Приближался апрель к середине,
Бил ручей, упадая с откоса,
День и ночь грохотал на плотине
Деревянный лоток водосброса.

Здесь, под сенью дряхлеющих ветел,
Из которых любая — калека,
Я однажды, гуляя, заметил
Незнакомого мне человека.

Он стоял и держал пред собою
Непочатого хлеба ковригу
И свободной от груза рукою
Перелистывал старую книгу.

Лоб его бороздила забота,
И здоровьем не выдалось тело,
Но упорная мысли работа
Глубиной его сердца владела.

Пробежав за страницей страницу,
Он вздымал удивленное око,
Наблюдая ручьев вереницу,
Устремленную в пену потока.

В этот миг перед ним открывалось
То, что было незримо доселе,
И душа его в мир поднималась,
Как дитя из своей колыбели.

А грачи так безумно кричали,
И так яростно ветлы шумели,
Что, казалось, остаток печали
Отнимать у него не хотели.

1948

ПОЗДНЯЯ ВЕСНА

Осветив черепицу на крыше
И согрев древесину сосны,
Поднимается выше и выше
Запоздалое солнце весны.

В розовато-коричневом дыме
Не покрытых листами ветвей,

Весь пронизан лучами косыми,
Бьет крылом и поет соловей.

Как естественно здесь повторенье
Лаконически-медленных фраз,
Точно малое это творенье
Их поет специально для нас!

О любимые сердцем обманы,
Заблужденья младенческих лет!
В день, когда зеленеют поляны,
Мне от вас избавления нет.

Я, как древний Коперник, разрушил
Пифагорово пенье светил
И в основе его обнаружил
Только лепет и музыку крыл.

1948

ПОЛДЕНЬ

Понемногу вступает в права
Ослепительно знойное лето.
Раскаленная солнцем трава
Испареньями влаги одета.

Пожелтевший от зноя лопух
Развернул розоватые латы
И стоит, задыхаясь от мух,
Под высокими окнами хаты.

Есть в расцвете природы моей
Кратковременный миг пресыщенья,
Час, когда перламутровый клей
Выделяют головки растенья.

Утомились орудья любви,
Страсть иссякла, но пламя былое
Дотлевает и бродит в крови,
Уж не тело, но ум беспокоя.

Но к полудню заснет и оно,
И в средине небесного свода
Лишь смертельного зноя пятно
Различит, замирая, природа.

1948

ЛЕБЕДЬ В ЗООПАРКЕ

Сквозь летние сумерки парка
По краю искусственных вод
Красавица, дева, дикарка
Высокая лебедь плывет.

Плывет белоснежное диво,
Животное, полное грез,
Колебля на лоне залива
Лиловые тени берез.

Головка ее шелковиста,
И мантия снега белей,
И дивные два аметиста
Мерцают в глазницах у ней.

И светлое льется сиянье
Над белым изгибом спины,
И вся она как изваянье
Приподнятой к небу волны.

Скрежещут над парком трамваи,
Скрипит под машинами мост,
Истошно кричат попугаи,
Поджав перламутровый хвост.

И звери сидят в отдаленье,
Приделаны к выступам нор,
И смотрят фигуры оленьи
На воду сквозь тонкий забор.

И вся мировая столица,
Весь город сверкающий наш,

Над маленьким парком теснится,
Этаж громоздя на этаж.

И слышит, как в сказочном мире
У самого края стены
Крылатое диво на лире
Поет нам о счастье весны.

1948

СКВОЗЬ ВОЛШЕБНЫЙ ПРИБОР ЛЕВЕНГУКА

Сквозь волшебный прибор Левенгука
На поверхности капли воды
Обнаружила наша наука
Удивительной жизни следы.

Государство смертей и рождений,
Нескончаемой цепи звено, —
В этом мире чудесных творений
Сколь ничтожно и мелко оно!

Но для бездн, где летят метеоры,
Ни большого, ни малого нет,
И равно беспредельны просторы
Для микробов, людей и планет.

В результате их общих усилий
Зажигается пламя Плеяд,
И кометы летят легкокрылей,
И быстрее созвездья летят.

И в углу невысокой вселенной,
Под стеклом кабинетной трубы,
Тот же самый поток неизменный
Движет тайная воля судьбы.

Там я звездное чую дыханье,
Слышу речь органических масс
И стремительный шум созиданья,
Столь знакомый любому из нас.

1948

ТБИЛИССКИЕ НОЧИ

Отчего, как восточное диво,
Черноока, печальна, бледна,
Ты сегодня всю ночь молчаливо
До рассвета сидишь у окна?

Распластались во мраке платаны,
Ночь брильянтовой чашей горит,
Дремлют горы, темны и туманны,
Кипарис, как живой, говорит.

Хочешь, завтра под звуки пандури,
Сквозь вина золотую струю
Я умчу тебя в громе и буре
В ледяную отчизну мою?

Вскрикнут кони, разломится время,
И по руслу реки до зари
Полетим мы, забытые всеми,
Разрывая лучей янтари.

Я закутаю смуглые плечи
В снежный ворох сибирских полей,
Будут сосны гореть, словно свечи,
Над мерцаньем твоих соболей.

Там, в огромном безмолвном просторе,
Где поет, торжествуя, пурга,
Позабудешь ты южное море,
Золотые его берега.

Ты наутро поднимешь ресницы:
Пред тобой, как лесные царьки,
Золотые песцы и куницы
Запоют, прибежав из тайги.

Поднимая мохнатые лапки,
Чтоб тебя не обидел мороз,
Принесут они в лапках охапки
Перламутровых северных роз.

Гордый лось с голубыми рогами
На своей величавой трубе,
Окруженный седыми снегами,
Песню свадьбы сыграет тебе.

И багровое солнце, пылая
Всей громадой холодных огней,
Как живой великан, дорогая,
Улыбнется печали твоей.

Что случилось сегодня в Тбилиси?
Льется воздух, как льется вино.
Спят стрижи на оконном карнизе,
Кипарисы глядятся в окно.

Сквозь туманную дымку вуали
Пробиваются брызги огня.
Посмотри на меня, генацвале,
Оглянись, посмотри на меня!

1948

НА РЕЙДЕ

Был поздний вечер. На террасах
Горы, сползающей на дно,
Дремал поселок, опоясав
Лазурной бухточки пятно.

Туманным кругом акварели
Лежала в облаке луна,
И звезды еле-еле тлели,
И еле двигалась волна.

Под равномерный шум прибоя
Качались в бухте корабли.
И вдруг, утробным воем воя,
Всё море вспыхнуло вдали.

И в ослепительном сплетенье
Огней, пронзивших небосвод,

Гигантский лебедь, белый гений,
На рейде встал электроход.

Он встал над бездной вертикальной
В тройном созвучии октав,
Обрывки бури музыкальной
Из окон щедро раскидав.

Он весь дрожал от этой бури,
Он с морем был в одном ключе,
Но тяготел к архитектуре,
Подняв антенну на плече.

Он в море был явленьем смысла,
Где электричество и звук,
Как равнозначащие числа,
Передо мной предстали вдруг.

1949

ГУРЗУФ

В большом полукружии горных пород,
Где, темные ноги разув,
В лазурную чашу сияющих вод
Спускается сонный Гурзуф,
Где скалы, вступая в зеркальный затон,
Стоят по колено в воде,
Где море поет, подперев небосклон,
И зеркалом служит звезде,—
Лишь здесь я познал превосходство морей
Над нашею тесной землей,
Услышал медлительный ход кораблей
И отзвук равнины морской.
Есть таинство отзвуков. Может быть, нас
Затем и волнует оно,
Что каждое сердце предчувствует час,
Когда оно канет на дно.
О, что бы я только не отдал взамен
За то, чтобы даль донесла
И стон Персефоны, и пенье сирен,
И звон боевого весла!

1949

СВЕТЛЯКИ

Слова — как светляки с большими фонарями.
Пока рассеян ты и не всмотрелся в мрак,
Ничтожно и темно их девственное пламя
И неприметен их одушевленный прах.

Но ты взгляни на них весною в южном Сочи,
Где олеандры спят в торжественном цвету,
Где море светляков горит над бездной ночи
И волны в берег бьют, рыдая на лету.

Сливая целый мир в единственном дыханье,
Там из-под ног твоих земной уходит шар,
И уж не их огни твердят о мирозданье,
Но отдаленных гроз колеблется пожар.

Дыхание фанфар и бубнов незнакомых
Там медленно гудит и бродит в вышине.
Что жалкие слова? Подобье насекомых!
И всё же эта тварь была послушна мне.

1949

БАШНЯ ГРЕМИ [1]

Ух, башня проклятая! Сто ступеней!
Соратник огню и железу,
По выступам ста треугольных камней
Под самое небо я лезу.

Винтом извивается башенный ход,
Отверстье, пробитое в камне.
Сорвись-ка! Никто и костей не найдет.
Вгрызается в сердце тоска мне.

А следом за мною, в холодном поту,
Как я, распростершие руки,

[1] Греми — древняя столица Кахетии, развалины которой сохранились до сих пор.

Какие-то люди ползут в высоту,
Таща самопалы и луки.

О черные стены бряцает кинжал,
На шлемах сияние брезжит.
Доносится снизу, заполнив провал,
Кольчуг несмолкаемый скрежет.

А там, в подземелье соборных руин,
Где царская скрыта гробница,
Леван-полководец, Леван-властелин [1]
Из каменной ниши стучится:

«Вперед, кахетинцы, питомцы орлов!
Да здравствует родина наша!
Вовеки не сгинет отеческий кров
Под черной пятой кизилбаша!» [2]

И мы на последнюю всходим ступень,
И солнце ударило в очи,
И в сердце ворвался стремительный день
Всей силой своих полномочий.

В парче винограда, в живом янтаре,
Где дуб переплелся с гранатом,
Кахетия пела, гордясь в октябре
Своим урожаем богатым.

Как пламя, в марани [3] струилось вино,
Веселье лилось из давилен,
И был кизилбаш, позабытый давно,
Пред этой страною бессилен.

И реял над нею свободный орлан,
Вздувающий перья на шлеме,
И так же, как некогда витязь Леван,
Стерег опустевшую Греми.

1950

---

[1] Леван — кахетинский царь, проводивший в XVI веке политику сближения с Московским государством.
[2] Кизилбаши — персы.
[3] Марани — погреб для вина.

СТАРАЯ СКАЗКА

В этом мире, где наша особа
Выполняет неясную роль,
Мы с тобою состаримся оба,
Как состарился в сказке король.

Догорает, светясь терпеливо,
Наша жизнь в заповедном краю,
И встречаем мы здесь молчаливо
Неизбежную участь свою.

Но когда серебристые пряди
Над твоим засверкают виском,
Разорву пополам я тетради
И с последним расстанусь стихом.

Пусть душа, словно озеро, плещет
У порога подземных ворот
И багровые листья трепещут,
Не касаясь поверхности вод.

1952

ОБЛЕТАЮТ ПОСЛЕДНИЕ МАКИ

Облетают последние маки,
Журавли улетают, трубя,
И природа в болезненном мраке
Не похожа сама на себя.

По пустынной и голой аллее
Шелестя облетевшей листвой,
Отчего ты, себя не жалея,
С непокрытой бредешь головой?

Жизнь растений теперь затаилась
В этих странных обрубках ветвей.
Ну, а что же с тобой приключилось,
Что с душой приключилось твоей?

Как посмел ты красавицу эту,
Драгоценную душу твою,
Отпустить, чтоб скиталась по свету,
Чтоб погибла в далеком краю?

Пусть непрочны домашние стены,
Пусть дорога уводит во тьму, —
Нет на свете печальней измены,
Чем измена себе самому.

1952

ВОСПОМИНАНИЕ

Наступили месяцы дремоты...
То ли жизнь, действительно, прошла,
То ли она, закончив все работы,
Поздней гостьей села у стола.

Хочет пить — не нравятся ей вина,
Хочет есть — кусок не лезет в рот.
Слушает, как шепчется рябина,
Как щегол за окнами поет.

Он поет о той стране далекой,
Где едва заметен сквозь пургу
Бугорок могилы одинокой
В белом кристаллическом снегу.

Там в ответ не шепчется береза,
Корневищем вправленная в лед.
Там над нею в обруче мороза
Месяц окровавленный плывет.

1952

ПРОЩАНИЕ С ДРУЗЬЯМИ

В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений,
Давным-давно рассыпались вы в прах,
Как ветки облетевшие сирени.

Вы в той стране, где нет готовых форм,
Где всё разъято, смешано, разбито,
Где вместо неба — лишь могильный холм
И неподвижна лунная орбита.

Там на ином, невнятном языке
Поет синклит беззвучных насекомых,
Там с маленьким фонариком в руке
Жук-человек приветствует знакомых.

Спокойно ль вам, товарищи мои?
Легко ли вам? И всё ли вы забыли?
Теперь вам братья — корни, муравьи,
Травинки, вздохи, столбики из пыли.

Теперь вам сестры — цветики гвоздик,
Соски́ сирени, щепочки, цыплята...
И уж не в силах вспомнить ваш язык
Там наверху оставленного брата.

Ему еще не место в тех краях,
Где вы исчезли, легкие, как тени,
В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений.

1952

СОН

Жилец земли, пятидесяти лет,
Подобно всем счастливый и несчастный,
Однажды я покинул этот свет
И очутился в местности безгласной.
Там человек едва существовал
Последними остатками привы́чек,
Но ничего уж больше не желал
И не носил ни прозвищ он, ни кличек.
Участник удивительной игры,
Не вглядываясь в скученные лица,

Я там ложился в дымные костры
И поднимался, чтобы вновь ложиться.
Я уплывал, я странствовал вдали,
Безвольный, равнодушный, молчаливый,
И тонкий свет исчезнувшей земли
Отталкивал рукой неторопливой.
Какой-то отголосок бытия
Еще имел я для существованья,
Но уж стремилась вся душа моя
Стать не душой, но частью мирозданья.
Там по пространству двигались ко мне
Сплетения каких-то матерьялов,
Мосты в необозримой вышине
Висели над ущельями провалов.
Я хорошо запомнил внешний вид
Всех этих тел, плывущих из пространства:
Сплетенье ферм и выпуклости плит
И дикость первобытного убранства.
Там тонкостей не видно и следа,
Искусство форм там явно не в почете,
И не заметно тягостей труда,
Хотя весь мир в движенье и работе.
И в поведенье тамошних властей
Не видел я малейшего насилья,
И сам, лишенный воли и страстей,
Всё то, что нужно, делал без усилья.
Мне не было причины не хотеть,
Как не было желания стремиться,
И был готов я странствовать и впредь,
Коль то могло на что-то пригодиться.
Со мной бродил какой-то мальчуган,
Болтал со мной о массе пустяковин.
И даже он, похожий на туман,
Был больше материален, чем духовен.
Мы с мальчиком на озеро пошли,
Он удочку куда-то вниз закинул
И нечто, долетевшее с земли,
Не торопясь, рукою отодвинул.

1953

ВЕСНА В МИСХОРЕ

1. ИУДИНО ДЕРЕВО

Когда, страдая от простуды,
Ай-Петри высится в снегу,
Кривое деревце Иуды
Цветет на южном берегу.
Весна блуждает где-то рядом,
А из долин уже глядят
Цветы, напитанные ядом
Коварства, горя и утрат.

2. ПТИЧЬИ ПЕСНИ

Пусть в зеленую книгу природы
Не запишутся песни синиц, —
Величайшие наши рапсоды
Происходят из общества птиц.
Пусть не слушает их современник,
Путешествуя в этом краю, —
Им не нужно ни славы, ни денег
За бессмертную песню свою.

3. УЧАН-СУ

Внимая собственному вою,
С недосягаемых высот
Висит над самой головою
Громада падающих вод.
И веет влажная прохлада
Вокруг нее, и каждый куст,
Обрызган пылью водопада,
Смеется тысячами уст.

4. У МОРЯ

Посмотри, как весною в Мисхоре,
Где серебряный пенится вал,
Непрерывно работает море,
Разрушая окраины скал.
Час настанет, и в сердце поэта,
Разрушая последние сны,
Вместо жизни останется эта
Роковая работа волны.

1953

ПОРТРЕТ

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?

Ее глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач.

Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.

Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.

1953

* * *

Я воспитан природой суровой,
Мне довольно заметить у ног
Одуванчика шарик пуховый,
Подорожника твердый клинок.

Чем обычней простое растенье,
Тем живее волнует меня
Первых листьев его появленье
На рассвете весеннего дня.

В государстве ромашек, у края,
Где ручей, задыхаясь, поет,
Пролежал бы всю ночь до утра я,
Запрокинув лицо в небосвод.

Жизнь потоком светящейся пыли
Всё текла бы, текла сквозь листы,
И туманные звезды светили,
Заливая лучами кусты.

И, внимая весеннему шуму
Посреди очарованных трав,
Всё лежал бы и думал я думу
Беспредельных полей и дубрав.

1953

ПОЭТ

Черен бор за этим старым домом,
Перед домом — поле да овсы.
В нежном небе серебристым комом
Облако невиданной красы.
По бокам туманно-лиловато,
Посредине грозно и светло, —
Медленно плывущее куда-то
Раненого лебедя крыло.
А внизу на стареньком балконе —
Юноша с седою головой,

Как портрет в старинном медальоне
Из цветов ромашки полевой.
Щурит он глаза свои косые,
Подмосковным солнышком согрет, —
Выкованный грозами России
Собеседник сердца и поэт.
А леса, как ночь, стоят за домом,
А овсы, как бешеные, прут...
То, что было раньше незнакомым,
Близким сердцу делается тут.

1953

ДОЖДЬ

В тумане облачных развалин
Встречая утренний рассвет,
Он был почти нематериален
И в формы жизни не одет.

Зародыш, выкормленный тучей,
Он волновался, он кипел,
И вдруг, веселый и могучий,
Ударил в струны и запел.

И засияла вся дубрава
Молниеносным блеском слез,
И листья каждого сустава
Зашевелились у берез.

Натянут тысячами нитей
Меж хмурым небом и землей,
Ворвался он в поток событий,
Повиснув книзу головой.

Он падал издали, с наклоном
В седые скопища дубрав,
И вся земля могучим лоном
Его пила, затрепетав.

1953

НОЧНОЕ ГУЛЯНЬЕ

Расступились на площади зданья,
Листья клена целуют звезду.
Нынче ночью — большое гулянье,
И веселье, и праздник в саду.

Но когда пиротехник из рощи
Бросит в небо серебряный свет,
Фантастическим выстрелам ночи
Не вполне доверяйся, поэт.

Улетит и погаснет ракета,
Потускнеют огней вороха...
Вечно светит лишь сердце поэта
В целомудренной бездне стиха.

1953

НЕУДАЧНИК

По дороге, пустынной обочиной,
Где лежат золотые пески,
Что ты бродишь такой озабоченный,
Умирая весь день от тоски?

Вон и старость, как ведьма глазастая,
Притаилась за ветхой ветлой.
Целый день по кустарникам шастая,
Наблюдает она за тобой.

Ты бы вспомнил, как в ночи походные
Жизнь твоя, загораясь в борьбе,
Руки девичьи, крылья холодные,
Положила на плечи тебе.

Милый взор, истомленно-внимательный,
Залил светом всю душу твою,
Но подумал ты трезво и тщательно
И вернулся в свою колею.

Крепко помнил ты старое правило —
Осторожно по жизни идти.

Осторожная мудрость направила
Жизнь твою по глухому пути.

Пролетела она в одиночестве
Где-то здесь, на задворках села,
Не спросила об имени-отчестве,
В золотые дворцы не ввела.

Поистратил ты разум недюжинный
Для каких-то бессмысленных дел.
Образ той, что сияла жемчужиной,
Потускнел, побледнел, отлетел.

Вот теперь и ходи и рассчитывай,
Сумасшедшие мысли тая,
Да смотри, как под тенью ракитовой
Усмехается старость твоя.

Не дорогой ты шел, а обочиной,
Не нашел ты пути своего,
Осторожный, всю жизнь озабоченный,
Неизвестно, во имя чего!

1953

ХОДОКИ

В зипунах домашнего покроя,
Из далеких сел, из-за Оки,
Шли они, неведомые, трое —
По мирскому делу ходоки.

Русь металась в голоде и буре,
Всё смешалось, сдвинутое враз.
Гул вокзалов, крик в комендатуре,
Человечье горе без прикрас.

Только эти трое почему-то
Выделялись в скопище людей,
Не кричали бешено и люто,
Не ломали строй очередей.

Всматриваясь старыми глазами
В то, что здесь наделала нужда,
Горевали путники, а сами
Говорили мало, как всегда.

Есть черта, присущая народу:
Мыслит он не разумом одним, —
Всю свою душевную природу
Наши люди связывают с ним.

Оттого прекрасны наши сказки,
Наши песни, сложенные в лад.
В них и ум и сердце без опаски
На одном наречье говорят.

Эти трое мало говорили.
Что слова! Была не в этом суть.
Но зато в душе они скопили
Многое за долгий этот путь.

Потому, быть может, и таились
В их глазах тревожные огни
В поздний час, когда остановились
У порога Смольного они.

Но когда радушный их хозяин,
Человек в потертом пиджаке,
Сам работой до смерти измаян,
С ними говорил накоротке,

Говорил о скудном их районе,
Говорил о той поре, когда
Выйдут электрические кони
На поля народного труда,

Говорил, как жизнь расправит крылья,
Как, воспрянув духом, весь народ
Золотые хлебы изобилья
По стране, ликуя, понесет, —

Лишь тогда тяжелая тревога
В трех сердцах растаяла, как сон,

И внезапно видно стало много
Из того, что видел только он.

И котомки сами развязались,
Серой пылью в комнате пыля,
И в руках стыдливо показались
Черствые ржаные кренделя.

С этим угощеньем безыскусным
К Ленину крестьяне подошли.
Ели все. И горьким был и вкусным
Скудный дар истерзанной земли.

1954

ВОЗВРАЩЕНИЕ С РАБОТЫ

Вокруг села бродили грозы,
И часто, полные тоски,
Удары молнии сквозь слезы
Ломали небо на куски.

Хлестало, словно из баклаги,
И над собранием берез
Пир электричества и влаги
Сливался в яростный хаос.

А мы шагали по дороге
Среди кустарников и трав,
Как древнегреческие боги,
Трезубцы в облако подняв.

1954

ШАКАЛЫ

Среди черноморских предгорий,
На первой холмистой гряде,
Высокий стоит санаторий,
Купая ступени в воде.

Давно уже черным сапфиром
Склонился над ним небосклон,

Давно уж над дремлющим миром
Молчит ожерелье колонн.

Давно, утомившись от зноя,
Умолкли концерты цикад,
И люди в тиши и покое
Давно в санатории спят.

Лишь там, наверху, по оврагам,
Средь зарослей горной реки,
Полночным окутаны мраком,
Не гаснут всю ночь огоньки.

На всем полукружье залива,
То там появляясь, то тут,
И хищно они и трусливо
Мерцают, мигают, снуют.

Сперва боязливо и тонко,
Потом всё слышней и слышней
С холмов верещанье ребенка
Доносится к миру людей.

И вот уже плачем и визгом
Наполнен небесный зенит.
Луна перламутровым диском
Испуганно в чащу глядит.

И видит: теснясь друг за другом
И мордочки к небу задрав,
Шакалы сидят полукругом
За темными листьями трав.

О чем они воют и плачут?
Кого проклиная, вопят?
Под ними у моря маячит
Колонн ослепительный ряд.

Там мир золотого сиянья,
Там жизнь, непонятная им...
Не эти ли светлые зданья
Клянут они воплем своим?

Но меркнет луна Черноморья,
И солнце встает в синеву,
И враз умолкают предгорья,
Туманом укутав траву.

И звери по краю потока
Трусливо бегут в тростники,
Где в каменных норах глубоко
Беснуются их двойники.

1954

В КИНО

Утомленная после работы,
Лишь за окнами стало темно,
С выраженьем тяжелой заботы
Ты пришла почему-то в кино.

Ражий малый в коричневом фраке,
Как всегда, выбиваясь из сил,
Плел с эстрады какие-то враки
И бездарно и нудно острил.

И смотрела когда на него ты
И вникала в остроты его,
Выраженье тяжелой заботы
Не сходило с лица твоего.

В низком зале, наполненном густо,
Ты смотрела, как все, на экран,
Где напрасно пыталось искусство
К правде жизни припутать обман.

Озабоченных черт не меняли
Судьбы призрачных, плоских людей,
И тебе удавалось едва ли
Сопоставить их с жизнью своей.

Одинока, слегка седовата,
Но еще моложава на вид,
Кто же ты? И какая утрата
До сих пор твое сердце томит?

Где твой друг, твой единственно милый,
Соучастник далекой весны,
Кто наполнил живительной силой
Бесприютное сердце жены?

Почему его нету с тобою?
Неужели погиб он в бою
Иль, оторван от дома судьбою,
Пропадает в далеком краю?

Где б он ни был, но в это мгновенье
Здесь, в кино, я уверился вновь:
Бесконечно людское терпенье,
Если в сердце не гаснет любовь.

1954

БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

Ангел, дней моих хранитель,
С лампой в комнате сидел.
Он хранил мою обитель,
Где лежал я и болел.

Обессиленный недугом,
От товарищей вдали,
Я дремал. И друг за другом
Предо мной виденья шли.

Снилось мне, что я младенцем,
В тонкой капсуле пелен,
Иудейским поселенцем
В край далекий привезен.

Перед Иродовой бандой
Трепетали мы. Но тут
В белом домике с верандой
Обрели себе приют.

Ослик пасся близ оливы,
Я резвился на песке.
Мать с Иосифом, счастливы,
Хлопотали вдалеке.

Часто я в тени у сфинкса
Отдыхал, и светлый Нил,
Словно выпуклая линза,
Отражал лучи светил.

И в неясном этом свете,
В этом радужном огне
Духи, ангелы и дети
На свирелях пели мне.

Но когда пришла идея
Возвратиться нам домой
И простерла Иудея
Перед нами образ свой —

Нищету свою и злобу,
Нетерпимость, рабский страх,
Где ложилась на трущобу
Тень распятого в горах, —

Вскрикнул я и пробудился...
И у лампы близ огня
Взор твой ангельский светился,
Устремленный на меня.

1955

ОСЕННИЕ ПЕЙЗАЖИ

1. ПОД ДОЖДЕМ

Мой зонтик рвется, точно птица,
И вырывается, треща.
Шумит над миром и дымится
Сырая хижина дождя.
И я стою в переплетенье
Прохладных вытянутых тел,
Как будто дождик на мгновенье
Со мною слиться захотел.

2. ОСЕННЕЕ УТРО

Обрываются речи влюбленных,
Улетает последний скворец.
Целый день осыпаются с кленов
Силуэты багровых сердец.
Что ты, осень, наделала с нами!
В красном золоте стынет земля.
Пламя скорби свистит под ногами,
Ворохами листвы шевеля.

3. ПОСЛЕДНИЕ КАННЫ

Всё то, что сияло и пело,
В осенние скрылось леса,
И медленно дышат на тело
Последним теплом небеса.
Ползут по деревьям туманы,
Фонтаны умолкли в саду.
Одни неподвижные канны
Пылают у всех на виду.
Так, вытянув крылья, орлица
Стоит на уступе скалы,
И в клюве ее шевелится
Огонь, выступая из мглы.

1955

НЕКРАСИВАЯ ДЕВОЧКА

Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в трусы худая рубашонка,
Колечки рыжеватые кудрей
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.
Двум мальчуганам, сверстникам ее,
Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчики, не торопясь к обеду,
Гоняют по двору, забывши про нее,
Она ж за ними бегает по следу.

Чужая радость так же, как своя,
Томит ее и вон из сердца рвется,
И девочка ликует и смеется,
Охваченная счастьем бытия.

Ни тени зависти, ни умысла худого
Еще не знает это существо.
Ей всё на свете так безмерно ново,
Так живо всё, что для иных мертво!
И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!
Мне верить хочется, что сердце не игрушка,
Сломать его едва ли можно вдруг!
Мне верить хочется, что чистый этот пламень,
Который в глубине ее горит,
Всю боль свою один переболит
И перетопит самый тяжкий камень!
И пусть черты ее нехороши
И нечем ей прельстить воображенье, —
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом ее движенье.
А если это так, то что́ есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

1955

* * *

При первом наступлении зимы,
Блуждая над просторною Невою,
Сиянье лета сравниваем мы
С разбросанной по берегу листвою.

Но я любитель старых тополей,
Которые до первой зимней вьюги
Пытаются не сбрасывать с ветвей
Своей сухой заржавленной кольчуги.

Как между нами сходство описать?
И я, подобно тополю, немолод,
И мне бы нужно в панцире встречать
Приход зимы, ее смертельный холод.

1955

ОСЕННИЙ КЛЕН

(Из С. Галкина)

Осенний мир осмысленно устроен
И населен.
Войди в него и будь душой спокоен,
Как этот клен.

И если пыль на миг тебя покроет,
Не помертвей.
Пусть на заре листы твои умоет
Роса полей.

Когда ж гроза над миром разразится
И ураган,
Они заставят до земли склониться
Твой тонкий стан.

Но даже впав в смертельную истому
От этих мук,
Подобно древу осени простому,
Смолчи, мой друг.

Не забывай, что выпрямится снова,
Не искривлен,
Но умудрен от разума земного
Осенний клен.

1955

СТАРАЯ АКТРИСА

В позолоченной комнате стиля ампир,
Где шнурками затянуты кресла,
Театральной Москвы позабытый кумир
И владычица наша воскресла.

В затрапезе похожа она на щегла,
В три погибели скорчилось тело.
А ведь, боже, какая актриса была
И какими умами владела!

Что-то было нездешнее в каждой черте
Этой женщины, юной и стройной,
И лежал на тревожной ее красоте
Отпечаток Италии знойной.

Ныне домик ее превратился в музей,
Где жива ее прежняя слава,
Где старуха подчас удивляет друзей
Своевольем капризного нрава.

Орденов ей и званий немало дано,
И она пребывает в надежде,
Что красе ее вечно сиять суждено
В этом доме, как некогда прежде.

Здесь картины, портреты, альбомы, венки,
Здесь дыхание южных растений,
И они ее образ годам вопреки
Сохранят для иных поколений.

И не важно, не важно, что в дальнем углу,
В полутемном и низком подвале,
Бесприютная девочка спит на полу,
На тряпичном своем одеяле!

Здесь у тетки-актрисы из милости ей
Предоставлена нынче квартира.
Здесь она выбивает ковры у дверей,
Пыль и плесень стирает с ампира.

И когда ее старая тетка бранит,
И считает и прячет монеты, —
О, с каким удивленьем ребенок глядит
На прекрасные эти портреты!

Разве девочка может понять до конца,
Почему, поражая нам чувства,
Поднимает над миром такие сердца
Неразумная сила искусства!

1956

О КРАСОТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЛИЦ

Есть лица, подобные пышным порталам,
Где всюду великое чудится в малом.
Есть лица — подобия жалких лачуг,
Где варится печень и мокнет сычуг.
Иные холодные, мертвые лица
Закрыты решетками, словно темница.
Другие — как башни, в которых давно
Никто не живет и не смотрит в окно.
Но малую хижинку знал я когда-то,
Была неказиста она, небогата,
Зато из окошка ее на меня
Струилось дыханье весеннего дня.
Поистине мир и велик и чудесен!
Есть лица — подобья ликующих песен.
Из этих как солнце сияющих нот
Составлена песня небесных высот.

1955

ГДЕ-ТО В ПОЛЕ ВОЗЛЕ МАГАДАНА

Где-то в поле возле Магадана,
Посреди опасностей и бед,
В испареньях мерзлого тумана
Шли они за розвальнями вслед.
От солдат, от их луженых глоток,
От бандитов шайки воровской
Здесь спасали только околодок
Да наряды в город за мукой.
Вот они и шли в своих бушлатах
Два несчастных русских старика,
Вспоминая о родимых хатах
И томясь о них издалека.

Вся душа у них перегорела
Вдалеке от близких и родных,
И усталость, сгорбившая тело,
В эту ночь снедала души их
Жизнь над ними в образах природы
Чередою двигалась своей.
Только звезды, символы свободы,
Не смотрели больше на людей.
Дивная мистерия вселенной
Шла в театре северных светил,
Но огонь ее проникновенный
До людей уже не доходил.
Вкруг людей посвистывала вьюга,
Заметая мерзлые пеньки.
И на них, не глядя друг на друга,
Замерзая, сели старики.
Стали кони, кончилась работа,
Смертные доделались дела...
Обняла их сладкая дремота,
В дальний край, рыдая, повела.
Не нагонит больше их охрана,
Не настигнет лагерный конвой,
Лишь одни созвездья Магадана
Засверкают, став над головой.

1956

ПОЭМА ВЕСНЫ

Ты и скрипку с собой принесла,
И заставила петь на свирели,
И, схватив за плечо, повела
Сквозь поля, голубые в апреле.
Пессимисту дала ты шлепка,
Настежь окна в домах растворила,
Подхватила в сенях старика
И плясать по дороге пустила.
Ошалев от твоей красоты,
Скряга вытащил пук ассигнаций,
И они превратились в листы
Засиявших на солнце акаций.
Бюрократы, чинуши, попы,

Столяры, маляры, стеклодувы,
Как птенцы из своей скорлупы,
Отворили на радостях клювы.
Даже те, кто по креслам сидят,
Погрузившись в чины и медали,
Улыбнулись и, как говорят,
На мгновенье счастливыми стали.
Это ты, сумасбродка весна!
Узнаю твои козни, плутовка!
Уж давно мне из окон видна
И улыбка твоя, и сноровка.
Скачет по полю жук-менестрель,
Реет бабочка, став на пуанты.
Развалившись по книгам, апрель
Нацепил васильков аксельбанты.
Он-то знает, что поле да лес —
Для меня ежедневная тема,
А весна, сумасбродка небес, —
И подружка моя, и поэма.

1956

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

1. ЧЕРТОПОЛОХ

Принесли букет чертополоха
И на стол поставили, и вот
Предо мной пожар и суматоха
И огней багровых хоровод.
Эти звезды с острыми концами,
Эти брызги северной зари
И гремят и стонут бубенцами,
Фонарями вспыхнув изнутри.
Это тоже образ мирозданья,
Организм, сплетенный из лучей,
Битвы неоконченной пыланье,
Полыханье поднятых мечей.
Это башня ярости и славы,
Где к копью приставлено копье,
Где пучки цветов, кровавоглавы,
Прямо в сердце врезаны мое.

Снилась мне высокая темница
И решетка, черная, как ночь,
За решеткой — сказочная птица,
Та, которой некому помочь.
Но и я живу, как видно, плохо,
Ибо я помочь не в силах ей.
И встает стена чертополоха
Между мной и радостью моей.
И простерся шип клинообразный
В грудь мою, и уж в последний раз
Светит мне печальный и прекрасный
Взор ее неугасимых глаз.

1956

2. МОРСКАЯ ПРОГУЛКА

На сверкающем глиссере белом
Мы заехали в каменный грот,
И скала опрокинутым телом
Заслонила от нас небосвод.
Здесь, в подземном мерцающем зале,
Над лагуной прозрачной воды,
Мы и сами прозрачными стали,
Как фигурки из тонкой слюды.
И в большой кристаллической чаше,
С удивлением глядя на нас,
Отраженья неясные наши
Засияли мильонами глаз.
Словно вырвавшись вдруг из пучины,
Стаи девушек с рыбьим хвостом
И подобные крабам мужчины
Оцепили наш глиссер кругом.
Под великой одеждою моря,
Подражая движеньям людей,
Целый мир ликованья и горя
Жил диковинной жизнью своей.
Что-то там и рвалось, и кипело,
И сплеталось, и снова рвалось,
И скалы опрокинутой тело
Пробивало над нами насквозь.
Но водитель нажал на педали,
И опять мы, как будто во сне,

Полетели из мира печали
На высокой и легкой волне.
Солнце в самом зените пылало,
Пена скал заливала корму,
И Таврида из моря вставала,
Приближаясь к лицу твоему.

1956

3. ПРИЗНАНИЕ

Зацелована, околдована,
С ветром в поле когда-то обвенчана,
Вся ты словно в оковы закована,
Драгоценная моя женщина!

Не веселая, не печальная,
Словно с темного неба сошедшая,
Ты и песнь моя обручальная,
И звезда моя сумасшедшая.

Я склонюсь над твоими коленями,
Обниму их с неистовой силою,
И слезами и стихотвореньями
Обожгу тебя, горькую, милую.

Отвори мне лицо полуночное,
Дай войти в эти очи тяжелые,
В эти черные брови восточные,
В эти руки твои полуголые.

Что прибавится — не убавится,
Что не сбудется — позабудется...
Отчего же ты плачешь, красавица?
Или это мне только чудится?

1957

4. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Задрожала машина и стала,
Двое вышли в вечерний простор,
И на руль опустился устало
Истомленный работой шофер.

Вдалеке через стекла кабины
Трепетали созвездья огней.
Пожилой пассажир у куртины
Задержался с подругой своей.
И водитель сквозь сонные веки
Вдруг заметил два странных лица,
Обращенных друг к другу навеки
И забывших себя до конца.
Два туманные легкие света
Исходили из них, и вокруг
Красота уходящего лета
Обнимала их сотнями рук.
Были тут огнеликие канны,
Как стаканы с кровавым вином,
И седых аквилегий султаны,
И ромашки в венце золотом.
В неизбежном предчувствии горя,
В ожиданье осенних минут,
Кратковременной радости море
Окружало любовников тут.
И они, наклоняясь друг к другу,
Бесприютные дети ночей,
Молча шли по цветочному кругу
В электрическом блеске лучей.
А машина во мраке стояла,
И мотор трепетал тяжело,
И шофер улыбался устало,
Опуская в кабине стекло.
Он-то знал, что кончается лето,
Что подходят ненастные дни,
Что давно уж их песенка спета, —
То, что, к счастью, не знали они.

1957

5. ГОЛОС В ТЕЛЕФОНЕ

Раньше был он звонкий, точно птица,
Как родник, струился и звенел,
Точно весь в сиянии излиться
По стальному проводу хотел.

А потом, как дальнее рыданье,
Как прощанье с радостью души,
Стал звучать он, полный покаянья,
И пропал в неведомой глуши.

Сгинул он в каком-то диком поле,
Беспощадной вьюгой занесен...
И кричит душа моя от боли,
И молчит мой черный телефон.

1957

6

Клялась ты — до гроба
Быть милой моей.
Опомнившись, оба
Мы стали умней.

Опомнившись, оба
Мы поняли вдруг,
Что счастья до гроба
Не будет, мой друг.

Колеблется лебедь
На пламени вод.
Однако к земле ведь
И он уплывет.

И вновь одиноко
Заблещет вода,
И глянет ей в око
Ночная звезда.

1957

7

Посредине панели
Я заметил у ног
В лепестках акварели
Полумертвый цветок.

Он лежал без движенья
В белом сумраке дня,
Как твое отраженье
На душе у меня.

1957

8. МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ КУСТ

Я увидел во сне можжевеловый куст,
Я услышал вдали металлический хруст,
Аметистовых ягод услышал я звон,
И во сне, в тишине, мне понравился он.

Я почуял сквозь сон легкий запах смолы.
Отогнув невысокие эти стволы,
Я заметил во мраке древесных ветвей
Чуть живое подобье улыбки твоей.

Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст,
Легкий лепет, едва отдающий смолой,
Проколовший меня смертоносной иглой!

В золотых небесах за окошком моим
Облака проплывают одно за другим,
Облетевший мой садик безжизнен и пуст...
Да простит тебя бог, можжевеловый куст!

1957

9. ВСТРЕЧА

И лицо с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как открывается заржавевшая дверь, — улыбнулось...

Л. Толстой. «Война и мир»

Как открывается заржавевшая дверь,
С трудом, с усилием, — забыв о том, что было,
Она, моя нежданная, теперь
Свое лицо навстречу мне открыла.

И хлынул свет — не свет, но целый сноп
Живых лучей, — не сноп, но целый ворох
Весны и радости, и, вечный мизантроп,
Смешался я... И в наших разговорах,
В улыбках, в восклицаньях, — впрочем, нет,
Не в них совсем, но где-то там, за ними,
Теперь горел неугасимый свет,
Овладевая мыслями моими.
Открыв окно, мы посмотрели в сад,
И мотыльки бесчисленные сдуру,
Как многоцветный легкий водопад,
К блестящему помчались абажуру.
Один из них уселся на плечо,
Он был прозрачен, трепетен и розов.
Моих вопросов не было еще,
Да и не нужно было их — вопросов.

1957

10. СТАРОСТЬ

Простые, тихие, седые,
Он с палкой, с зонтиком она, —
Они на листья золотые
Глядят, гуляя дотемна.

Их речь уже немногословна,
Без слов понятен каждый взгляд,
Но души их светло и ровно
Об очень многом говорят.

В неясной мгле существованья
Был неприметен их удел,
И животворный свет страданья
Над ними медленно горел.

Изнемогая, как калеки,
Под гнетом слабостей своих,
В одно единое навеки
Слились живые души их.

И знанья малая частица
Открылась им на склоне лет,
Что счастье наше — лишь зарница,
Лишь отдаленный слабый свет.

Оно так редко нам мелькает,
Такого требует труда!
Оно так быстро потухает
И исчезает навсегда!

Как ни лелей его в ладонях
И как к груди ни прижимай, —
Дитя зари, на светлых конях
Оно умчится в дальний край!

Простые, тихие, седые,
Он с палкой, с зонтиком она, —
Они на листья золотые
Глядят, гуляя дотемна.

Теперь уж им, наверно, легче,
Теперь всё страшное ушло,
И только души их, как свечи,
Струят последнее тепло.

1956

ПРОТИВОСТОЯНИЕ МАРСА

Подобный огненному зверю,
Глядишь на землю ты мою,
Но я ни в чем тебе не верю
И славословий не пою.
Звезда зловещая! Во мраке
Печальных лет моей страны
Ты в небесах чертила знаки
Страданья, крови и войны.
Когда над крышами селений
Ты открывала сонный глаз,

Какая боль предположений
Всегда охватывала нас!
И был он в руку — сон зловещий:
Война с ружьем наперевес
В селеньях жгла дома и вещи
И угоняла семьи в лес.
Был бой и гром, и дождь и слякоть,
Печаль скитаний и разлук,
И уставало сердце плакать
От нестерпимых этих мук.
И над безжизненной пустыней
Подняв ресницы в поздний час,
Кровавый Марс из бездны синей
Смотрел внимательно на нас.
И тень сознательности злобной
Кривила смутные черты,
Как будто дух звероподобный
Смотрел на землю с высоты.
Тот дух, что выстроил каналы
Для неизвестных нам судов
И стекловидные вокзалы
Средь марсианских городов.
Дух, полный разума и воли,
Лишенный сердца и души,
Кто о чужой не страждет боли,
Кому все средства хороши.
Но знаю я, что есть на свете
Планета малая одна,
Где из столетия в столетье
Живут иные племена.
И там есть муки и печали,
И там есть пища для страстей,
Но люди там не утеряли
Души естественной своей.
Там золотые волны света
Плывут сквозь сумрак бытия,
И эта малая планета —
Земля злосчастная моя.

1956

ГУРЗУФ НОЧЬЮ

Для северных песен ненадобен юг:
Родились они средь туманов и вьюг,
Качанию лиственниц вторя.
Они — чужестранцы на этой земле,
На этой покрытой цветами скале,
В сиянии южного моря.

В Гурзуфе всю ночь голосят петухи.
Здесь улица — род коридора.
Здесь спит парикмахер, любитель ухи,
Который стрижет Черномора.
Царапая кузов о камни крыльца,
Здесь утром автобус гудит без конца,
Таща ротозеев из Ялты.
Здесь толпы лихих санаторных гуляк
Несут за собой аромат кулебяк,
Как будто в харчевню попал ты.

Наплававшись пó морю, стая парней
Здесь бродит с заезжей сиреной.
Питомцы Нептуна блаженствуют с ней,
Гитарой бренча несравненной.
Здесь две затонувшие в море скалы,
К которым стремился и Плиний,
Вздымают из влаги тупые углы
Своих переломанных линий.

А ночь, как царица на троне из туч,
Колеблет прожектора медленный луч,
И море шумит до рассвета,
И, слушая, как голосят петухи,
Внизу у калитки толпятся стихи —
Свидетели южного лета.
Толпятся без страха и тычут свой нос
В кувшинчики еле открывшихся роз,
И пьют их дыханье, и странно,
Что, спавшие где-то на севере, вдруг
Они залетели на пламенный юг, —
Холодные дети тумана.

1956

НАД МОРЕМ

Лишь запах чебреца, сухой и горьковатый,
Повеял на меня — и этот сонный Крым,
И этот кипарис, и этот дом, прижатый
К поверхности горы, слились навеки с ним.

Здесь море — дирижер, а резонатор — дали,
Концерт высоких волн здесь ясен наперед.
Здесь звук, задев скалу, скользит по вертикали,
И эхо средь камней танцует и поет.

Акустика вверху настроила ловушек,
Приблизила к ушам далекий ропот струй.
И стал здесь грохот бурь подобен грому пушек,
И, как цветок, расцвел девичий поцелуй.

Скопление синиц здесь свищет на рассвете,
Тяжелый виноград прозрачен здесь и ал.
Здесь время не спешит, здесь собирают дети
Чебрец, траву степей, у неподвижных скал.

1956

СМЕРТЬ ВРАЧА

В захолустном районе,
Где кончается мир,
На степном перегоне
Умирал бригадир.
То ли сердце устало,
То ли солнцем нажгло,
Только силы не стало
Возвратиться в село.
И смутились крестьяне:
Каждый подлинно знал,
Что и врач без сознанья
В это время лежал.
Надо ж было случиться,
Что на горе-беду
Он, забыв про больницу,
Сам томился в бреду.

И, однако ж, в селенье
Полетел верховой.
И ресницы в томленье
Поднял доктор больной.
И под каплями пота,
Через сумрак и бред,
В нем разумное что-то
Задрожало в ответ.
И к машине несмело
Он пошел, темнолиц,
И в безгласное тело
Ввел спасительный шприц.
И в степи, на закате,
Окруженный толпой,
Рухнул в белом халате
Этот старый герой.
Человеческой силе
Не положен предел:
Он, и стоя в могиле,
Сделал то, что хотел.

1957

ДЕТСТВО

Огромные глаза, как у нарядной куклы,
Раскрыты широко. Под стрелами ресниц,
Доверчиво-ясны и правильно округлы,
Мерцают ободки младенческих зениц.
На что она глядит? И чем необычаен
И сельский этот дом, и сад, и огород,
Где, наклонясь к кустам, хлопочет их хозяин,
И что-то вяжет там, и режет, и поет?
Два тощих петуха дерутся на заборе,
Шершавый хмель ползет по столбику крыльца.
А девочка глядит. И в этом чистом взоре
Отображен весь мир до самого конца.
Он, этот дивный мир, поистине впервые
Очаровал ее, как чудо из чудес,
И в глубь души ее, как спутники живые,
Вошли и этот дом, и этот сад, и лес.

И много минет дней. И боль сердечной смуты,
И счастье к ней придет. Но и жена, и мать,
Она блаженный смысл короткой той минуты
Вплоть до седых волос всё будет вспоминать.

1957

ЛЕСНАЯ СТОРОЖКА

Скрипело, свистало и выло в лесу,
И гром ударял в отдаленье, как молот,
И тучи рвались в небесах, но внизу
Царили затишье и сумрак и холод.
В гигантском колодце сосновых стволов,
В своей одинокой убогой сторожке
Лесник пообедал и хлебные крошки
Смахнул на ладонь, молчалив и суров.
Над миром великая буря ходила,
Но здесь, в тишине, у древесных корней,
Старик, отдыхая, не думал о ней,
И только собака ворчала уныло
На каждую вспышку далеких зарниц,
И в гнездах смолкало селение птиц.

Однажды в грозу, навалившись на двери,
Тут зверь появился, высок и космат,
И так же, как многие прочие звери,
Узнав человека, отпрянул назад
И сторож берданку схватил, и с окошка
Пружиной метнулась под лестницу кошка,
И разом короткий ружейный удар
Потряс основанье соснового бора.

Вернувшись, лесник успокоился скоро:
Он, видимо, был уж достаточно стар,
Он знал, что покой — только призрак покоя,
Он знал, что, когда полыхает гроза,
Всё тяжко-животное, злобно-живое
Встает и глядит человеку в глаза.

1957

БОЛЕРО

Итак, Равель, танцуем болеро!
Для тех, кто музыку не сменит на перо,
Есть в этом мире праздник изначальный —
Напев волынки скудный и печальный
И эта пляска медленных крестьян...
Испания! Я вновь тобою пьян!
Цветок мечты возвышенной взлелеяв,
Опять твой образ предо мной горит
За отдаленной гранью Пиренеев!
Увы, замолк истерзанный Мадрид,
Весь в отголосках пролетевшей бури,
И нету с ним Долорес Ибаррури!
Но жив народ и песнь его жива.
Танцуй, Равель, свой исполинский танец,
Танцуй, Равель! Не унывай, испанец!
Вращай, История, литые жернова,
Будь мельничихой в грозный час прибоя!
О, болеро, священный танец боя!

1957

ПТИЧИЙ ДВОР

Скачет, свищет и бормочет
Многоликий птичий двор.
То могучий грянет кочет,
То индеек взвизгнет хор.

В бесшабашном этом гаме,
В писке маленьких цыплят
Гуси толстыми ногами
Землю важно шевелят.

И, шатаясь с боку на бок,
Через двор наискосок,
Перепонки красных лапок
Ставят утки на песок

Будь бы я такая птица, —
Весь пылая, весь дрожа,

Поспешил бы в небо взвиться,
Ускользнув из-под ножа!

А они, не веря в чудо,
Вечной заняты едой,
Ждут, безумные, покуда
Распростятся с головой.

Вечный гам и вечный топот,
Вечно глупый, важный вид.
Им, как видно, жизни опыт
Ни о чем не говорит.

Их сердца послушно бьются
По желанию людей,
И в душе не отдаются
Крики вольных лебедей.

1957

ОДИССЕЙ И СИРЕНЫ

Однажды аттическим утром
С отважной дружиною всей
Спешил на кораблике утлом
В отчизну свою Одиссей.
Шумело Эгейское море,
Коварный туманился вал.
Скиталец в пернатом уборе
Лежал на корме и дремал.
И вдруг через дымку мечтанья
Возник перед ним островок,
Где три шаловливых созданья
Плескались и пели у ног.
Среди гармоничного гула
Они отражались в воде.
И тень вожделенья мелькнула
У грека, в его бороде.
Ведь слабость сродни человеку,
Любовь — вековечный недуг,
А этому древнему греку
Всё было к жене недосуг.

И первая пела сирена:
«Ко мне, господин Одиссей!
Я вас исцелю несомненно
Усердной любовью моей!»
Вторая богатство сулила:
«Ко мне, корабельщик, ко мне!
В подводных дворцах из берилла
Мы счастливы будем вполне!»
А третья сулила забвенье
И кубок вздымала вина:
«Испей — и найдешь исцеленье
В объятьях волшебного сна!»
Но хмурится житель Итаки,
Красоток не слушает он,
Не верит он в сладкие враки,
В мечтанья свои погружен.
И смотрит он нá берег в оба,
Где в нише из каменных плит
Супруга его Пенелопа,
Рыдая, за прялкой сидит.

1957

ЭТО БЫЛО ДАВНО

Это было давно.
Исхудавший от голода, злой,
Шел по кладбищу он
И уже выходил за ворота.
Вдруг под свежим крестом,
С невысокой могилы сырой
Заприметил его
И окликнул невидимый кто-то.

И седая крестьянка
В заношенном старом платке
Поднялась от земли,
Молчалива, печальна, сутула,
И, творя поминанье,
В морщинистой темной руке
Две лепешки ему
И яичко, крестясь, протянула.

И как громом ударило
В душу его, и тотчас
Сотни труб закричали
И звезды посыпались с неба.
И, смятенный и жалкий,
В сиянье страдальческих глаз,
Принял он подаянье,
Поел поминального хлеба.

Это было давно.
И теперь он, известный поэт,
Хоть не всеми любимый,
И понятый также не всеми, —
Как бы снова живет
Обаянием прожитых лет
В этой грустной своей
И возвышенно чистой поэме.

И седая крестьянка,
Как добрая старая мать,
Обнимает его. . .
И, бросая перо, в кабинете
Всё он бродит один
И пытается сердцем понять
То, что могут понять
Только старые люди и дети.

1957

КАЗБЕК

С хевсурами после работы
Лежал я и слышал сквозь сон,
Как кто-то, шальной от дремоты,
Окно распахнул на балкон.

Проснулся и я. Наступала
Заря, и, закованный в снег,
Двуглавым обломком кристалла
В окне загорался Казбек.

Я вышел на воздух железный.
Вдали, у подножья высот,
Курились туманные бездны
Провалами каменных сот.

Из горных курильниц взлетая
И тая над миром камней,
Летела по воздуху стая
Мгновенных и легких теней.

Земля начинала молебен
Тому, кто блистал и царил.
Но был он мне чужд и враждебен
В дыхании этих кадил.

И бедное это селенье,
Скопленье домов и закут,
Казалось мне в это мгновенье
Разумно устроенным тут.

У ног ледяного Казбека
Справляя людские дела,
Живая душа человека
Страдала, дышала, жила.

А он, в отдаленье от пашен,
В надмирной своей вышине,
Был только бессмысленно страшен
И людям опасен вдвойне.

Недаром, спросонок понуры,
Внизу, из села своего,
Лишь мельком смотрели хевсуры
На мертвые грани его.

1957

СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Говорят, что в Гималаях где-то,
Выше храмов и монастырей,
Он живет, неведомый для света
Первобытный выкормыш зверей.

Безмятежный, белый и косматый,
Он порой спускается с высот,
И танцует, словно бесноватый,
И в снежки играет у ворот.

Но когда буддийские монахи
Со стены завоют на трубе,
Он бежит в смятении и страхе
В горное убежище к себе.

Если эти россказни — не бредни,
Значит, в наш всеведающий век
Существует всё-таки последний
Полузверь и получеловек.

Ум его, как видно, не обширен,
И приют заоблачный суров,
И ни школ, ни пагод, ни кумирен
Не имеет этот зверолов.

В горные упрятан катакомбы,
Он и знать не знает, что под ним
Громоздятся атомные бомбы,
Верные хозяевам своим.

Никогда их тайны не откроет
Гималайский этот троглодит,
Даже если, словно астероид,
Весь пылая, в бездну полетит.

Но пока над свежими следами
Ламы причитают и поют,
И пока, расставленные в храме,
Барабаны бешеные бьют,

И пока тысячелетний Будда
Ворожит над собственным пупом,
Он себя сравнительно не худо
Чувствует в убежище своем.

Там, наверно, горного оленя
Он свежует около ключа
И из слов одни местоименья
Произносит, громко хохоча.

1957

ОДИНОКИЙ ДУБ

Дурная почва: слишком узловат
И этот дуб, и нет великолепья
В его ветвях. Какие-то отрепья
Торчат на нем и глухо шелестят.

Но скрученные намертво суставы
Он так развил, что, кажется, ударь —
И запоет он колоколом славы,
И из ствола закапает янтарь.

Вглядись в него: он важен и спокоен
Среди своих безжизненных равнин.
Кто говорит, что в поле он не воин?
Он воин в поле, даже и один.

1957

СТИРКА БЕЛЬЯ

В стороне от шоссейной дороги,
В городишке из хаток и лип,
Хорошо постоять на пороге
И послушать колодезный скрип.
Здесь, среди голубей и голубок,
Меж амбаров и мусорных куч,
Бьются по́ ветру тысячи юбок,
Шароваров, рубах и онуч.
Отдыхая от потного тела
Домотканой основой холста,
Здесь с монгольского ига висела
Этих русских одежд пестрота.
И виднелись на ней отпечатки

Человеческих выпуклых тел,
Повторяя в живом беспорядке,
Кто и как в них лежал и сидел.
Я сегодня в сообществе прачек,
Благодетельниц здешних мужей.
Эти люди не давят лежачих
И голодных не гонят взашей.
Натрудив вековые мозоли,
Побелевшие в мыльной воде,
Здесь не думают о хлебосолье,
Но зато не бросают в беде.
Благо тем, кто смятенную душу
Здесь омоет до самого дна,
Чтобы вновь из корыта на сушу
Афродитою вышла она!

1957

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР

Вечерний день томителен и ласков.
Стада коров, качающих бока,
В сопровожденье маленьких подпасков
По берегам идут издалека.
Река, переливаясь под обрывом,
Всё так же привлекательна на вид,
И небо в сочетании счастливом,
Обняв ее, ликует и горит.
Из облаков изваянные розы
Свиваются, волнуются и вдруг,
Меняя очертания и позы,
Уносятся на запад и на юг.
И влага, зацелованная ими,
Как девушка в вечернем полусне,
Едва колеблет волнами своими,
Еще не упоенными вполне.
Она еще как будто негодует
И слабо отстраняется, но ей
Уже сквозь сон предчувствие рисует
Восторг и пламя августовских дней.

1957

ГОМБОРСКИЙ ЛЕС

В Гомборском лесу на границе Кахети
Раскинулась осень. Какой бутафор
Устроил такие поминки о лете
И киноварь с охрой на листьях растер?

Меж кленом и буком ютился шиповник,
Был клен в озаренье и в зареве бук,
И каждый из них оказался виновник
Моих откровений, восторгов и мук.

В кизиловой чаще кровавые жилы
Топорщил кустарник. За чащей вдали
Рядами стояли дубы-старожилы
И тоже к себе, как умели, влекли.

Здесь осень сумела такие пассажи
Наляпать из охры, огня и белил,
Что дуб бушевал, как Рембрандт в Эрмитаже,
А клен, как Мурильо, на крыльях парил.

Я лег на поляне, украшенной дубом,
Я весь растворился в пыланье огня.
Подобно бесчисленным арфам и трубам,
Кусты расступились и скрыли меня.

Я сделался нервной системой растений,
Я стал размышлением каменных скал,
И опыт осенних моих наблюдений
Отдать человечеству вновь пожелал.

С тех пор мне собратьями сделались горы,
И нет мне покоя, когда на трубе
Поют в сентябре золотые Гомборы
И гонят в просторы, и манят к себе.

1957

СЕНТЯБРЬ

Сыплет дождик большие горошины,
Рвется ветер, и даль нечиста.
Закрывается тополь взъерошенный
Серебристой изнанкой листа.

Но взгляни: сквозь отверстие облака,
Как сквозь арку из каменных плит,
В это царство тумана и морока
Первый луч, пробиваясь, летит.

Значит, даль не навек занавешена
Облаками, и, значит, не зря,
Словно девушка, вспыхнув, орешина
Засияла в конце сентября.

Вот теперь, живописец, выхватывай
Кисть за кистью, и на полотне
Золотой, как огонь, и гранатовой
Нарисуй эту девушку мне.

Нарисуй, словно деревце, зыбкую
Молодую царевну в венце
С беспокойно скользящей улыбкою
На заплаканном юном лице.

1957

ВЕЧЕР НА ОКЕ

В очарованье русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого и даже
Не каждому художнику видна.
С утра обремененная работой,
Трудом лесов, заботами полей,
Природа смотрит как бы с неохотой
На нас, неочарованных людей.
И лишь когда за темной чащей леса
Вечерний луч таинственно блеснет,
Обыденности плотная завеса
С ее красот мгновенно упадет.

Вздохнут леса, опущенные в воду,
И, как бы сквозь прозрачное стекло,
Вся грудь реки приникнет к небосводу
И загорится влажно и светло.
Из белых башен облачного мира
Сойдет огонь, и в нежном том огне,
Как будто под руками ювелира,
Сквозные тени лягут в глубине.
И чем ясней становятся детали
Предметов, расположенных вокруг,
Тем необъятней делаются дали
Речных лугов, затонов и излук.
Горит весь мир, прозрачен и духовен,
Теперь-то он поистине хорош,
И ты, ликуя, множество диковин
В его живых чертах распознаешь.

1957

* * *

Кто мне откликнулся в чаще лесной?
Старый ли дуб зашептался с сосной,
Или вдали заскрипела рябина,
Или запела щегла окарина,
Или малиновка, маленький друг,
Мне на закате ответила вдруг?

Кто мне откликнулся в чаще лесной?
Ты ли, которая снова весной
Вспомнила наши прошедшие годы,
Наши заботы и наши невзгоды,
Наши скитанья в далеком краю, —
Ты, опалившая душу мою?

Кто мне откликнулся в чаще лесной?
Утром и вечером, в холод и зной,
Вечно мне слышится отзвук невнятный,
Словно дыханье любви необъятной,
Ради которой мой трепетный стих
Рвался к тебе из ладоней моих...

1957

ГРОЗА ИДЕТ

Движется нахмуренная туча,
Обложив полнеба вдалеке,
Движется, огромна и тягуча,
С фонарем в приподнятой руке.

Сколько раз она меня ловила,
Сколько раз, сверкая серебром,
Сломанными молниями била,
Каменный выкатывала гром!

Сколько раз, ее увидев в поле,
Замедлял я робкие шаги
И стоял, сливаясь поневоле
С белым блеском вольтовой дуги!

Вот он — кедр у нашего балкона.
Надвое громами расщеплен,
Он стоит, и мертвая корона
Подпирает темный небосклон.

Сквозь живое сердце древесины
Пролегает рана от огня,
Иглы почерневшие с вершины
Осыпают звездами меня.

Пой мне песню, дерево печали!
Я, как ты, ворвался в высоту,
Но меня лишь молнии встречали
И огнем сжигали на лету.

Почему же, надвое расколот,
Я, как ты, не умер у крыльца,
И в душе всё тот же лютый голод,
И любовь, и песни до конца!

1957

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ

Золотой светясь оправой
С синим морем наравне,
Дремлет город белоглавый,
Отраженный в глубине.

Он сложился из скопленья
Белой облачной гряды
Там, где солнце на мгновенье
Полыхает из воды.

Я отправлюсь в путь-дорогу,
В эти дальние края,
К белоглавому чертогу
Отыщу дорогу я.

Я открою все ворота
Этих облачных высот,
Заходящим оком кто-то
Луч зеленый мне метнет.

Луч, подобный изумруду,
Золотого счастья ключ —
Я его еще добуду,
Мой зеленый слабый луч.

Но бледнеют бастионы,
Башни падают вдали,
Угасает луч зеленый,
Отдаленный от земли.

Только тот, кто духом молод,
Телом жаден и могуч,
В белоглавый прянет город
И зеленый схватит луч!

1958

У ГРОБНИЦЫ ДАНТЕ

Мне мачехой Флоренция была,
Я пожелал покоиться в Равенне.
Не говори, прохожий, о измене,
Пусть даже смерть клеймит ее дела.

Над белой усыпальницей моей
Воркует голубь, сладостная птица,
Но родина и до сих пор мне снится,
И до сих пор я верен только ей.

Разбитой лютни не берут в поход,
Она мертва среди родного стана.
Зачем же ты, печаль моя, Тоскана,
Целуешь мой осиротевший рот?

А голубь рвется с крыши и летит,
Как будто опасается кого-то,
И злая тень чужого самолета
Свои круги над городом чертит.

Так бей, звонарь, в свои колокола!
Не забывай, что мир в кровавой пене!
Я пожелал покоиться в Равенне,
Но и Равенна мне не помогла.

1958

ГОРОДОК

Целый день стирает прачка,
Муж пошел за водкой.
На крыльце сидит собачка
С маленькой бородкой.

Целый день она таращит
Умные глазенки,
Если дома кто заплачет —
Заскулит в сторонке.

А кому сегодня плакать
В городе Тарусе?
Есть кому в Тарусе плакать —
Девочке Марусе.

Опротивели Марусе
Петухи да гуси.
Сколько ходит их в Тарусе,
Господи Исусе!

«Вот бы мне такие перья
Да такие крылья!
Улетела б прямо в дверь я,
Бросилась в ковыль я!

Чтоб глаза мои на свете
Больше не глядели,
Петухи да гуси эти
Больше не галдели!»

Ой, как худо жить Марусе
В городе Тарусе!
Петухи одни да гуси,
Господи Исусе!

1958

ЛАСТОЧКА

Славно ласточка щебечет,
Ловко крыльями стрижет,
Всем ветрам она перечит,
Но и силы бережет.
Реет верхом, реет низом,
Догоняет комара
И в избушке под карнизом
Отдыхает до утра.

Удивлен ее повадкой,
Устремляюсь я в зенит,
И душа моя касаткой
В отдаленный край летит.

Реет, плачет, словно птица,
В заколдованном краю,
Слабым клювиком стучится
В душу бедную твою.

Но душа твоя угасла,
На дверях висит замок.
Догорело в лампе масло,
И не светит фитилек.
Горько ласточка рыдает
И не знает, как помочь,
И с кладбища улетает
В заколдованную ночь.

1958

ПЕТУХИ ПОЮТ

На сараях, на банях, на гумнах
Свежий ветер вздувает верхи.
Изливаются в возгласах трубных
Звездочеты ночей — петухи.

Нет, не бьют эти птицы баклуши,
Начиная торжественный зов!
Я сравнил бы их темные души
С циферблатами древних часов.

Здесь, в деревне, и вы удивитесь,
Услыхав, как в полуночный час
Трубным голосом огненный витязь
Из курятника чествует вас.

Сообщает он кучу известий,
Непонятных, как вымерший стих,
Но таинственный разум созвездий
Несомненно присутствует в них.

Ярко светит над миром усталым
Семизвездье Большого Ковша,
На земле ему фокусом малым
Петушиная служит душа.

Изменяется угол паденья,
Напрягаются зренье и слух,
И, взметнув до небес оперенье,
Как ужаленный, кличет петух.

И приходят мне в голову сказки
Мудрецами отмеченных дней,
И блуждаю я в них по указке
Удивительной птицы моей.

Пел петух каравеллам Колумба,
Магеллану средь моря кричал,
Не сбиваясь с железного румба,
Корабли приводил на причал.

Пел Петру из коломенских далей,
Собирал конармейцев в поход,
Пел в годину великих печалей,
Пел в эпоху железных работ.

И теперь, на границе историй,
Поднимая свой гребень к луне,
Он, как некогда витязь Егорий,
Кличет песню надзвездную мне!

1958

ПОДМОСКОВНЫЕ РОЩИ

Жучок ли точит древесину
Или скоблит листочек тля,
Сухих листов своих корзину
Несет мне осенью земля.

В висячем золоте дубравы
И в серебре березняки
Стоят, как знамения славы,
На берегах Москвы-реки.

О эти рощи Подмосковья!
С каких давно минувших дней
Стоят они у изголовья
Далекой юности моей!

Давно все стрелы отсвистели
И отгремели все щиты,
Давно отплакали метели
Лихое время нищеты,

Давно умолк Иван Великий,
И только рощи в поздний час
Всё с той же грустью полудикой
Глядят с окрестностей на нас.

Леса с обломками усадеб,
Места с остатками церквей
Всё так же ждут вороньих свадеб
И воркованья голубей.

Они, как комнаты, просторны,
И ранней осенью с утра
Поют в них маленькие горны,
И вторит горнам детвора.

А мне-то, господи помилуй,
Всё кажется, что вдалеке
Трубит коломенец служилый
С пищалью дедовской в руке.

1958

НА ЗАКАТЕ

Когда, измученный работой,
Огонь души моей иссяк,
Вчера я вышел с неохотой
В опустошенный березняк.

На гладкой шелковой площадке,
Чей тон был зелен и лилов,
Стояли в стройном беспорядке
Ряды серебряных стволов.

Сквозь небольшие расстоянья
Между стволами, сквозь листву,
Небес вечернее сиянье
Кидало тени на траву.

Был тот усталый час заката,
Час умирания, когда
Всего печальней нам утрата
Незавершенного труда.

Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.

Несоответствия огромны,
И, несмотря на интерес,
Лесок березовый Коломны
Не повторял моих чудес.

Душа в невидимом блуждала,
Своими сказками полна,
Незрячим взором провожала
Природу внешнюю она.

Так, вероятно, мысль нагая,
Когда-то брошена в глуши,
Сама в себе изнемогая,
Моей не чувствует души.

1958

НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ ЛЕНИТЬСЯ

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому,
Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,

Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!

Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.

А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.

Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

1958

РУБРУК В МОНГОЛИИ

Начало путешествия

Мне вспоминается доныне,
Как с небольшой командой слуг,
Блуждая в северной пустыне,
Въезжал в Монголию Рубрук.

«Вернись, Рубрук!» — кричали птицы.
«Очнись, Рубрук! — скрипела ель. —
Слепил мороз твои ресницы,
Сковала бороду метель.

Тебе ль, монах, идти к монголам
По гребням голым, по степям,
По разоренным этим селам,
По непроложенным путям?

И что тебе, по сути дела,
До измышлений короля?

Ужели вправду надоела
Тебе французская земля?

Небось в покоях Людови́ка
Теперь и пышно и тепло,
А тут лишь ветер воет дико
С татарской саблей наголо.

Тут ни тропинки, ни дороги,
Ни городов, ни деревень,
Одни лишь Гоги да Магоги
В овчинных шапках набекрень!»

А он сквозь Русь спешил упрямо,
Через пожарища и тьму,
И перед ним вставала драма
Народа, чуждого ему.

В те дни, по милости Батыев,
Ладони выев до костей,
Еще дымился древний Киев
У ног непрошеных гостей.

Не стало больше песен дивных,
Лежал в гробнице Ярослав,
И замолчали девы в гривнах,
Последний танец отплясав.

И только волки да лисицы
На диком празднестве своем
Весь день бродили по столице
И тяжелели с каждым днем.

А он, минуя все берлоги,
Уже скакал через Итиль,
Туда, где Гоги и Магоги
Стада упрятали в ковыль.

Туда, к потомкам Чингисхана,
Под сень неведомых шатров,
В чертог восточного тумана,
В селенье северных ветров!

Дорога Чингисхана

Он гнал коня от яма к яму,
И жизнь от яма к яму шла
И раскрывала панораму
Земель, обугленных дотла.

В глуши восточных территорий,
Где ветер бил в лицо и грудь,
Как первобытный крематорий,
Еще пылал Чингизов путь.

Еще дымились цитадели
Из бревен рубленных капелл,
Еще раскачивали ели
Останки вывешенных тел.

Еще на выжженных полянах,
Вблизи низинных родников,
Виднелись груды трупов странных
Из-под сугробов и снегов.

Рубрук слезал с коня и часто
Рассматривал издалека,
Как, скрючив пальцы, из-под наста
Торчала мертвая рука.

С утра не пивши и не евши,
Прислушивался, как вверху
Визгливо вскрикивали векши
В своем серебряном меху.

Как птиц тяжелых эскадрильи,
Справляя смертную кадриль,
Кругами в воздухе кружили
И простирались на сто миль.

Но, невзирая на молебен
В крови купающихся птиц,
Как был досель великолепен
Тот край, не знающий границ!

Европа сжалась до предела
И превратилась в островок,
Лежащий где-то возле тела
Лесов, пожарищ и берлог.

Так вот она, страна уныний,
Гиперборейский интернат,
В котором видел древний Плиний
Жерло, простершееся в ад!

Так вот он, дом чужих народов
Без прозвищ, кличек и имен,
Стрелков, бродяг и скотоводов,
Владык без тронов и корон!

Попарно связанные лыком,
Под караулом, там и тут
До сей поры в смятенье диком
Они в Монголию бредут.

Широкоскулы, низки ростом,
Они бредут из этих стран,
И кровь течет по их коростам,
И слезы падают в туман.

Движущиеся повозки монголов

Навстречу гостю, в зной и в холод,
Громадой движущихся тел
Многоколесный ехал город
И всеми втулками скрипел.

Когда бы дьяволы играли
На скрипках лиственниц и лип,
Они подобной вакханальи
Сыграть, наверно, не смогли б.

В жужжанье втулок и повозок
Врывалось ржанье лошадей,
И это тоже был набросок
Шестой симфонии чертей.

Орда — неважный композитор,
Но из ордынских партитур
Монгольский выбрал экспедитор
C-dur на скрипках бычьих шкур.

Смычком ему был бич отличный,
Виолончелью бычий бок,
И сам он в позе эксцентричной
Сидел в повозке, словно бог.

Но богом был он в высшем смысле,
В том смысле, видимо, в каком
Скрипач свои выводит мысли
Смычком, попав на ипподром.

С утра натрескавшись кумыса,
Он ясно видел всё вокруг —
То из-под ног метнется крыса,
То юркнет в норку бурундук,

То стрепет, острою стрелою,
На землю падает, подбит,
И дико движет головою,
Дополнив общий колорит.

Сегодня возчик, завтра воин,
А послезавтра божий дух,
Монгол и вправду был достоин
И жить, и пить, и есть за двух.

Сражаться, драться и жениться
На двух, на трех, на четырех —
Всю жизнь и воин и возница,
А не лентяй и пустобрех.

Ему нельзя ни выть, ни охать,
Коль он в гостях у росомах,
Забудет прихоть он и похоть,
Коль он охотник и галах.

В родной стране, где по излукам
Текут Онон и Керулен,

Он бродит с палицей и луком,
В цветах и травах до колен.

Но лишь ударит голос меди —
Пригнувшись к гриве скакуна,
Летит он к счастью и победе,
И чашу битвы пьет до дна.

Глядишь — и Русь пощады просит,
Глядишь — и Венгрия горит,
Китай шелка ему подносит,
Париж баллады говорит.

И даже вымершие гунны
Из погребенья своего,
Как закатившиеся луны,
С испугом смотрят на него!

Монгольские женщины

Здесь у повозок выли волки
И у бесчисленных станиц
Пасли скуластые монголки
Своих могучих кобылиц.

На этих бешеных кобылах,
В штанах из выделанных кож,
Судьбу гостей своих унылых
Они не ставили ни в грош.

Они из пыли, словно пули,
Летели в стойбище свое
И, став ли боком, на скаку ли,
Метали дротик и копье.

Был этих дам суров обычай,
Они не чтили женский хлам
И свой кафтан из кожи бычьей
С грехом носили пополам.

Всю жизнь свою тяжелодумки,
Как в этом принято краю,

Они в простой таскали сумке
Поклажу дамскую свою.

Но средь бесформенных иголок
Здесь можно было отыскать
Искусства древнего осколок
Такой, что моднице под стать.

Литые серьги из Дамаска,
Запястья хеттских мастеров,
И то, чем красилась кавказка,
И то, чем славился Ростов.

Всё то, что было взято с бою,
Что было снято с мертвеца,
Свыкалось с модницей такою
И ей служило до конца.

С глубоко спрятанной ухмылкой
Глядел на всадницу Рубрук,
Но вникнуть в суть красотки пылкой
Монаху было недосуг.

Лишь иногда, в потемках лежа,
Не ставил он себе во грех
Воображать, на что похожа
Она в постели, без помех.

Но как ни шло воображенье,
Была работа свыше сил,
И, вспомнив про свое служенье,
Монах усилья прекратил.

Чем жил Каракорум

В те дни состав народов мира
Был перепутан и измят,
И был ему за командира
Незримый миру азиат.

От Танаида до Итили
Коман, хозар и печенег

Таких могил нагородили,
Каких не видел человек.

В лесах за Русью горемычной
Ютились мокша и мордва,
Пытаясь в битве необычной
Свои отстаивать права.

На юге — персы и аланы,
К востоку — прадеды бурят,
Те, что ударив в барабаны,
«Ом, мани падме кум!» твердят.

Уйгуры, венгры и башкиры,
Страна китаев, где врачи
Из трав готовят эликсиры
И звезды меряют в ночи.

Из тундры северные гости,
Те, что проносятся стремглав,
Отполированные кости
К своим подошвам привязав.

Весь этот мир живых созданий,
Людей, племен и целых стран
Платил и подати и дани,
Как предназначил Чингисхан.

Живи и здравствуй, Каракорум,
Оплот и первенец земли,
Чертог Монголии, в котором
Нашли могилу короли!

Где перед каменной палатой
Был вылит дуб из серебра
И наверху трубач крылатый
Трубил, работая с утра!

Где хан, воссев на пьедестале,
Смотрел, как буйно и легко
Четыре тигра изрыгали
В бассейн кобылье молоко!

Наполнив грузную утробу
И сбросив тяжесть портупей,
Смотрел здесь волком на Европу
Генералиссимус степей.

Его бесчисленные орды
Сновали, выдвинув полки,
И были к западу простерты,
Как пятерня его руки.

Весь мир дышал его гортанью,
И власти подлинный секрет
Он получил по предсказанью
На восемнадцать долгих лет.

Как было трудно разговаривать с монголами

Еще не клеились беседы,
И с переводчиком пока
Сопровождала их обеды
Игра на гранях языка.

Трепать язык умеет всякий,
Но надо так трепать язык,
Чтоб щи не путать с кулебякой
И с запятыми закавык.

Однако этот переводчик,
Определившись толмачом,
По сути дела был наводчик
С железной фомкой и ключом.

Своей коллекцией отмычек
Он колдовал и вкривь и вкось
И в силу действия привычек
Плел то, что под руку пришлось.

Прищурив умные гляделки,
Сидели воины в тени,
И, явно не в своей тарелке,
Рубрука слушали они.

Не то чтоб сложной их натуры
Не понимал совсем монах, —
Здесь пели две клавиатуры
На двух различных языках.

Порой хитер, порой наивен,
С мотивом спорил здесь мотив,
И был отнюдь не примитивен
Монгольских воинов актив.

Здесь был особой жизни опыт,
Особый дух, особый тон.
Здесь речь была как конский топот,
Как стук мечей, как копий звон.

В ней водопады клокотали
Подобно реву Ангары
И часто мелкие детали
Приобретали роль горы.

Куда уж было тут латынцу,
Будь он и тонкий дипломат,
Псалмы втолковывать ордынцу
И бить в кимвалы наугад!

Как прототип башибузука,
Любой монгольский мальчуган
Всю казуистику Рубрука,
Смеясь, засовывал в карман.

Он до последней капли мозга
Был практик, он просил еды,
Хотя, по сути дела, розга
Ему б не сделала беды.

Рубрук наблюдает небесные светила

С началом зимнего сезона
В гигантский вытянувшись рост,
Предстал Рубруку с небосклона
Амфитеатр восточных звезд.

В садах Прованса и Луары
Едва ли видели когда,
Какие звездные отары
Вращает в небе Кол-звезда.

Она горит на всю округу,
Как скотоводом вбитый кол,
И водит медленно по кругу
Созвездий пестрый ореол.

Идут небесные Бараны,
Шагают Кони и Быки,
Пылают звездные Колчаны,
Блестят астральные Клинки.

Там тот же бой и стужа та же,
Там тот же общий интерес.
Земля — лишь клок небес и даже,
Быть может, лучший клок небес.

И вот уж чудится Рубруку:
Свисают с неба сотни рук,
Грозят, светясь на всю округу:
«Смотри, Рубрук! Смотри, Рубрук!

Ведь если бог монголу нужен,
То лишь постольку, милый мой,
Поскольку он готовит ужин
Или быков ведет домой.

Твой бог пригоден здесь постольку,
Поскольку может он помочь
Схватить венгерку или польку
И в глушь Сибири уволочь.

Поскольку он податель мяса,
Поскольку он творец еды!
Другого бога свистопляса
Сюда не пустят без нужды.

И пусть хоть лопнет папа в Риме,
Пускай напишет сотни булл, —

Над декретальями твоими
Лишь посмеется Вельзевул.

Он тут не смыслит ни бельмеса
В предначертаниях небес,
И католическая месса
В его не входит интерес».

Идут небесные Бараны,
Плывут астральные Ковши,
Пылают реки, горы, страны,
Дворцы, кибитки, шалаши.

Ревет медведь в своей берлоге,
Кричит стервятница-лиса,
Приходят боги, гибнут боги,
Но вечно светят небеса!

Как Рубрук простился с Монголией

Срывалось дело минорита,
И вскоре выяснил Рубрук,
Что мало толку от визита,
Коль дело валится из рук.

Как ни пытался божью манну
Он перед ханом рассыпать,
К предусмотрительному хану
Не шла господня благодать.

Рубрук был толст и крупен ростом,
Но по природе не бахвал,
И хан его простым прохвостом,
Как видно, тоже не считал.

Но на святые экивоки
Он отвечал: «Послушай, франк!
И мы ведь тоже на востоке
Возводим бога в высший ранг.

Однако путь у нас различен.
Ведь вы, писанье получив,

Не обошлись без зуботычин
И не сплотились в коллектив.

Вы рады бить друг друга в морды,
Кресты имея на груди.
А ты взгляни на наши орды,
На наших братьев погляди!

У нас, монголов, дисциплина,
Убил — и сам иди под меч.
Выходит, ваша писанина
Не та, чтоб выгоду извлечь!»

Тут дали страннику кумысу
И, по законам этих мест,
Безотлагательную визу
Сфабриковали на отъезд.

А между тем вокруг становья,
Вблизи походного дворца
Трубили хану славословья
Несториане без конца.

Живали муллы тут и ламы,
Шаманы множества племен,
И снисходительные дамы
К ним приходили на поклон.

Тут даже диспуты бывали,
И хан, присутствуя на них,
Любил смотреть, как те канальи
Кумыс хлестали за двоих.

Монаха здесь, по крайней мере,
Могли позвать на арбитраж,
Но музыкант ему у двери
Уже играл прощальный марш.

Он в ящик бил четырехструнный,
Он пел и вглядывался в даль,
Где серп прорезывался лунный,
Литой, как выгнутая сталь.

1958

СТОЛБЦЫ И ПОЭМЫ

(1926—1933)

БЕЛАЯ НОЧЬ

Гляди: не бал, не маскарад,
Здесь ночи ходят невпопад,
Здесь, от вина неузнаваем,
Летает хохот попугаем.
Здесь возле каменных излучин
Бегут любовники толпой,
Один горяч, другой измучен,
А третий книзу головой.
Любовь стенает под листами,
Она меняется местами,
То подойдет, то отойдет...
А музы любят круглый год.

Качалась Невка у перил,
Вдруг барабан заговорил —
Ракеты, выстроившись кругом,
Вставали в очередь. Потом
Они летели друг за другом,
Вертя бенгальским животом.

Качали кольцами деревья,
Спадали с факелов отрепья
Густого дыма. А на Невке
Не то сирены, не то девки,
Но нет, сирены, — на заре,
Все в синеватом серебре,
Холодноватые, но звали

Прижаться к палевым губам
И неподвижным, как медали.
Обман с мечтами пополам!

Я шел сквозь рощу. Ночь легла
Вдоль по траве, как мел бела.
Торчком кусты над нею встали
В ножнах из разноцветной стали,
И тосковали соловьи
Верхом на веточке. Казалось,
Они испытывали жалость,
Как неспособные к любви.

А там вдали, где желтый бакен
Подкарауливал шутих,
На корточках привстал Елагин,
Ополоснулся и затих:
Он в этот раз накрыл двоих.

Вертя винтом, бежал моторчик
С музы́кой томной по бортам.
К нему навстречу, рожи скорчив,
Несутся лодки тут и там.
Он их толкнет — они бежать.
Бегут, бегут, потом опять
Идут, задорные, навстречу.
Он им кричит: «Я искалечу!»
Они уверены, что нет...

И всюду сумасшедший бред.
Листами сонными колышим,
Он льется в окна, липнет к крышам,
Вздымает дыбом волоса...
И ночь, подобно самозванке,
Открыв молочные глаза,
Качается в спиртовой банке
И просится на небеса.

1926

ВЕЧЕРНИЙ БАР

В глуши бутылочного рая,
Где пальмы высохли давно,
Под электричеством играя,
В бокале плавало окно.
Оно, как золото, блестело,
Потом садилось, тяжелело,
Над ним пивной дымок вился...
Но это рассказать нельзя.

Звеня серебряной цепочкой,
Спадает с лестницы народ,
Трещит картонною сорочкой,
С бутылкой водит хоровод.
Сирена бледная за стойкой
Гостей попотчует настойкой,
Скосит глаза, уйдет, придет,
Потом с гитарой на отлет
Она поет, поет о милом,
Как милого она любила,
Как, ласков к телу и жесток,
Впивался шелковый шнурок,
Как по стаканам висла виски,
Как из разбитого виска
Измученную грудь обрызгав,
Он вдруг упал. Была тоска,
И всё, о чем она ни пела,
Легло в бокал белее мела.

Мужчины тоже всё кричали,
Они качались по столам,
По потолкам они качали
Бедлам с цветами пополам.
Один рыдает, толстопузик,
Другой кричит: «Я — Иисусик,
Молитесь мне, я на кресте,
В ладонях гвозди и везде!»
К нему сирена подходила,
И вот, тарелки оседлав,

Бокалов бешеный конклав
Зажегся, как паникадило.

Глаза упали, точно гири,
Бокал разбили, вышла ночь,
И жирные автомобили,
Схватив под мышки Пикадилли,
Легко откатывали прочь.
А за окном в глуши времен
Блистал на мачте лампион.

Там Невский в блеске и тоске,
В ночи переменивший краски,
От сказки был на волоске,
Ветрами вея без опаски.
И, как бы яростью объятый,
Через туман, тоску, бензин,
Над башней рвался шар крылатый
И имя «Зингер» возносил.

1926

ФУТБОЛ

Ликует форвард на бегу.
Теперь ему какое дело!
Недаром согнуто в дугу
Его стремительное тело.
Как плащ, летит его душа,
Ключица стукается звонко
О перехват его плаща.
Танцует в ухе перепонка,
Танцует в горле виноград,
И шар перелетает ряд.

Его хватают наугад,
Его отравою поят,
Но башмаков железный яд
Ему страшнее во сто крат.
Назад!

Свалились в кучу беки,
Опухшие от сквозняка,

Но к ним через моря и реки,
Просторы, площади, снега,
Расправив пышные доспехи
И накренясь в меридиан,
Несется шар.

В душе у форварда пожар,
Гремят, как сталь, его колена,
Но уж из горла бьет фонтан,
Он падает, кричит: «Измена!»
А шар вертится между стен,
Дымится, пучится, хохочет,
Глазок сожмет: «Спокойной ночи!»
Глазок откроет: «Добрый день!»
И форварда замучить хочет.

Четыре гола пали в ряд,
Над ними трубы не гремят,
Их сосчитал и тряпкой вытер
Меланхолический голкипер
И крикнул ночь. Приходит ночь.
Бренча алмазною заслонкой,
Она вставляет черный ключ
В атмосферическую лунку.
Открылся госпиталь. Увы,
Здесь форвард спит без головы.

Над ним два медные копья
Упрямый шар веревкой вяжут,
С плиты загробная вода
Стекает в ямки вырезные,
И сохнет в горле виноград.
Спи, форвард, задом наперед!

Спи, бедный форвард!
Над землею
Заря упала, глубока,
Танцуют девочки с зарею
У голубого ручейка.
Всё так же вянут на покое

В лиловом домике обои,
Стареет мама с каждым днем...
Спи, бедный форвард!
Мы живем.

1926

ОФОРТ

И грянул на весь оглушительный зал:
«Покойник из царского дома бежал!»

Покойник по улицам гордо идет,
Его постояльцы ведут под уздцы,
Он голосом трубным молитву поет
И руки вздымает наверх.
Он в медных очках, перепончатых рамах,
Переполнен до горла подземной водой.
Над ним деревянные птицы со стуком
Смыкают на створках крыла.
А кругом громобой, цилиндров бряцанье
И курчавое небо, а тут —
Городская коробка с расстегнутой дверью
И за стеклышком — розмарин.

1927

БОЛЕЗНЬ

Больной, свалившись на кровать,
Руки не может приподнять.
Вспотевший лоб прямоуголен —
Больной двенадцать суток болен.
Во сне он видит чьи-то рыла,
Тупые, плотные, как дуб.
Тут лошадь веки приоткрыла,
Квадратный выставила зуб.
Она грызет пустые склянки,
Склонившись, библию читает,

Танцует, мочится в лоханки
И голосом жены больного утешает.

«Жена, ты девушкой слыла.
Увы, моя подруга,
Как кожа нежная была
В боках твоих упруга!
Зачем же лошадь стала ты?
Укройся в белые скиты
И ставя богу свечку,
Грызи свою уздечку!»

Но лошадь бьется, не идет,
Наоборот, она довольна.
Уж вечер. Лампа свет лиет
На уголок застольный.
Восходит поп среди двора,
Он весь ругается и силы напрягает,
Чугунный крест из серебра
Через порог переставляет.
Больному лучше. Поп хохочет,
Закутавшись в святую епанчу.
Больного он кропилом мочит,
Потом с тарелки ест сычуг,
Наполненный ячменной кашей,
И лошадь называет он мамашей.

1928

ИГРА В СНЕЖКИ

В снегу кипит большая драка.
Как легкий бог, летит собака.
Мальчишка бьет врага в живот.
На елке тетерев живет.
Уж ледяные свищут бомбы.
Уж вечер. В зареве снега.
В сугробах роя катакомбы,
Мальчишки лезут на врага.
Один, задрав кривые ноги,
Скатился с горки, а другой
Воткнулся в снег, а двое новых,

Мохнатых, скорченных, багровых,
Сцепились вместе, бьются враз,
Но деревянный ножик спас.

Закат погас. И день остановился.
И великаном подошел шершавый конь.
Мужик огромной тушею своей
Сидел в стропилах крашеных саней,
И в медной трубке огонек дымился.

Бой кончился. Мужик не шевелился.

1928

ЧАСОВОЙ

На карауле ночь густеет.
Стоит, как башня, часовой.
В его глазах одеревенелых
Четырехгранный вьется штык.
Тяжеловесны и крылаты,
Знамена пышные полка,
Как золотые водопады,
Пред ним свисают с потолка.
Там пролетарий на стене
Гремит, играя при луне,
Там вой кукушки полковой
Угрюмо тонет за стеной.
Тут белый домик вырастает
С квадратной башенкой вверху,
На стенке девочка витает,
Дудит в прозрачную трубу.
Уж к ней сбегаются коровы
С улыбкой бледной на губах...
А часовой стоит впотьмах
В шинели конусообразной,
Над ним звезды пожарик красный
И серп заветный в головах.
Вот в щели каменные плит
Мышиные просунулися лица,
Похожие на треугольники из мела,
С глазами траурными по бокам.

Одна из них садится у окошка
С цветочком музыки в руке.
А день в решетку пальцы тянет,
Но не достать ему знамен.
Он напрягается и видит:
Стоит, как башня, часовой,
И пролетарий на стене
Хранит волшебное становье.
Ему знамена — изголовье,
А штык ружья: война — войне.
И день доволен им вполне.

1927

НОВЫЙ БЫТ

Восходит солнце над Москвой,
Старухи бегают с тоской:
Куда, куда идти теперь?
Уж Новый Быт стучится в дверь!
Младенец, выхолен и крупен,
Сидит в купели, как султан.
Прекрасный поп поет, как бубен,
Паникадилом осиян.
Прабабка свечку зажигает,
Младенец крепнет и мужает
И вдруг, шагая через стол,
Садится прямо в комсомол.

И время двинулось быстрее,
Стареет папенька-отец,
И за окошками в аллее
Играет сваха в бубенец.
Ступни младенца стали шире,
От стали ширится рука.
Уж он сидит в большой квартире,
Невесту держит за рукав.
Приходит поп, тряся ногами,
В ладошке мощи бережет,
Благословить желает стенки,
Невесте крестик подарить.
«Увы, — сказал ему младенец, —

Уйди, уйди, кудрявый поп,
Я — новой жизни ополченец,
Тебе ж один остался гроб!»
Уж поп тихонько плакать хочет,
Стоит на лестнице, бормочет,
Не зная, чем себе помочь.
Ужель идти из дома прочь?

Но вот знакомые явились,
Завод пропел: «Ура! Ура!»
И Новый Быт, даруя милость,
В тарелке держит осетра.
Варенье, ложечкой носимо,
Шипит и падает в боржом.
Жених, проворен нестерпимо,
К невесте лепится ужом.
И председатель на отвале,
Чете играя похвалу,
Приносит в выборгском бокале
Вино солдатское, халву,
И, принимая красный спич,
Сидит на столике кулич.

«Ура! Ура!» — поют заводы,
Картошкой дым под небеса.
И вот супруги, выпив соды,
Сидят и чешут волоса.
И стало всё благоприятно:
Явилась ночь, ушла обратно,
И за окошком через миг
Погасла свечка-пятерик.

1927

ДВИЖЕНИЕ

Сидит извозчик, как на троне,
Из ваты сделана броня,
И борода, как на иконе,
Лежит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,

То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкают
В его блестящем животе.

1927

НА РЫНКЕ

В уборе из цветов и крынок
Открыл ворота старый рынок.

Здесь бабы толсты, словно кадки,
Их шаль невиданной красы,
И огурцы, как великаны,
Прилежно плавают в воде.
Сверкают саблями селедки,
Их глазки маленькие кротки,
Но вот, разрезаны ножом,
Они свиваются ужом.
И мясо властью топора
Лежит, как красная дыра,
И колбаса кишкой кровавой
В жаровне плавает корявой,
И вслед за ней кудрявый пес
Несет на воздух постный нос,
И пасть открыта, словно дверь,
И голова, как блюдо,
И ноги точные идут,
Сгибаясь медленно посередине.
Но что это? Он с видом сожаленья
Остановился наугад,
И слезы, точно виноград,
Из глаз по воздуху летят.

Калеки выстроились в ряд.
Один играет на гитаре.
Ноги обрубок, брат утрат,
Его кормилец на базаре.
А на обрубке том костыль,
Как деревянная бутыль.

Росток руки другой нам кажет,
Он ею хвастается, машет,
Он палец вывихнул, урод,

И визгнул палец, словно крот,
И хрустнул кости перекресток,
И сдвинулось лицо в наперсток.

А третий, закрутив усы,
Глядит воинственным героем.
Над ним в базарные часы
Мясные мухи вьются роем.
Он в банке едет на колесах,
Во рту запрятан крепкий руль,
В могилке где-то руки сохнут,
В какой-то речке ноги спят.
На долю этому герою
Осталось брюхо с головою
Да рот, большой, как рукоять,
Рулем веселым управлять.

Вон бабка с неподвижным оком
Сидит на стуле одиноком,
И книжка в дырочках волшебных
(Для пальцев милая сестра)
Поет чиновников служебных,
И бабка пальцами быстра.

А вкруг — весы, как магелланы,
Отрепья масла, жир любви,
Уроды, словно истуканы,
В густой расчетливой крови,
И визг молитвенной гитары,
И шапки полны, как тиары,
Блестящей медью. Недалек
Тот миг, когда в норе опасной
Он и она — он пьяный, красный
От стужи, пенья и вина,
Безрукий, пухлый, и она —
Слепая ведьма — спляшут мило
Прекрасный танец-козерог,
Да так, что затрещат стропила
И брызнут искры из-под ног!

И лампа взвоет, как сурок.

1927

ИВАНОВЫ

Стоят чиновные деревья,
Почти влезая в каждый дом.
Давно их кончено кочевье,
Они в решетках, под замком.
Шумит бульваров теснота,
Домами плотно заперта.

Но вот все двери растворились,
Повсюду шепот пробежал:
На службу вышли Ивановы
В своих штанах и башмаках.
Пустые гладкие трамваи
Им подают свои скамейки.
Герои входят, покупают
Билетов хрупкие дощечки,
Сидят и держат их перед собой,
Не увлекаясь быстрою ездой.

А там, где каменные стены,
И рев гудков, и шум колес,
Стоят волшебные сирены
В клубках оранжевых волос.
Иные, дуньками одеты,
Сидеть не могут взаперти.
Прищелкивая в кастаньеты,
Они идут. Куда идти,
Кому нести кровавый ротик,
У чьей постели бросить ботик
И дернуть кнопку на груди?
Неужто некуда идти?

О мир, свинцовый идол мой,
Хлещи широкими волнами
И этих девок упокой
На перекрестке вверх ногами!
Он спит сегодня, грозный мир:
В домах спокойствие и мир.

Ужели там найти мне место,
Где ждет меня моя невеста,

Где стулья выстроились в ряд,
Где горка — словно Арарат —
Имеет вид отменно важный,
Где стол стоит и трехэтажный
В железных латах самовар
Шумит домашним генералом?

О мир, свернись одним кварталом,
Одной разбитой мостовой,
Одним проплеванным амбаром,
Одной мышиною норой,
Но будь к оружию готов:
Целует девку — Иванов!

1928

СВАДЬБА

Сквозь окна хлещет длинный луч,
Могучий дом стоит во мраке.
Огонь раскинулся, горюч,
Сверкая в каменной рубахе.
Из кухни пышет дивным жаром.
Как золотые битюги,
Сегодня зреют там недаром
Ковриги, бабы, пироги.
Там кулебяка из кокетства
Сияет сердцем бытия.
Над нею проклинает детство
Цыпленок, синий от мытья.
Он глазки детские закрыл,
Наморщил разноцветный лобик
И тельце сонное сложил
В фаянсовый столовый гробик.
Над ним не поп ревел обедню,
Махая пó ветру крестом,
Ему кукушка не певала
Коварной песенки своей:
Он был закован в звон капусты,
Он был томатами одет,
Над ним, как крестик, опускался
На тонкой ножке сельдерей.

Так он почил в расцвете дней,
Ничтожный карлик средь людей.

Часы гремят. Настала ночь.
В столовой пир горяч и пылок.
Графину винному невмочь
Расправить огненный затылок.
Мясистых баб большая стая
Сидит вокруг, пером блистая,
И лысый венчик горностая
Венчает груди, ожирев
В поту столетних королев.
Они едят густые сласти,
Хрипят в неутоленной страсти
И, распуская животы,
В тарелки жмутся и цветы.
Прямые лысые мужья
Сидят, как выстрел из ружья,
Едва вытягивая шеи
Сквозь мяса жирные траншеи.
И, пробиваясь сквозь хрусталь
Многообразно однозвучный,
Как сон земли благополучной,
Парит на крылышках мораль.

О пташка божья, где твой стыд?
И что к твоей прибавит чести
Жених, приделанный к невесте
И позабывший звон копыт?
Его лицо передвижное
Еще хранит следы венца,
Кольцо на пальце золотое
Сверкает с видом удальца,
И поп, свидетель всех ночей,
Раскинув бороду забралом,
Сидит, как башня, перед балом
С большой гитарой на плече.

Так бей, гитара! Шире круг!
Ревут бокалы пудовые.
И вздрогнул поп, завыл и вдруг
Ударил в струны золотые.

И под железный гром гитары
Подняв последний свой бокал,
Несутся бешеные пары
В нагие пропасти зеркал.
И вслед за ними по засадам,
Ополоумев от вытья,
Огромный дом, виляя задом,
Летит в пространство бытия.
А там — молчанья грозный сон,
Седые полчища заводов,
И над становьями народов —
Труда и творчества закон.

1928

ФОКСТРОТ

В ботинках кожи голубой,
В носках блистательного франта,
Парит по воздуху герой
В дыму гавайского джаз-банда.
Внизу — бокалов воркотня,
Внизу — ни ночи нет, ни дня,
Внизу — на выступе оркестра,
Как жрец, качается маэстро.
Он бьет рукой по животу,
Он машет палкой в пустоту,
И легких галстуков извилина
На грудь картонную пришпилена.

Ура! Ура! Герой парит —
Гавайский фокус над Невою!
А бал ревет, а бал гремит,
Качая бледною толпою.
А бал гремит, единорог,
И бабы выставили в пляске
У перекрестка гладких ног
Чижа на розовой подвязке.
Смеется чиж — гляди, гляди!
Но бабы дальше ускакали,
И медным лесом впереди
Гудит фокстрот на пьедестале.

И, так играя, человек
Родил в последнюю минуту
Прекраснейшего из калек —
Женоподобного Иуду.
Не тронь его и не буди,
Не пригодится он для дела —
С цыплячьим знаком на груди
Росток болезненного тела.
А там, над бедною землей,
Во славу винам и кларнетам
Парит по воздуху герой,
Стреляя в небо пистолетом.

1928

ПЕКАРНЯ

В волшебном царстве калачей,
Где дым струится над пекарней,
Железный крендель, друг ночей,
Светил небесных светозарней.
Внизу под кренделем — содом.
Там тесто, выскочив из квашен,
Встает подобьем белых башен
И рвется в битву напролом.

Вперед! Настало время боя!
Ломая тысячи преград,
Оно ползет, урча и воя,
И не желает лезть назад.
Трещат столы, трясутся стены,
С высоких балок льет вода.
Но вот, подняв фонарь военный,
В чугун ударил тамада, —
И хлебопеки сквозь туман,
Как будто идолы в тиарах,
Летят, играя на цимбалах
Кастрюль неведомый канкан.

Как изукрашенные стяги,
Лопаты ходят тяжело,
И теста ровные корчаги
Плывут в квадратное жерло.

И в этой, красной от натуги,
Пещере всех метаморфоз
Младенец-хлеб приподнял руки
И слово стройно произнес.
И пекарь огненной трубой
Трубил о нем во мрак ночной.

А печь, наследника родив
И стройное поправив чрево,
Стоит стыдливая, как дева
С ночною розой на груди.
И кот, в почетном сидя месте,
Усталой лапкой рыльце крестит,
Зловонным хвостиком вертит,
Потом кувшинчиком сидит.
Сидит, сидит, и улыбнется,
И вдруг исчез. Одно болотце
Осталось в глиняном полу.
И утро выплыло в углу.

1928

РЫБНАЯ ЛАВКА

И вот, забыв людей коварство,
Вступаем мы в иное царство.

Тут тело розовой севрюги,
Прекраснейшей из всех севрюг,
Висело, вытянувши руки,
Хвостом прицеплено на крюк.
Под ней кета пылала мясом,
Угри, подобные колбасам,
В копченой пышности и лени
Дымились, подогнув колени,
И среди них, как желтый клык,
Сиял на блюде царь-балык.

О самодержец пышный брюха,
Кишечный бог и властелин,
Руководитель тайный духа
И помыслов архитриклин!

Хочу тебя! Отдайся мне!
Дай жрать тебя до самой глотки!
Мой рот трепещет, весь в огне,
Кишки дрожат, как готтентотки.
Желудок, в страсти напряжен,
Голодный сок струями точит,
То вытянется, как дракон,
То вновь сожмется что есть мочи,
Слюна, клубясь, во рту бормочет,
И сжаты челюсти вдвойне...
Хочу тебя! Отдайся мне!

Повсюду гром консервных банок,
Ревут сиги, вскочив в ушат.
Ножи, торчащие из ранок,
Качаются и дребезжат.
Горит садок подводным светом,
Где за стеклянною стеной
Плывут лещи, объяты бредом,
Галлюцинацией, тоской,
Сомненьем, ревностью, тревогой...
И смерть над ними, как торгаш,
Поводит бронзовой острогой.

Весы читают «Отче наш»,
Две гирьки, мирно встав на блюдце,
Определяют жизни ход,
И дверь звенит, и рыбы бьются,
И жабры дышат наоборот.

1928

ОБВОДНЫЙ КАНАЛ

В моем окне на весь квартал
Обводный царствует канал.

Ломовики, как падишахи,
Коня запутав медью блях,
Идут, закутаны в рубахи,
С нелепой важностью нерях.
Вокруг пивные встали в ряд,
Ломовики в пивных сидят.

И в окна конских морд толпа
Глядит, мотаясь у столба,
И в окна конских морд собор
Глядит, поставленный в упор.
А там за ним, за морд собором,
Течет толпа на полверсты,
Кричат слепцы блестящим хором,
Стальные вытянув персты.
Маклак штаны на воздух мечет,
Ладонью бьет, поет, как кречет:
Маклак — владыка всех штанов,
Ему подвластен ход миров,
Ему подвластно толп движенье,
Толпу томит штанов круженье,
И вот она, забывши честь,
Стоит, не в силах глаз отвесть,
Вся прелесть и изнеможенье.

Кричи, маклак, свисти уродом,
Мечи штаны под облака!
Но перед сомкнутым народом
Иная движется река:
Один сапог несет на блюде,
Другой поет хвалу Иуде,
А третий, грозен и румян,
В кастрюлю бьет, как в барабан.
И нету сил держаться боле,
Толпа в плену, толпа в неволе,
Толпа лунатиком идет,
Ладони вытянув вперед.

А вкруг черны заводов замки,
Высок под облаком гудок.
И вот опять идут мустанги
На колоннаде пышных ног.
И воют жалобно телеги,
И плещет взорванная грязь,
И над каналом спят калеки,
К пустым бутылкам прислонясь.

1928

БРОДЯЧИЕ МУЗЫКАНТЫ

Закинув на́ спину трубу,
Как бремя золотое,
Он шел, в обиде на судьбу.
За ним бежали двое.
Один, сжимая скрипки тень,
Горбун и шаромыжка,
Скрипел и плакал целый день,
Как потная подмышка.
Другой, искусник и борец
И чемпион гитары,
Огромный нес в руках крестец
С роскошной песнею Тамары.
На том крестце семь струн железных,
И семь валов, и семь колков,
Рукой построены полезной,
Болтались в виде уголков.

На стогнах солнце опускалось,
Неслись извозчики гурьбой,
Как бы фигуры пошехонцев
На волокнистых лошадях.
И вдруг в колодце между окон
Возник трубы волшебный локон,
Он прянул вверх тупым жерлом
И заревел. Глухим орлом
Был первый звук. Он, грохнув, пал,
За ним второй орел предстал,
Орлы в кукушек превращались,
Кукушки в точки уменьшались,
И точки, горло сжав в комок,
Упали в окна всех домов.

Тогда горбатик, скрипочку
Приплюснув подбородком,
Слепил перстом улыбочку
На личике коротком,
И, визгнув поперечиной
По маленьким струнам,

Заплакал, искалеченный:
— Тилим-там-там!

Система тронулась в порядке.
Качались знаки вымысла.
И каждый слушатель украдкой
Слезою чистой вымылся,
Когда на подоконниках
Средь музыки и грохота
Легла толпа поклонников
В подштанниках и кофтах.

Но богослов житейской страсти
И чемпион гитары
Подъял крестец, поправил части
И с песней нежною Тамары
Уста отважно растворил.
И всё умолкло.
Звук самодержавный,
Глухой, как шум Куры,
Роскошный, как мечта,
Пронесся...
И в этой песне сделалась видна
Тамара на кавказском ложе.
Пред нею, полные вина,
Шипели кубки дотемна
И юноши стояли тоже.
И юноши стояли,
Махали руками,
И страстные дикие звуки
Всю ночь раздавалися там...
Тилим-там-там!

Певец был строен и суров.
Он пел, трудясь, среди дворов,
Средь выгребных высоких ям
Трудился он, могуч и прям.
Вокруг него система кошек,
Система окон, ведер, дров
Висела, темный мир размножив
На царства узкие дворов.
Но что́ был двор? Он был трубою,

Он был тоннелем в те края,
Где был и я гоним судьбою,
Где пропадала жизнь моя.
Где сквозь мансардное окошко
При лунном свете, вся дрожа,
В глаза мои смотрела кошка,
Как дух седьмого этажа.

1928

НА ЛЕСТНИЦАХ

Коты на лестницах упругих,
Большие рыла приподняв,
Сидят, как будды, на перилах,
Ревут, как трубы, о любви.
Нагие кошечки, стесняясь,
Друг к дружке жмутся, извиняясь.
Кокетки! Сколько их кругом!
Они по кругу ходят боком,
Они текут любовным соком,
Они трясутся, на весь дом
Распространяя запах страсти.
Коты ревут, открывши пасти, —
Они как дьяволы вверху
В своем серебряном меху.

Один лишь кот в глухой чужбине
Сидит, задумчив, не поет.
В его взъерошенной овчине
Справляют блохи хоровод.
Отшельник лестницы печальный,
Монах помойного ведра,
Он мир любви первоначальной
Напрасно ищет до утра.
Сквозь дверь он чувствует квартиру,
Где труд дневной едва лишь начат.
Там от плиты и до сортира
Лишь бабьи туловища скачут.
Там примус выстроен, как дыба,
На нем, от ужаса треща,
Чахоточная воет рыба
В зеленых масляных прыщах.

Там трупы вымытых животных
Лежат на противнях холодных
И чугуны, купели слез,
Венчают зла апофеоз.

Кот поднимается, трепещет.
Сомненья нету: замкнут мир
И лишь одни помои плещут
Туда, где мудрости кумир.
И кот встает на две ноги,
Идет вперед, подъемля лапы.
Пропала лестница. Ни зги
В глазах. Шарахаются бабы,
Но поздно! Кот, на шею сев,
Как дьявол, бьется, озверев,
Рвет тело, жилы отворяет,
Когтями кости вынимает...
О, боже, боже, как нелеп!
Сбесился он или ослеп?

Шла ночь без горечи и страха,
И любопытным виден был
Семейный сад — кошачья плаха,
Где месяц медленный всходил.
Деревья дружные качали
Большими сжатыми телами,
Нагие птицы верещали,
Скача неверными ногами.
Над ними, желтый скаля зуб,
Висел кота холодный труп.

Монах! Ты висельником стал!
Прощай. В моем окошке,
Справляя дикий карнавал,
Опять несутся кошки.
И я на лестнице стою,
Такой же белый, важный.
Я продолжаю жизнь твою,
Мой праведник отважный.

1928

КУПАЛЬЩИКИ

Кто, чернец, покинув печку,
Лезет в ванну или тазик —
Приходи купаться в речку,
Отступись от безобразий!

Кто, кукушку в руку спрятав,
В воду падает с размаха —
Во главе плывет отряда,
Только дым идет из паха.

Все, впервые сняв одежды
И различные доспехи,
Начинают как невежды,
Но потом идут успехи.

Влага нежною гусыней
Щиплет части юных тел
И рукою водит синей,
Если кто-нибудь вспотел.

Если кто-нибудь не хочет
Оставаться долго мокрым —
Трет себя сухим платочком
Цвета воздуха и охры.

Если кто-нибудь томится
Страстью или искушеньем —
Может быстро охладиться,
Отдыхая без движенья.

Если кто любить не может,
Но изглодан весь тоскою,
Сам себе теперь поможет,
Тихо плавая с доскою.

О река, невеста, мамка,
Всех вместившая на лоне,
Ты не девка-полигамка,
Но святая на иконе!

Ты не девка-полигамка,
Но святая Парасковья,
Нас, купальщиков, встречай,
Где песок и молочай!

1928

НЕЗРЕЛОСТЬ

Младенец кашку составляет
Из манных зерен голубых.
Зерно, как кубик, вылетает
Из легких пальчиков двойных.
Зерно к зерну — горшок наполнен,
И вот, качаясь, он висит,
Как колокол на колокольне,
Квадратной силой знаменит.
Ребенок лезет вдоль по чащам,
Ореховые рвет листы,
И над деревьями всё чаще
Его колеблются персты.
И девочки, носимы вместе,
К нему по воздуху плывут.
Одна из них, снимая крестик,
Тихонько падает в траву.

Горшок клубится под ногою,
Огня субстанция жива,
И девочка лежит нагою,
В огонь откинув кружева.
Ребенок тихо отвечает:
«Младенец я, и не окреп!
Ужель твой ум не примечает,
Насколь твой замысел нелеп?
Красот твоих мне стыден вид,
Закрой же ножки белой тканью,
Смотри, как мой костер горит,
И не готовься к поруганью!»
И, тихо взяв мешалку в руки,
Он мудро кашу помешал, —
Так он урок живой науки
Душе несчастной преподал.

1928

НАРОДНЫЙ ДОМ

Народный Дом, курятник радости,
Амбар волшебного житья,
Корыто праздничное страсти,
Густое пекло бытия!
Тут шишаки красноармейские,
А с ними дамочки житейские
Неслись задумчивым ручьем.
Им шум столичный нипочем!
Тут радость пальчиком водила,
Она к народу шла потехою.
Тут каждый мальчик забавлялся:
Кто дамочку кормил орехами,
А кто над пивом забывался.
Тут гор американские хребты!
Над ними девочки, богини красоты,
В повозки быстрые запрятались,
Повозки катятся вперед,
Красотки нежные расплакались,
Упав совсем на кавалеров...
И много было тут других примеров.

Тут девка водит на аркане
Свою пречистую собачку,
Сама вспотела вся до нитки
И грудки выехали вверх.
А та собачка пречестная,
Весенним соком налитая,
Грибными ножками неловко
Вдоль по дорожке шелестит.

Подходит к девке именитой
Мужик роскошный, апельсинщик.
Он держит тазик разноцветный,
В нем апельсины аккуратные лежат.
Как будто циркулем очерченные круги,
Они волнисты и упруги;
Как будто маленькие солнышки, они
Легко катаются по жести
И пальчикам лепечут: «Лезьте, лезьте!»

И девка, кушая плоды,
Благодарит рублем прохожего.
Она зовет его на ты,
Но ей другого хочется, хорошего.
Она хорошего глазами ищет,
Но перед ней качели свищут.

В качелях девочка-душа
Висела, ножкою шурша.
Она по воздуху летела,
И теплой ножкою вертела,
И теплой ручкою звала.

Другой же, видя преломленное
Свое лицо в горбатом зеркале,
Стоял молодчиком оплеванным,
Хотел смеяться, но не мог.
Желая знать причину искривления,
Он как бы делался ребенком
И шел назад на четвереньках,
Под сорок лет — четвероног.

Но перед этим праздничным угаром
Иные будто спасовали:
Они довольны не амбаром радости,
Они тут в молодости побывали.
И вот теперь, шепча с бутылкою,
Прощаясь с молодостью пылкою,
Они скребут стакан зубами,
Они губой его высасывают,
Они приятелям рассказывают
Свои веселия шальные.
Ведь им бутылка словно матушка,
Души медовая салопница,
Целует слаще всякой девки,
А холодит сильнее Невки.

Они глядят в стекло.
В стекле восходит утро.
Фонарь, бескровный, как глиста,
Стрелой болтается в кустах.
И по трамваям рай качается —

Тут каждый мальчик улыбается,
А девочка наоборот —
Закрыв глаза, открыла рот
И ручку выбросила теплую
На приподнявшийся живот.

Трамвай, шатаясь, чуть идет.

1928

САМОВАР

Самовар, владыка брюха,
Драгоценный комнат поп!
В твоей грудке вижу ухо,
В твоей ножке вижу лоб.

Император белых чашек,
Чайников архимандрит,
Твой глубокий ропот тяжек
Тем, кто миру зло дарит.

Я же — дева неповинна,
Как нетронутый цветок.
Льется в чашку длинный-длинный,
Тонкий, стройный кипяток.

И вся комнатка-малютка
Расцветает вдалеке,
Словно цветик-незабудка
На высоком стебельке.

1930

НА ДАЧЕ

Вижу около постройки
Древо радости — орех.
Дым, подобно белой тройке,
Скачет в облако наверх.

Вижу дачи деревянной
Деревенские столбы.
Белый, серый, оловянный,
Дым выходит из трубы.
Вижу — ты, по воле мужа
С животом, подобным тазу,
Ходишь, зла и неуклюжа,
И подходишь к тарантасу.
В тарантасе тройка алых
Чернокудрых лошадей.
Рядом дядя на цимбалах
Тешит праздничных людей.
Гей, ямщик! С тобою мама,
Да в селе высокий доктор.
Полетела тройка прямо
По дороге очень мокрой.
Мама стонет, дядя гонит,
Дядя давит лошадей,
И младенец, плача, тонет
Посреди больших кровей.

Пуповину отгрызала
Мама зубом золотым.
Тройка бешеная стала,
Коренник упал. Как дым,
Словно дым, клубилась степь,
Ночь сидела на холме.
Дядя ел чугунный хлеб,
Развалившись на траве.
А в далекой даче дети
Пели, бегая в крокете,
И ликуя, и шутя,
Легким шариком вертя.
И цыганка молодая,
Встав над ними, как божок,
Предлагала, завывая,
Ассирийский пирожок.

1929

НАЧАЛО ОСЕНИ

Старухи, сидя у ворот,
Хлебали щи тумана, гари.
Тут, торопяся на завод,
Шел переулком пролетарий.
Не быв задетым центром О,
Он шел, скрепив периферию,
И ветр ломался вкруг него.
Приходит соболь из Сибири,
И представляет яблок Крым,
И девка, взяв рубля четыре,
Ест плод, любуясь молодым.
В его глазах — начатки знанья,
Они потом уходят в руки,
В его мозгу на состязанье
Сошлись концами все науки.
Как сон житейских геометрий,
В необычайно крепком ветре
Над ним домов бряцали оси,
И в центре О мерцала осень.
И к ней касаясь хордой, что ли,
Качался клен, крича от боли,
Качался клен, и выстрелом ума
Казалась нам вселенная сама.

1928

ЦИРК

Цирк сияет, словно щит,
Цирк на пальцах верещит,
Цирк на дудке завывает,
Душу в душу ударяет!
С нежным личиком испанки
И цветами в волосах
Тут девочка, пресветлый ангел,
Виясь, плясала вальс-казак.
Она среди густого пара
Стоит, как белая гагара,

То с гитарой у плеча
Реет, ноги волоча.
То вдруг присвистнет, одинокая,
Совьется маленьким ужом,
И вновь несется, нежно охая, —
Прелестный образ и почти что нагишом!
Но вот одежды беспокойство
Вкруг тела складками легло.
Хотя напрасно!
Членов нежное устройство
На всех впечатление произвело.

Толпа встает. Все дышат, как сапожники,
Во рту слюны навар кудрявый.
Иные, даже самые безбожники,
Полнь таинственной отравой.
Другие же, суя табак в пустую трубку,
Облизываясь, мысленно целуют ту
голубку,
Которая пред ними пролетела.
Пресветлая! Остаться не захотела!

Вой всюду в зале тут стоит,
Кромешным духом все полны.
Но музыка опять гремит,
И все опять удивлены.
Лошадь белая выходит,
Бледным личиком вертя,
И на ней при всем народе
Сидит полновесное дитя.
Вот, маша руками враз,
Дитя, смеясь, сидит анфас,
И вдруг, взмахнув ноги обмылком,
Дитя сидит к коню затылком.
А конь, как стражник, опустив
Высокий лоб с большим пером,
По кругу носится, спесив,
Поставив ноги под углом.

Тут опять всеобщее изумленье,
И похвала, и одобренье,

И, как зверок, кусает зависть
Тех, кто недавно улыбались
Иль равнодушными казались.

Мальчишка, тихо хулиганя,
Подружке на ухо шептал:
«Какая тут сегодня баня!»
И девку нежно обнимал.
Она же, к этому привыкнув,
Сидела тихая, не пикнув:
Закон имея естества,
Она желала сватовства.

Но вот опять арена скачет,
Ход представленья снова начат.
Два тоненькие мужика
Стоят, сгибаясь, у шеста.
Один, ладони поднимая,
На воздух медленно ползет,
То красный шарик выпускает,
То вниз, нарядный, упадет
И товарищу на плечи
Тонкой ножкою встает.
Потом они, смеясь опасно,
Ползут наверх единогласно
И там, обнявшись наугад,
На толстом воздухе стоят.
Они дыханьем укрепляют
Двойного тела равновесье,
Но через миг опять летают,
Себя по воздуху развеся.

Тут опять, восторга полон,
Зал трясется, как кликуша,
И стучит ногами в пол он,
Не щадя чужие уши.
Один старик интеллигентный
Сказал, другому говоря:
«Этот праздник разноцветный
Посещаю я не зря.
Здесь нахожу я греческие игры,

Красоток розовые икры,
Научных замечаю лошадей, —
Это не цирк, а прямо чародей!»
Другой, плешивый, как колено,
Сказал, что это несомненно.

На последний страшный номер
Вышла женщина-змея.
Она усердно ползала в соломе,
Ноги в кольца завия.
Проползав несколько минут,
Она совсем лишилась тела.
Кругом служители бегут:
— Где? Где?
Красотка улетела!

Тут пошел в народе ужас,
Все свои хватают шапки
И бросаются наружу,
Имея девок полные охапки.
«Воры! Воры!» — все кричали.
Но воры были невидимки:
Они в тот вечер угощали
Своих друзей на Ситном рынке.
Над ними небо было рыто
Веселой руганью двойной,
И жизнь трещала, как корыто,
Летая книзу головой.

1928

ЛИЦО КОНЯ

Животные не спят. Они во тьме ночной
Стоят над миром каменной стеной.

Рогами гладкими шумит в соломе
Покатая коровы голова.
Раздвинув скулы вековые,
Ее притиснул каменистый лоб,

И вот косноязычные глаза
С трудом вращаются по кругу.

Лицо коня прекрасней и умней.
Он слышит говор листьев и камней.
Внимательный! Он знает крик звериный
И в ветхой роще рокот соловьиный.

И зная всё, кому расскажет он
Свои чудесные виденья?
Ночь глубока. На темный небосклон
Восходят звезд соединенья.
И конь стоит, как рыцарь на часах,
Играет ветер в легких волосах,
Глаза горят, как два огромных мира,
И грива стелется, как царская порфира.

И если б человек увидел
Лицо волшебное коня,
Он вырвал бы язык бессильный свой
И отдал бы коню. Поистине достоин
Иметь язык волшебный конь!

Мы услыхали бы слова.
Слова большие, словно яблоки. Густые,
Как мед или крутое молоко.
Слова, которые вонзаются, как пламя,
И, в душу залетев, как в хижину огонь,
Убогое убранство освещают.
Слова, которые не умирают
И о которых песни мы поем.

Но вот конюшня опустела,
Деревья тоже разошлись,
Скупое утро горы спеленало,
Поля открыло для работ.
И лошадь в клетке из оглобель,
Повозку крытую влача,
Глядит покорными глазами
В таинственный и неподвижный мир.

1926

В ЖИЛИЩАХ НАШИХ

В жилищах наших
Мы тут живем умно и некрасиво.
Справляя жизнь, рождаясь от людей,
Мы забываем о деревьях.

Они поистине металла тяжелей
В зеленом блеске сомкнутых кудрей.

Иные, кроны поднимая к небесам,
Как бы в короны спрятали глаза,
И детских рук изломанная прелесть,
Одетая в кисейные листы,
Еще плодов удобных не наелась
И держит звонкие плоды.

Так сквозь века, селенья и сады
Мерцают нам удобные плоды.

Нам непонятна эта красота —
Деревьев влажное дыханье.
Вон дровосеки, позабыв топор,
Стоят и смотрят, тихи, молчаливы.
Кто знает, что́ подумали они,
Что́ вспомнили и что́ открыли,
Зачем, прижав к холодному стволу
Свое лицо, неудержимо плачут?

Вот мы нашли поляну молодую,
Мы встали в разные углы,
Мы стали тоньше. Головы растут,
И небо приближается навстречу.
Затвердевают мягкие тела,
Блаженно деревенеют вены,
И ног проросших больше не поднять,
Не опустить раскинутые руки.
Глаза закрылись, времена отпали,
И солнце ласково коснулось головы.

В ногах проходят влажные валы.
Уж влага поднимается, струится
И омывает лиственные лица:

Земля ласкает детище свое.
А вдалеке над городом дымится
Густое фонарей копье.

Был город осликом, четырехстенным
домом.
На двух колесах из камней
Он ехал в горизонте плотном,
Сухие трубы накреня.
Был светлый день. Пустые облака,
Как пузыри морщинистые, вылетали.
Шел ветер, огибая лес.
И мы стояли, тонкие деревья,
В бесцветной пустоте небес.

1926

ПРОГУЛКА

У животных нет названья.
Кто им зваться повелел?
Равномерное страданье —
Их невидимый удел.
Бык, беседуя с природой,
Удаляется в луга.
Над прекрасными глазами
Светят белые рога.
Речка девочкой невзрачной
Притаилась между трав,
То смеется, то рыдает,
Ноги в землю закопав.
Что же плачет? Что тоскует?
Отчего она больна?
Вся природа улыбнулась,
Как высокая тюрьма.
Каждый маленький цветочек
Машет маленькой рукой.
Бык седые слезы точит,
Ходит пышный, чуть живой.
А на воздухе пустынном
Птица легкая кружится,

Ради песенки старинной
Нежным горлышком трудится.
Перед ней сияют воды,
Лес качается, велик,
И смеется вся природа,
Умирая каждый миг.

1929

ЗМЕИ

Лес качается, прохладен,
Тут же разные цветы,
И тела блестящих гадин
Меж камнями завиты.
Солнце, жаркое, простое,
Льет на них свое тепло.
Меж камней тела устроя,
Змеи гладки, как стекло.
Прошумит ли сверху птица
Или жук провоет смело,
Змеи спят, запрятав лица
В складках жареного тела.
И загадочны, и бедны,
Спят они, открывши рот,
А вверху едва заметно
Время в воздухе плывет.
Год проходит, два проходит,
Три проходит. Наконец
Человек тела находит —
Сна тяжелый образец.
Для чего они? Откуда?
Оправдать ли их умом?
Но прекрасных тварей груда
Спит, разбросана кругом.
И уйдет мудрец, задумчив,
И живет, как нелюдим,
И природа, вмиг наскучив,
Как тюрьма, стоит над ним.

1929

ИСКУШЕНИЕ

Смерть приходит к человеку,
Говорит ему: «Хозяин,
Ты походишь на калеку,
Насекомыми кусаем.
Брось житье, иди за мною,
У меня во гробе тихо.
Белым саваном укрою
Всех от мала до велика.
Не грусти, что будет яма,
Что с тобой умрет наука:
Поле выпашется само,
Рожь поднимется без плуга.
Солнце в полдень будет жгучим,
Ближе к вечеру прохладным.
Ты же, опытом научен,
Будешь белым и могучим
С медным крестиком квадратным
Спать во гробе аккуратном».

— «Смерть, хозяина не трогай, —
Отвечает ей мужик. —
Ради старости убогой
Пощади меня на миг.
Дай мне малую отсрочку,
Отпусти меня. А там
Я единственную дочку
За труды тебе отдам».

Смерть не плачет, не смеется,
В руки девицу берет
И как полымя несется,
И трава под нею гнется
От избушки до ворот.

Холмик вó поле стоит,
Дева в холмике шумит:
«Тяжело лежать во гробе,
Почернели ручки обе,
Стали волосы как пыль,
Из грудей растет ковыль.

Тяжело лежать в могиле,
Губки тоненькие сгнили,
Вместо глазок — два кружка,
Нету милого дружка!»

Смерть над холмиком летает
И хохочет, и грустит,
Из ружья в него стреляет
И, склоняясь, говорит:
«Ну, малютка, полно врать,
Полно глотку в гробе драть!
Мир над миром существует,
Вылезай из гроба прочь!
Слышишь, ветер в поле дует,
Наступает снова ночь.
Караваны сонных звезд
Пролетели, пронеслись.
Кончен твой подземный пост,
Ну, попробуй, поднимись!»

Дева ручками взмахнула,
Не поверила ушам,
Доску вышибла, вспрыгнула,
Хлоп! И лопнула по швам.

И течет, течет бедняжка
В виде маленьких кишок.
Где была ее рубашка,
Там остался порошок.
Изо всех отверстий тела
Червяки глядят несмело,
Вроде маленьких малют
Жидкость розовую пьют.

Была дева — стали щи.
Смех, не смейся, подожди!
Солнце встанет, глина треснет,
Мигом девица воскреснет.
Из берцовой из кости
Будет деревце расти,
Будет деревце шуметь,
Про девицу песни петь,

Про девицу песни петь,
Сладким голосом звенеть:
«Баю, баюшки, баю,
Баю девочку мою!
Ветер в поле улетел,
Месяц в небе побелел.
Мужики по избам спят,
У них много есть котят.
А у каждого кота
Были красны ворота,
Шубки синеньки у них,
Все в сапожках золотых,
Все в сапожках золотых,
Очень, очень дорогих...»

1929

МЕРКНУТ ЗНАКИ ЗОДИАКА

Меркнут знаки Зодиака
Над просторами полей.
Спит животное Собака,
Дремлет птица Воробей.
Толстозадые русалки
Улетают прямо в небо,
Руки крепкие, как палки,
Груди круглые, как репа.
Ведьма, сев на треугольник,
Превращается в дымок.
С лешачихами покойник
Стройно пляшет кекуок.
Вслед за ними бледным хором
Ловят Муху колдуны,
И стоит над косогором
Неподвижный лик луны.

Меркнут знаки Зодиака
Над постройками села,
Спит животное Собака,
Дремлет рыба Камбала.
Колотушка тук-тук-тук,
Спит животное Паук,

Спит Корова, Муха спит,
Над землей луна висит.
Над землей большая плошка
Опрокинутой воды.
Леший вытащил бревешко
Из мохнатой бороды.
Из-за облака сирена
Ножку выставила вниз,
Людоед у джентльмена
Неприличное отгрыз.
Всё смешалось в общем танце,
И летят во все концы
Гамадрилы и британцы,
Ведьмы, блохи, мертвецы.

Кандидат былых столетий,
Полководец новых лет,
Разум мой! Уродцы эти —
Только вымысел и бред.
Только вымысел, мечтанье,
Сонной мысли колыханье,
Безутешное страданье, —
То, чего на свете нет.

Высока земли обитель.
Поздно, поздно. Спать пора!
Разум, бедный мой воитель,
Ты заснул бы до утра.
Что сомненья? Что тревоги?
День прошел, и мы с тобой —
Полузвери, полубоги —
Засыпаем на пороге
Новой жизни молодой.

Колотушка тук-тук-тук,
Спит животное Паук,
Спит Корова, Муха спит,
Над землей луна висит.
Над землей большая плошка
Опрокинутой воды.
Спит растение Картошка.
Засыпай скорей и ты!

1929

ИСКУССТВО

Дерево растет, напоминая
Естественную деревянную колонну.
От нее расходятся члены,
Одетые в круглые листья.
Собранье таких деревьев
Образует лес, дубраву.
Но определенье леса неточно,
Если указать на одно формальное строенье.

Толстое тело коровы,
Поставленное на четыре окончанья,
Увенчанное храмовидной головою
И двумя рогами (словно луна в первой
четверти),
Тоже будет непонятно,
Также будет непостижимо,
Если забудем о его значенье
На карте живущих всего мира.

Дом, деревянная постройка,
Составленная как кладбище деревьев,
Сложенная как шалаш из трупов,
Словно беседка из мертвецов, —
Кому он из смертных понятен,
Кому из живущих доступен,
Если забудем человека,
Кто строил его и рубил?

Человек, владыка планеты,
Государь деревянного леса,
Император коровьего мяса,
Саваоф двухэтажного дома, —
Он и планетою правит,
Он и леса вырубает,
Он и корову зарежет,
А вымолвить слова не может.

Но я, однообразный человек,
Взял в рот длинную сияющую дудку,

Дул, и, подчиненные дыханию,
Слова вылетали в мир, становясь
предметами.
Корова мне кашу варила,
Дерево сказку читало,
А мертвые домики мира
Прыгали, словно живые.

1930

ВОПРОСЫ К МОРЮ

Хочу у моря я спросить,
Для чего оно кипит?
Пук травы зачем висит,
Между волн его сокрыт?
Это множество воды
Очень дух смущает мой.
Лучше б выросли сады
Там, где слышен моря вой.
Лучше б тут стояли хаты
И полезные растенья,
Звери бегали рогаты
Для крестьян увеселенья.
Лучше бы руду копать
Там, где моря видим гладь,
Сани делать, башни строить,
Волка пулей беспокоить,
Разводить медикаменты,
Кукурузу молотить,
Деве розовые ленты
В виде опыта дарить.
В хороводе бы скакать,
Змея под вечер пускать
И дневные впечатленья
В свою книжечку писать.

1930

ВРЕМЯ

1

Ираклий, Тихон, Лев, Фома
Сидели важно вкруг стола.
Над ними дедовский фонарь
Висел, роняя свет на пир.
Фонарь был пышный и старинный,
Но в виде женщины чугунной.
Та женщина висела на цепях,
Ей в спину наливали масло,
Дабы лампада не погасла
И не остаться всем впотьмах.

2

Благообразная вокруг
Сияла комната для пира.
У стен — с провизией сундук,
Там — изображение кумира
Из дорогого алебастра.
В горшке цвела большая астра.
И несколько стульев прекрасных
Вокруг стояли стен однообразных.

3

Так в этой комнате жилой
Сидело четверо пирующих гостей.
Иногда они вскакивали,
Хватались за ножки своих бокалов
И пронзительно кричали «Виват!».
Светила лампа в двести ватт.
Ираклий был лесной солдат,
Имел ружья огромную тетерю,
В тетере был большой курок.
Нажав его перстом, я верю,
Животных бить возможно впрок.

4

Ираклий говорил, изображая
Собой могучую фигуру:
«Я женщин с детства обожаю.
Они представляют собой роскошную клавиатуру,
Из которой можно извлекать аккорды».
Со стен смотрели морды
Животных, убитых во время перестрелки.
Часы двигали свои стрелки.
И, не сдержав разбег ума,
Сказал задумчивый Фома:
«Да, женщины значение огромно,
Я в том согласен безусловно,
Но мысль о времени сильнее женщин. Да!
Споем песенку о времени, которую мы поем всегда».

5

Песенка о времени

Легкий ток из чаши А
Тихо льется в чашу Бе,
Вяжет дева кружева,
Пляшут звезды на трубе.

Поворачивая ввысь
Андромеду и Коня,
Над землею поднялись
Кучи звездного огня.

Год за годом, день за днем
Звездным мы горим огнем,
Плачем мы, созвездий дети,
Тянем руки к Андромеде

И уходим навсегда,
Увидавши, как в трубе
Легкий ток из чаши А
Тихо льется в чашу Бе.

6

Тогда ударил вновь бокал,
И разом все «Виват!» вскричали,
И им в ответ, устроив бал,
Часы пять криков прокричали.
Как будто маленький собор,
Висящий крепко на гвозде,
Часы кричали с давних пор,
Как надо двигаться звезде.
Бездонный времени сундук,
Часы — творенье адских рук!
И всё это прекрасно понимая,
Сказал Фома, родиться мысли помогая:
«Я предложил бы истребить часы!»
И, закрутив усы,
Он посмотрел на всех спокойным глазом.
Блестела женщина своим чугунным тазом.

7

А если бы они взглянули за окно,
Они б увидели великое пятно
Вечернего светила.
Растенья там росли, как дудки,
Цветы качались выше плеч,
И в каждой травке, как в желудке,
Возможно свету было течь.
Мясных растений городок
Пересекал воды поток.
И, обнаженные, слагались
В ладошки длинные листы,
И жилы нижние купались
Среди химической воды.

8

И, с отвращеньем посмотрев в окошко,
Сказал Фома: «Ни клюква, ни морошка,
Ни жук, ни мельница, ни пташка,
Ни женщины большая ляжка
Меня не радуют. Имейте все в виду:
Часы стучат, и я сейчас уйду».

9

Тогда встает безмолвный Лев,
Ружье берет, остервенев,
Влагает в дуло два заряда,
Всыпает порох роковой
И в середину циферблата
Стреляет крепкою рукой.
И все в дыму стоят, как боги,
И шепчут, грозные: «Виват!»
И женщины железной ноги
Горят над ними в двести ватт.
И все растенья припадают
К стеклу, похожему на клей,
И с удивленьем наблюдают
Могилу разума людей.

1933

ИСПЫТАНИЕ ВОЛИ

Агафонов

Прошу садиться, выпить чаю.
У нас варенья полон чан.

Корнеев

Среди посуд я различаю
Прекрасный чайник англичан.

Агафонов

Твой глаз, Корнеев, навострился,
Ты видишь Англии фарфор.
Он в нашей келье появился
Еще совсем с недавних пор.
Мне подарил его мой друг,
Открыв с посудою сундук.

Корнеев

Невероятна речь твоя,
Приятель сердца Агафонов!
Ужель могу поверить я:
Предмет, достойный Пантеонов,
Роскошный Англии призра́к,

Который видом тешит зрак,
Жжет душу, разум просветляет,
Больных к художеству склоняет,
Засохшим сердце веселит,
А сам сияет и горит, —
Ужель такой предмет высокий,
Достойный лучшего венца,
Отныне в хижине убогой
Травою лечит мудреца?

Агафонов

Да, это правда.

Корнеев

Боже правый!
Предмет, достойный лучших мест,
Стоит, наполненный отравой,
Где Агафонов кашу ест!
Подумай только: среди ручек,
Которы тонки, как зефир,
Он мог бы жить в условьях лучших
И почитаться как кумир.
Властитель Англии туманной,
Его поставивши в углу,
Сидел бы весь благоуханный,
Шепча посуде похвалу.
Наследник пышною особой
При нем ходил бы, сняв сапог,
И в виде милости особой
Едва за носик трогать мог.
И вдруг такие небылицы!
В простую хижину упав,
Сей чайник носит нам водицы,
Хотя не князь ты и не граф.

Агафонов

Среди различных лицедеев
Я слышал множество похвал,
Но от тебя, мой друг Корнеев,
Таких речей не ожидал.
Ты судишь, право, как лунатик,
Ты весь от страсти изнемог,
И жила вздулась, как канатик,

Обезобразив твой висок.
Ужели чайник есть причина?
Возьми его! На что он мне!

Корнеев

Благодарю тебя, мужчина.
Теперь спокоен я вполне.
Прощай. Я весь еще рыдаю.

(Уходит.)

Агафонов

Я духом в воздухе летаю,
Я телом в келейке лежу
И чайник снова в келью приглашу.

Корнеев

(входит)

Возьми обратно этот чайник,
Он ненавистен мне навек:
Я был премудрости начальник,
А стал пропащий человек.

Агафонов

(обнимая его)

Хвала тебе, мой друг Корнеев,
Ты чайник духом победил.
Итак, бери его скорее:
Я дарю тебе его изо всех сил.

1931

ПОЭМА ДОЖДЯ

Волк

Змея почтенная лесная,
Зачем ползешь, сама не зная,
Куда идти, зачем спешить?
Ужель спеша возможно жить?

Змея

Премудрый волк, уму непостижим
Тот мир, который неподвижен,

И так же просто мы бежим,
Как вылетает дым из хижин.

Волк

Понять нетрудно твой ответ.
Куда как слаб рассудок змея!
Ты от себя бежишь, мой свет,
В движенье правду разумея.

Змея

Я вижу, ты идеалист.

Волк

Гляди: спадает с древа лист.
Кукушка, песенку построя
На двух тонах (дитя простое!),
Поет внутри высоких рощ.
При солнце льется ясный дождь,
Течет вода две-три минуты,
Крестьяне бегают разуты,
Потом опять сияет свет,
Дождь миновал, и капель нет.
Открой мне смысл картины этой.

Змея

Иди, с волками побеседуй,
Они дадут тебе отчет,
Зачем вода с небес течет.

Волк

Отлично. Я пойду к волкам.
Течет вода по их бокам.
Вода, как матушка, поет,
Когда на нас тихонько льет.
Природа в стройном сарафане,
Главою в солнце упершись,
Весь день играет на органе.
Мы называем это: жизнь.
Мы называем это: дождь,
По лужам шлепанье малюток,
И шум лесов, и пляски рощ,
И в роще хохот незабудок.
Или, когда угрюм орган,

На небе слышен барабан,
И войско туч пудов на двести
Лежит вверху на каждом месте,
Когда могучих вод поток
Сшибает с ног лесного зверя, —
Самим себе еще не веря,
Мы называем это: бог.

1931

ОТДЫХ

Вот на площади квадратной
Маслодельня, белый дом!
Бык гуляет аккуратный,
Чуть качая животом.
Дремлет кот на белом стуле,
Под окошком вьются гули,
Бродит тетя Мариули,
Звонко хлопая ведром.

Сепаратор, бог чухонский,
Масла розовый король!
Укроти свой топот конский,
Полюбить тебя позволь.
Дай мне два кувшина сливок,
Дай сметаны полведра,
Чтобы пел я возле ивок
Вплоть до самого утра!

Маслодельни легкий стук,
Масла маленький сундук,
Что стучишь ты возле пашен,
Там, где бык гуляет, важен;
Что играешь возле ив,
Стенку набок наклонив?

Спой мне, тетя Мариули,
Песню легкую, как сон!
Все животные заснули,
Месяц в небо унесен.
Безобразный, конопатый,

Словно толстый херувим,
Дремлет дядя Волохатый
Перед домиком твоим.
Всё спокойно. Вечер с нами!
Лишь на улице глухой
Слышу: бьется под ногами
Заглушенный голос мой.

1930

ПТИЦЫ

Колыхаясь еле-еле
Всем ветрам наперерез,
Птицы легкие висели,
Как лампады средь небес.

Их глаза, как телескопики,
Смотрели прямо вниз.
Люди ползали, как клопики,
Источники вились.

Мышь бежала возле пашен,
Птица падала на мышь.
Трупик, вмиг обезображен,
Убираем был в камыш.

В камышах сидела птица,
Мышку пальцами рвала,
Изо рта ее водица
Струйкой на землю текла.

И, сдвигая телескопики
Своих потухших глаз,
Птица думала. На холмике
Катился тарантас.

Тарантас бежал по полю,
В тарантасе я сидел
И своих несчастий долю
Тоже на́ сердце имел.

1933

ЧЕЛОВЕК В ВОДЕ

Формы тела и ума
Кто рубил и кто ковал?
Там, где море-каурма,
Словно идол, ходит вал.

Словно череп, безволос,
Как червяк подземный, бел,
Человек, расправив хвост,
Перед волнами сидел.

Разворачивая ладони,
Словно белые блины,
Он качался на попоне
Всем хребтом своей спины.

Каждый маленький сустав
Был распарен и раздут.
Море телом исхлестав,
Человек купался тут.

Море телом просверлив,
Человек нырял на дно.
Словно идол, шел прилив,
Заслоняя дна пятно.

Человек, как гусь, как рак,
Носом радостно трубя,
Покидая дна овраг,
Шел, бородку теребя.

Он размахивал хвостом,
Он притоптывал ногой
И кружился колесом,
Безволосый и нагой.

А на жареной спине,
Над безумцем хохоча,
Инфузории одне
Ели кожу лихача.

1930

ЗВЕЗДЫ, РОЗЫ И КВАДРАТЫ

Звезды, розы и квадраты,
Стрелы северного сиянья,
Тонки, круглы, полосаты,
Осеняли наши зданья.
Осеняли наши домы,
Жезлы, кубки и колеса.
В чердаках визжали кошки,
Грохотали телескопы.
Но машина круглым глазом
В небе бегала напрасно:
Все квадраты улетали,
Исчезали жезлы, кубки.
Только маленькая птичка
Между солнцем и луною
В дырке облака сидела,
Во всё горло песню пела:
«Вы не вейтесь, звезды, розы,
Улетайте, жезлы, кубки, —
Между солнцем и луною
Бродит утро за горами!»

1930

ЦАРИЦА МУХ

Бьет крылом седой петух,
Ночь повсюду наступает.
Как звезда, царица мух
Над болотом пролетает.
Бьется крылышком отвесным
Остов тела, обнажен,
На груди пентакль чудесный
Весь в лучах изображен.
На груди пентакль печальный
Между двух прозрачных крыл,
Словно знак первоначальный
Неразгаданных могил.

Есть в болоте странный мох,
Тонок, розов, многоног,

Весь прозрачный, чуть живой,
Презираемый травой.
Сирота, чудесный житель
Удаленных бедных мест,
Это он сулит обитель
Мухе, реющей окрест.
Муха, вся стуча крылами,
Мускул грудки развернув,
Опускается кругами
На болота влажный туф.

Если ты, мечтой томим,
Знаешь слово Элоим,
Муху странную бери,
Муху в банку посади,
С банкой по полю ходи,
За приметами следи.
Если муха чуть шумит —
Под ногою медь лежит.
Если усиком ведет —
К серебру тебя зовет.
Если хлопает крылом —
Под ногами злата ком.

Тихо-тихо ночь ступает,
Слышен запах тополей.
Меркнет дух мой, замирает
Между сосен и полей.
Спят печальные болота,
Шевелятся корни трав.
На кладбище стонет кто-то,
Телом к холмику припав.
Кто-то стонет, кто-то плачет,
Льются звезды с высоты.
Вот уж мох вдали маячит.
Муха, муха, где же ты?

1930

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Где древней музыки фигуры,
Где с мертвым бой клавиатуры,
Где битва нот с безмолвием пространства —
Там не ищи, поэт, душе своей убранства.

Соединив безумие с умом,
Среди пустынных смыслов мы построим дом —
Училище миров, неведомых доселе.
Поэзия есть мысль, устроенная в теле.

Она течет, незримая, в воде —
Мы воду воспоем усердными трудами.
Она горит в полуночной звезде —
Звезда, как полымя, бушует перед нами.

Тревожный сон коров и беглый разум птиц
Пусть смотрят из твоих диковинных страниц,
Деревья пусть поют и страшным разговором
Пугает бык людей, тот самый бык, в котором
Заключено безмолвие миров,
Соединенных с нами крепкой связью.

Побит камнями и закидан грязью,
Будь терпелив. И помни каждый миг:
Коль музыки коснешься чутким ухом,
Разрушится твой дом и, ревностный к наукам,
Над нами посмеется ученик.

1932

ПОДВОДНЫЙ ГОРОД

Птицы плавают над морем.
Славен город Посейдон!
Мы машиной воду роем.
Славен город Посейдон!
На трубе Чимальпопока
Мы играем в окна мира:
Под волнами спит глубоко
Башен стройная порфира.

В страшном блеске орихалка
Город солнца и числа
Спит, и буря, как весталка, —
Буря волны принесла.

Море! Море! Морда гроба!
Вечной гибели закон!
Где легла твоя утроба,
Умер город Посейдон.
Чуден вид его и страшен:
Рыбой съедены до пят,
Из больших окошек башен
Люди длинные глядят.

Человек, носим волною,
Едет книзу головою.
Осьминог сосет ребенка,
Только влас висит коронка.
Рыба, пухлая, как мох,
Вкруг колонны ловит блох.
И над круглыми домами,
Над фигурами из бронзы,
Над могилами науки,
Пирамидами владыки —
Только море, только сон,
Только неба синий тон.

1930

ШКОЛА ЖУКОВ

Женщины

Мы, женщины, повелительницы котлов,
Изобретательницы каш,
Толкачихи мира вперед, —
Дни и ночи, дни и ночи,
Полные любовного трудолюбия,
Рождаем миру толстых красных младенцев.
Как корабли, уходящие в дальнее плавание,
Младенцы имеют полную оснастку органов:
Это теперь пригодится, это — потом,

Горы живого сложного мяса
Мы кладем на руки человечества.
Вы, плотники, ученые леса,
Вы, каменщики, строители хижин,
Вы, живописцы, покрывающие стены
Загадочными фигурками нашей истории,
Откройте младенцам глаза,
Развяжите уши
И толкните неопытный разум
На первые подвиги.

Плотники

Мы, плотники, ученые леса,
Математики жизни деревьев,
Построим младенцам огромные колыбели
На крепких дубовых ногах.
Великие мореходы
Получат кровати из клена:
Строенье кленовых волокон
Подобно морскому прибою.
Ткачам, инженерам одежды,
Прилична кровать из чинара:
Чинар — это дерево-ткач,
Плетущий себя самого.
Ясень,
На котором продолговатые облака,
Будет учителем в небо полетов.
Черные полосы лиственниц
Научат строительству рельсов.
Груша и липа —
Наставницы маленьких девочек.
Дерево моа похоже на мед —
Пчеловодов учитель.
Туя, крупы властелинша, —
Урок земледельцу.
Бурый орех, как земля, —
Землекопу помощник.
Учит каменья тесать
И дома возводить — палисандра.
Черное дерево — это металла двойник,
Свет кузнецам,
Воспитанье вождям и солдатам.

Живописцы

Мы нарисуем фигурки зверей.
И сцены из жизни растений.
Тело коровы,
Читающей курс Маслоделья,
Вместо Мадонны
Будет сиять над кроватью младенца.
Мы нарисуем пляску верблюдов
В могучих песках Самарканда,
Там, где зеркальная чаша
Бежит за движением солнца.
Мы нарисуем
Историю новых растений.
Дети простых садоводов,
Стали они словно бомбы.
Первое их пробуждение
Мы не забудем —
Час, когда в ножке листа
Обозначился мускул,
В теле картошки
Зачаток мозгов появился
И кукурузы глазок
Открылся на кончике стебля.
Злаков войну нарисуем мы,
Битву овса с воробьями —
День, когда птица упала,
Сраженная листьев ударом.
Вот что нарисуем мы
На наших картинах.
Тот, кто увидит их раз,
Не забудет до гроба.

Каменщики

Мы поставим на улице сто изваяний.
Из алебастра сделанные люди,
У которых отпилены черепные крышки,
Мозг исчез,
А в дыры стеклянных глазниц
Натекла дождевая вода,
И в ней купаются голуби, —
Сто безголовых героев

Будут стоять перед миром,
Держа в руках окончанья своих черепов.
Каменные шляпы
Сняли они со своих черепов,
Как бы приветствуя будущее!
Сто наблюдателей жизни животных
Согласились отдать свой мозг
И переложить его
В черепные коробки ослов,
Чтобы сияло
Животных разумное царство.
Вот добровольная
Расплата человечества
Со своими рабами!
Лучшая жертва,
Которую видели звезды!
Пусть же подобье героев
Отныне стоит перед миром младенцев.
Маленькие граждане мира
Будут играть
У каменных ног истуканов,
Будут бросать в черепа мудрецов
Гладкие камушки-гальки,
Бульканье вод будут слушать
И разговоры голубок,
В каменной пазухе мира
Жуков находить и кузнечиков.
Жуки с неподвижными крыльями,
Зародыши славных Сократов,
Катают хлебные шарики,
Чтобы сделаться умными.
Кузнечики — это часы насекомых,
Считают течение времени,
Сколько кому осталось
Свой ум развивать
И когда передать его детям.
Так, путешествуя
Из одного тела в другое,
Вырастает таинственный разум.
Время кузнечика и пространство жука —
Вот младенчество мира.

Женщины

Ваши слова достойны уважения,
Плотники, живописцы и каменщики!
Ныне заложена первая
Школа Жуков.

1931

ОТДЫХАЮЩИЕ КРЕСТЬЯНЕ

Толпа высоких мужиков
Сидела важно на бревне.
Обычай жизни был таков,
Досуги, милые вдвойне.
Царя ли свергнут, или разом
Скотину волк на поле съест,
Они сидят, гуторя басом,
Про то да се узнав окрест.

Иногда во тьме ночной
Приносят длинную гармошку,
Извлекают резкие продолжительные звуки
И на травке молодой
Скачут страшными прыжками,
Взявшись за руки, толпой.

Вот толпа несется, воет,
Слышен запах потной кожи,
Музыканты рожи строят,
На чертей весьма похожи.
В громе, давке, кувырканьи
«Эх, пошла! — кричат. — Наддай-ка!»
Реют бороды бараньи,
Стонет, воет балалайка.
«Эх, пошла!» И дым столбом,
От натуги бледны лица.
Многоногий пляшет ком,
Воет, стонет, веселится.

Но старцы сумрачной толпой
Сидят на бревнах меж домами,

И лунный свет, виясь столбами,
Висит над ними как живой.
Тогда, привязанные к хатам,
Они глядят на этот мир,
Обсуждают, что такое атом,
Каков над воздухом эфир.
И скажет кто-нибудь, печалясь,
Что мы, пожалуй, не цари,
Что наверху плывут, качаясь,
Миров иные кубари.
Гром мечут, искры составляют,
Живых растеньями питают,
А мы, приклеены к земле,
Сидим, как птенчики в дупле.

Тогда крестьяне, созерцая
Природы стройные холмы,
Сидят, задумчиво мерцая
Глазами страшной старины.
Иной жуков наловит в шапку,
Глядит, внимателен и тих,
Какие есть у тварей лапки,
Какие крылышки у них.
Иной первоначальный астроном
Слагает из бересты телескоп,
И ворон с каменным крылом
Стоит на крыше, словно поп.

А на вершинах Зодиака,
Где слышен музыки орган,
Двенадцать люстр плывут из мрака,
Составив круглый караван.
И мы под ними, как малютки,
Сидим, считая день за днем,
И, в кучу складывая сутки,
Весь месяц в люстру отдаем.

1933

БИТВА СЛОНОВ

Воин слова, по ночам
Петь пора твоим мечам!

На бессильные фигурки существительных
Кидаются лошади прилагательных,
Косматые всадники
Преследуют конницу глаголов,
И снаряды междометий
Рвутся над головами,
Как сигнальные ракеты.

Битва слов! Значений бой!
В башне Синтаксис — разбой.
Европа сознания
В пожаре восстания.
Невзирая на пушки врагов,
Стреляющие разбитыми буквами,
Боевые слоны подсознания
Вылезают и топчутся,
Словно исполинские малютки.

Но вот, с рождения не евши,
Они бросаются в таинственные бреши
И с человечьими фигурками в зубах
Счастливо поднимаются на задние ноги.
Слоны подсознания!
Боевые животные преисподней!
Они стоят, приветствуя веселым воем
Всё, что захвачено разбоем.

Маленькие глазки слонов
Наполнены смехом и радостью.
Сколько игрушек! Сколько хлопушек!
Пушки замолкли, крови покушав,
Синтаксис домики строит не те,
Мир в неуклюжей стоит красоте.
Деревьев отброшены старые правила,
На новую землю их битва направила.
Они разговаривают, пишут сочинения,
Весь мир неуклюжего полон значения!

Волк вместо разбитой морды
Приделал себе человечье лицо,
Вытащил флейту, играет без слов
Первую песню военных слонов.

Поэзия, сраженье проиграв,
Стоит в растерзанной короне.
Рушились башен столетних Монбланы,
Где цифры сияли, как будто полканы,
Где меч силлогизма горел и сверкал,
Проверенный чистым рассудком.
И что же? Сражение он проиграл
Во славу иным прибауткам!

Поэзия в великой муке
Ломает бешеные руки,
Клянет весь мир,
Себя зарезать хочет,
То, как безумная, хохочет,
То в поле бросится, то вдруг
Лежит в пыли, имея много мук.

На самом деле, как могло случиться,
Что пала древняя столица?
Весь мир к поэзии привык,
Всё было так понятно.
В порядке конница стояла,
На пушках цифры малевала,
И на знаменах слово Ум
Кивало всем, как добрый кум.
И вдруг какие-то слоны,
И всё перевернулось!
Поэзия начинает приглядываться,
Изучать движение новых фигур,
Она начинает понимать красоту неуклюжести,
Красоту слона, выброшенного преисподней.

Сраженье кончено. В пыли
Цветут растения земли,
И слон, рассудком приручаем,
Ест пироги и запивает чаем.

1933

ТОРЖЕСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Поэма

Пролог

Нехороший, но красивый,
Это кто глядит на нас?
То мужик неторопливый
Сквозь очки уставил глаз.
Белых житниц отделенья
Поднимались в отдаленье,
Сквозь окошко хлеб глядел,
В загородке конь сидел.
Тут природа вся валялась
В страшно диком беспорядке:
Кой-где дерево шаталось,
Там реки струилась прядка.
Тут стояли две-три хаты
Над безумным ручейком.
Идет медведь продолговатый
Как-то поздно вечерком.
А над ним, на небе тихом,
Безобразный и большой,
Журавель летает с гиком,
Потрясая головой.
Из клюва развивался свиток,
Где было сказано: «Убыток
Дают трехпольные труды».
Мужик гладил конец бороды.

1. Беседа о душе

Ночь на воздух вылетает,
В школе спят ученики.
Вдоль по хижинам сверкают
Маленькие ночники.
Крестьяне, храбростью дыша,
Собираются в кружок,
Обсуждают, где душа?
Или только порошок
Остается после смерти?
Или только газ вонючий?
Скворешниц розовые жерди
Поднялись над ними тучей.
Крестьяне мрачны и обуты
В большие валенки судьбы.
Сидят. Усы у них раздуты
На верху большой губы.
Также шапки выделялись
В виде толстых колпаков.
Собаки пышные валялись
Среди хозяйских сапогов.
Мужик суровый, словно туча,
Держал кувшинчик молока.
Сказал: «Природа меня мучит,
Превращая в старика.
Когда, паша семейную десятину,
Иду, подобен исполину, —
Гляжу-гляжу, а предо мной
Всё кто-то движется толпой».
— «Да, это правда. Дух животный, —
Сказал в ответ ему старик, —
Живет меж нами, как бесплотный
Жилец развалин дорогих.
Ныне, братцы, вся природа
Как развалина какая!
Животных уж не та порода
Живет меж нами, но другая».
— «Ты лжешь, старик! — в ответ ему
Сказал стоящий тут солдат. —
Таких речей я не пойму,
Их только глупый слушать рад.

Поверь, что я во многих битвах
На скакуне носился, лих,
Но никогда не знал молитвы
И страшных ужасов твоих.
Уверяю вас, друзья:
Природа ничего не понимает
И ей довериться нельзя».

— «Кто ее знает? —
Сказал пастух, лукаво помолчав. —
С детства я — коров водитель,
Но скажу вам, осерчав:
Вся природа есть обитель.
Вы, мужики, живя в миру,
Любите свою избу,
Я ж природы конуру
Вместо дома изберу.
Некоторые движения коровы
Для меня ясней, чем ваши.
Вы ж, с рожденья нездоровы,
Не понимаете простого даже».
— «Однако ты профан! —
Прервал его другой крестьянин. —
Прости, что я тебя прервал,
Но мы с тобой бороться станем.
Скажи по истине, по духу,
Живет ли мертвецов душа?»

И все замолкли. Лишь старуха
Сидела, спицами кружа.
Деревня, хлев напоминая,
Вокруг беседы поднималась:
Там угол высился сарая,
Тут чье-то дерево валялось.
Сквозь бревна тучные избенок
Мерцали панцири заслонок,
Светились печи, как кубы,
С квадратным выступом трубы.
Шесты таинственные зыбок
Хрипели, как пустая кость.
Младенцы спали без улыбок,
Блохами съедены насквозь.

Иной мужик, согнувшись в печке,
Свирепо мылся из ведерка,
Другой коню чинил уздечки,
А третий кремнем в камень щелкал.
«Мужик, иди спать!» —
Баба из окна кричала.
И вправду, ночь, как будто мать,
Деревню ветерком качала.

«Так! — сказал пастух лениво. —
Вон средь кладбища могил
Их душа плывет красиво,
Описать же нету сил.
Петел, сидя на березе,
Уж двенадцать раз пропел.
Скоро, ножки отморозя,
Он вспорхнул и улетел.
А душа пресветлой ручкой
Машет нам издалека.
Вся она как будто тучка,
Платье вроде как река.
Своими нежными глазами
Всё глядит она, глядит,
А тело, съедено червями,
В черном домике лежит.
„Люди, — плачет, — что вы, люди!
Я такая же, как вы,
Только меньше стали груди,
Да прическа из травы.
Меня, милую, берите,
Скучно мне лежать одной.
Хоть со мной поговорите,
Поговорите хоть со мной!“»

— «Это бесконечно печально! —
Сказал старик, закуривая трубку. —
И я встречал ее случайно,
Нашу милую голубку.
Она, как столбичек, плыла
С могилки прямо на меня
И, верю, на тот свет звала,
Тонкой ручкою маня.

Только я вбежал во двор,
Она на столбик налетела
И сгинула. Такое дело!»

— «Ах, вот о чем разговор! —
Воскликнул радостно солдат. —
Тут суевериям большой простор,
Но ты, старик, возьми назад
Свои слова. Послушайте, крестьяне,
Мое простое объясненье.
Вы знаете, я был на поле брани,
Носился, лих, под пули пенье.
Теперь же я скажу иначе,
Предмета нашего касаясь:
Частицы фосфора маячат,
Из могилы испаряясь.
Влекомый воздуха теченьем,
Столбик фосфора несется
Повсюду, но за исключеньем
Того случая, когда о твердое
разобьется.
Видите, как всё это просто!»

Крестьяне сумрачно замолкли,
Подбородки стали круче.
Скворешниц розовых оглобли
Поднялись над ними тучей.
Догорали ночники,
В школе спали ученики.
Одна учительница тихо
Смотрела в глубь седых полей,
Где ночь плясала, как шутиха,
Где плавал запах тополей,
Где смутные тела животных
Сидели, наполняя хлев,
И разговор вели свободный,
Душой природы овладев.

2. Страдания животных

Смутные тела животных
Сидели, наполняя хлев,
И разговор вели свободный,
Душой природы овладев.

«Едва могу себя понять, —
Молвил бык, смотря в окно. —
На мне сознанья есть печать,
Но сердцем я старик давно.
Как понять мое сомненье?
Как унять мою тревогу?
Кажется, без потрясенья
День прошел, и слава богу!
Однако тут не всё так просто.
На мне печаль как бы хомут.
На дно коровьего погоста,
Как видно, скоро повезут.
О стон гробовый!
Вопль унылый!
Там даже не построены могилы:
Корова мертвая наброшена
На кости рваные овечек;
Подале, осердясь на коршуна,
Собака чей-то труп калечит.
Кой-где копыто, дотлевая,
Дает питание растенью,
И череп сорванный седлает
Червяк, сопутствуя гниенью.
Частицы шкурки и состав орбиты
Тут же всё лежат-лежат,
Лишь капельки росы, налиты
На них, сияют и дрожат».

Ответил конь:
«Смерти бледная подкова
Просвещенным не страшна.
Жизни горькая основа
Смертным более нужна.
В моем черепе продолговатом
Мозг лежит, как длинный студень.

В своем домике покатом
Он совсем не жалкий трутень.
Люди! Вы напрасно думаете,
Что я мыслить не умею,
Если палкой меня дуете,
Нацепив шлею на шею.
Мужик, меня ногами обхватив,
Скачет, страшно дерясь кнутом,
И я скачу, хоть некрасив,
Хватая воздух жадным ртом.
Кругом природа погибает,
Мир качается, убог,
Цветы, плача, умирают,
Сметены ударом ног.
Иной, почувствовав ушиб,
Закроет глазки и приляжет,
А на спине моей мужик,
Как страшный бог, руками и ногами
машет!
Когда же, в стойло заключен,
Стою, устал и удручен,
Сознанья бледное окно
Мне открывается давно.
И вот, от боли раскорячен,
Я слышу: воют небеса.
То зверь трепещет, предназначен
Вращать систему колеса.
Молю, откройте, откройте, друзья,
Ужели все люди над нами князья?»

Конь стихнул. Всё окаменело,
Охвачено сознаньем грубым.
Животных составное тело
Имело сходство с бедным трупом.
Фонарь, наполнен керосином,
Качал страдальческим огнем,
Таким дрожащим и старинным,
Что всё сливал с небытием.
Как дети хмурые страданья,
Толпой теснилися воспоминанья
В мозгу настойчивых животных,
И раскололся мир двойной,

И за обломком тканей плотных
Простор открылся голубой.

«Вижу я погост унылый, —
Молвил бык, сияя взором, —
Там на дне сырой могилы
Кто-то спит за косогором.
Кто он, жалкий, весь в коростах,
Полусъеденный, забытый,
Житель бедного погоста,
Грязным венчиком покрытый?
Вкруг него томятся ночи,
Руки бледные закинув,
Вкруг него цветы бормочут
В погребальных паутинах.
Вкруг него, невидны людям,
Но нетленны, как дубы,
Возвышаются умные свидетели
его жизни —
Доски Судьбы.[1]
И все читают стройными глазами
Домыслы странного трупа,
И мир животный с небесами
Тут примирен прекрасно-глупо.
И сотни-сотни лет пройдут,
И внуки наши будут хилы,
Но и они покой найдут
На берегах такой могилы.
Так человек, отпав от века,
Зарытый в новгородский ил,
Прекрасный образ человека
В душе природы заронил».

Не в силах верить, все молчали.
Конь грезил, выпятив губу.
И ночь плясала, как в начале,
Шутихой с крыши на трубу.
И вдруг упала. Грянул свет,

---

[1] Произведение В. Хлебникова. Могила поэта в Новгородской губернии.

И шар поднялся величавый,
И птицы пели над дубравой —
Ночных свидетели бесед.

3. Кулак, владыка батраков

Птицы пели над дубравой,
Ночных свидетели бесед,
И луч звезды кидал на травы
Первоначальной жизни свет,
И над высокою деревней,
Еще превратна и темна,
Опять в своей короне древней
Вставала русская луна.

Монеты с головами королей
Храня в тяжелых сундуках,
Кулак гнездился средь людей,
Всегда испытывая страх.
И рядом с ним гнездились боги
В своих задумчивых божницах.
Лохматы, немощны, двуноги,
В коронах, латах, власяницах,
С большими необыкновенными бородами,
Они глядели из-за стекол
Там, где кулак, крестясь руками,
Поклоны медленные кокал.

Кулак моленью предается.
Пес лает. Парка сторожит.
А время кое-как несется
И вниз по берегу бежит.
Природа жалкий сок пускает,
Растенья полны тишиной.
Лениво злак произрастает,
Короткий, немощный, слепой.
Земля, нуждаясь в крепкой соли,
Кричит ему: «Кулак, доколе?»
Но чем земля ни угрожай,
Кулак загубит урожай.
Ему приятно истребленье

Того, что будущего знаки.
Итак, предавшись утомленью,
Едва стоят, скучая, злаки.

Кулак, владыка батраков,
Сидел, богатством возвеличен,
И мир его, эгоцентричен,
Был выше многих облаков.
А ночь. крылами шевеля,
Как ведьма, бегает по крыше,
То ветер пустит на поля,
То притаится и не дышит,
То, ставню выдернув из окон,
Кричит: «Вставай, проклятый ворон!
Идет над миром ураган,
Держи его, хватай руками,
Расставляй проволочные заграждения,
Иначе вместе с потрохами
Умрешь и будешь без движенья!

Сквозь битвы, громы и труды
Я вижу ток большой воды,
Днепр виден мне, в бетон зашитый,
Огнями залитый Кавказ,
Железный конь привозит жито,
Чугунный вол привозит квас.
Рычаг плугов и копья борон
Вздымают почву сотен лет,
И ты пред нею, старый ворон,
Отныне призван на ответ!»

Кулак ревет, на лавке сидя,
Скребет ногтями черный бок,
И лает пес, беду предвидя,
Перед толпою многих ног.
И слышен голос был солдата,
И скрип дверей, и через час
Одна фигура, бородата,
Уже отъехала от нас.
Изгнанник мира и скупец
Сидел и слушал бубенец,
С избою мысленно прощался,

Как пьяный на возу качался.
И ночь, строительница дня,
Уже решительно и смело,
Как ведьма, с крыши полетела,
Телегу в пропасть наклоня.

4. Битва с предками

Ночь гремела в бочки, в банки,
В дупла сосен, в дудки бури,
Ночь под маской истуканки
Выжгла ляписом лазури.
Ночь гремела самодуркой,
Всё к чертям летело, к черту.
Волк, ударен штукатуркой,
Несся, плача, пряча морду.
Вепрь, муха, всё собранье
Птиц, повыдернуто с сосен,
«Ах, — кричало, — наказанье!
Этот ветер нам несносен!»
В это время, грустно воя,
Шел медведь, слезой накапав.
Он лицо свое больное
Нес на вытянутых лапах.
«Ночь! — кричал. — Иди ты к шуту,
Отвяжись ты, Вельзевулша!»
Ночь кричала: «Буду! Буду!»
Ну и ветер тоже дул же!
Так, скажу, проклятый ветер
Дул, как будто рвался порох!
Вот каков был русский север,
Где деревья без подпорок.

Солдат

Слышу бури страшный шум,
Слышу ветра дикий вой,
Но привычный знает ум:
Тут не черт, не домовой,
Тут не демон, не русалка,
Не бирюк, не лешачиха,
Но простых деревьев свалка.
После бури будет тихо.

Предки

Это вовсе неизвестно,
Хотя мысль твоя понятна.
Посмотри: под нами бездна,
Облаков несутся пятна.
Только ты, дитя рассудка,
От рожденья нездоров,
Полагаешь — это шутка,
Столкновения ветров.

Солдат

Предки, полно вам, отстаньте!
Вы, проклятые кроты,
Землю трогать перестаньте,
Открывая ваши рты.
Непонятным наказаньем
Вы готовы мне грозить.
Объяснитесь на прощанье,
Что желаете просить?

Предки

Предки мы, и предки вам,
Тем, которым столько дел.
Мы столетье пополам
Рассекаем и предел
Представляем вашим бредням,
Предпочтенье даем средним —
Тем, которые рожают,
Тем, которые поют,
Никому не угрожают,
Ничего не создают.

Солдат

Предки, как же? Ваша глупость
Невозможна, хуже смерти!
Ваша правда обернулась
В косных неучей усердье!
Ночью, лежа на кровати,
Вижу голую жену, —
Вот она сидит без платья,
Поднимаясь в вышину.
Вся пропахла молоком...
Предки, разве правда в этом?

Нет, клянуся молотком,
Я желаю быть одетым!

П р е д к и

Ты дурак, жена не дура,
Но природы лишь сосуд.
Велика ее фигура,
Два младенца грудь сосут.
Одного под зад ладонью
Держит крепко, а другой,
Наполняя воздух вонью,
На груди лежит дугой.

С о л д а т

Хорошо, но как понять,
Чем приятна эта мать?

П р е д к и

Объясняем: женщин брюхо,
Очень сложное на взгляд,
Состоит жилищем духа
Девять месяцев подряд.
Там младенец в позе Будды
Получает форму тела.
Голова его раздута,
Чтобы мысль в ней кипела,
Чтобы пуповины провод,
Крепко вставленный в пупок,
Словно вытянутый хобот,
Не мешал развитью ног.

С о л д а т

Предки, всё это понятно,
Но, однако, важно знать,
Не пойдем ли мы обратно,
Если будем лишь рожать?

П р е д к и

Дурень ты и старый мерин,
Недоносок рыжей клячи!
Твой рассудок, непомерен,
Верно, выдуман иначе.

Ветры, бейте в крепкий молот,
Сосны, бейте прямо в печень,
Чтобы, надвое расколот,
Был бродяга изувечен!

Солдат

Прочь! Молчать! Довольно! Или
Уничтожу всех на месте!
Мертвецам — лежать в могиле,
Марш в могилу и не лезьте!
Пусть попы над вами стонут,
Пусть над вами воют черти,
Я же, предками нетронут,
Буду жить до самой смерти!

В это время дуб, встревожен,
Раскололся. В это время
Волк пронесся, огорошен,
Защищая лапой темя.
Вепрь, муха, целый храмик
Муравьев, большая выдра —
Всё летело вверх ногами,
О деревья шкуру выдрав.
Лишь солдат, закрытый шлемом,
Застегнув свою шинель,
Возвышался, словно демон
Невоспитанных земель.
И полуночная птица,
Обитательница трав,
Принесла ему водицы,
Ветку дерева сломав.

5. Начало науки

Когда полу́ночная птица
Летала важно между трав,
Крестьян задумчивые лица
Открылись, бурю испытав.
Над миром горечи и бед
Звенел пастушеский кларнет,
И пел петух, и утро было,

И славословил хор коров,
И над дубравой восходило
Светило, полное даров.

Слава миру, мир земле,
Меч владыкам и богатым!
Утро вынесло в руке
Возрожденья красный атом.
Красный атом возрожденья,
Жизни огненный фонарь.
На земле его движенье
Разливает киноварь.
Встали люди и коровы,
Встали кони и волы.
Вон солдат идет, багровый
От сапог до головы.
Посреди большого стада
Кто он — демон или бог?
И звезда его, крылата,
Устремилась на восток.

Солдат

Коровы, мне приснился сон.
Я спал, овчиною закутан,
И вдруг открылся небосклон
С большим животным институтом.
Там жизнь была всегда здорова
И посреди большого зданья
Стояла стройная корова
В венце неполного сознанья.
Богиня сыра, молока,
Главой касаясь потолка,
Стыдливо кутала сорочку
И груди вкладывала в бочку.
И десять струй с тяжелым треском
В холодный падали металл,
И приготовленный к поездкам
Бидон, как музыка, играл.
И опьяненная корова,
Сжимая руки на груди,
Стояла так, на всё готова,
Дабы к сознанию идти.

Коровы

Странно слышать эти речи,
Зная мысли человечьи.
Что, однако, было дале?
Как иные поступали?

Солдат

Я дале видел красный светоч
В чертоге умного вола.
Коров задумчивое вече
Решало там свои дела.
Осел, над ними гогоча,
Бежал, безумное урча.
Рассудка слабое растенье
В его животной голове
Сияло, как произведенье,
По виду близкое к траве.
Осел скитался по горам,
Глодал чугунные картошки,
А под горой машинный храм
Выделывал кислородные лепешки.
Там кони, химии друзья,
Хлебали щи из ста молекул,
Иные, в воздухе вися,
Смотрели, кто с небес приехал.
Корова в формулах и лентах
Пекла пирог из элементов,
И перед нею в банке рос
Большой химический овес.

Конь

Прекрасна эта сторона —
Одни науки да проказы!
Я, как бы выпивши вина,
Солдата слушаю рассказы.
Впервые ум смутился мой,
Держу пари — я полон пота!
Ужель не врешь, солдат младой,
Что с плугом кончится работа?
Ужели кроме наших жил
Потребен разум и так дале?
Послушай, я ведь старожил,

Пристали мне одни медали.
Сто лет тружуся на сохе,
И вдруг за химию! Хе-хе!

Солдат

Молчи, проклятая каурка,
Не рви рассказа до конца.
Не стоят грязного окурка
Твои веселые словца.
Мой разум так же, как и твой,
Горшок с опилками, не боле,
Но над картиною такой
Сумей быть мудрым поневоле.
...Над Лошадиным институтом
Вставала стройная луна.
Научный отдых дан посудам,
И близок час веретена.
Осел, товарищем ведом,
Приходит, голоден и хром.
Его, как мальчика, питают,
Ума растенье развивают.
Здесь учат бабочек труду,
Ужу дают урок науки —
Как делать пряжу и слюду,
Как шить перчатки или брюки.
Здесь волк с железным микроскопом
Звезду вечернюю поет,
Здесь конь с редиской и укропом
Беседы длинные ведет.
И хоры стройные людей,
Покинув пастбища эфира,
Спускаются на стогны мира
Отведать пищи лебедей.

Конь

Ты кончил?

Солдат

Кончил.

Конь

Браво, браво!
Наплел голубчик на сто лет!

Но как сладка твоя отрава,
Как жжет меня проклятый бред!
Солдат, мы наги здесь и босы,
Нас давят плуги, жалят осы,
Рассудки наши — ряд лачуг,
И весь в пыли хвоста бунчук.
В часы полуночного бденья,
В дыму осенних вечеров,
Солдат, слыхал ли ты хрипенье
Твоих замученных волов?
Нам нет спасенья, нету права,
Нас плуг зовет и ряд могил,
И смерть — единая держава
Для тех, кто немощен и хил.

Солдат

Стыдись, каурка, что с тобою?
Наплел, чего не знаешь сам!
Смотри-ка, кто там за горою
Ползет, гремя, на смену вам?
Большой железный, двухэтажный,
С чугунной мордой, весь в огне,
Ползет владыка рукопашной
Борьбы с природою ко мне.
Воспряньте, умные коровы,
Воспряньте, кони и быки!
Отныне, крепки и здоровы,
Мы здесь для вас построим кровы
С большими чашками муки.
Разрушив царство сох и борон,
Мы старый мир дотла снесем
И букву А огромным хором
Впервые враз произнесем!

И загремела даль лесная
Глухим раскатом буквы А,
И вылез трактор, громыхая,
Прорезав мордою века.
И толпы немощных животных,
Упав во прахе и пыли,
Смотрели взором первородных
На обновленный лик земли.

6. Младенец — мир

Когда собрание животных
Победу славило земли,
Крестьяне житниц плодородных
Свое имущество несли.
Одни, огромны, бородаты,
Приносят сохи и лопаты,
Другие вынесли на свет
Мотыги сотен тысяч лет.
Как будто груда черепов,
Растет гора орудий пыток
И тракторист считал, суров,
Труда столетнего убыток.

Тракторист

Странно, люди!
Ум не счислит этих зол.
Ударяя камнем в груди,
Мчится древности козел.
О крестьянин, раб мотыг,
Раб лопат продолговатых,
Был ты раб, но не привык
Быть забавою богатых.
Ты разрушил дом неволи,
Ныне строишь ты колхоз.
Трактор, воя, возит в поле
Твой невиданный овес.
Длинноногa и суха,
Сгинь, мотыга и соха!
Начинайся, новый век!
Здравствуй, конь и человек!

Соха

Полно каркать издалече,
Неразумный человече!
Я, соха, царица жита,
Кости трактору не дам.
Мое туловище шито
Крепким дубом по бокам.
У меня на белом брюхе
Под веселый хохот блох

Скачет, тыча в небо руки,
Частной собственности бог.
Частной собственности мальчик
У меня на брюхе скачет.
Шар земной, как будто мячик,
На его ладони зачат.
То — держава, скипетр — меч!
Гнитесь, люди, чтобы лечь!
Ибо в днище ваших душ
Он играет славы туш!

Тракторист

О богиня!
Ты погибла с давних пор!
За тобою шел Добрыня
Или даже Святогор.
Мы же новый мир устроим
С новым солнцем и травой.
Чтобы каждый стал героем,
Мы прощаемся с тобой.
Хватайте соху за подмышки!

Бежали стаями мальчишки,
Оторваны от алгебры задачки.
Рой баб, неся в ладонях пышки,
От страха падал на карачки.
Из печки дым, летя по трубам,
Носился длинным черным клубом,
Петух пел песнь навеселе,
Свет дня был виден на селе.
Забитый бревнышком навозным,
Шатался церкви длинный кокон,
Струился свет по ликам грозным,
Из пыльных падающий окон.
На рейках книзу головой
Висел мышей летучих рой,
Как будто стая мертвых ведем
Спасалась в Риме этом третьем.
И вдруг, урча, забил набат.
Несома крепкими плечами,
Соха плыла, как ветхий гад,
Согнув оглобли калачами.

Соха плыла и говорила
Свои последние слова,
Полуоткрытая могила
Ее наставницей была.
И новый мир, рожденный в муке,
Перед задумчивой толпой
Твердил вдали то Аз, то Буки,
Качая детской головой.

7. Торжество земледелия

Утро встало. Пар тумана
Закатился за поля.
Как слепцы из каравана,
Разбежались тополя.
Хоры сеялок, отвесив
Килограммы тонких зерен,
Едут в ряд, и пахарь весел,
От загара солнца черен.
Также тут сидел солдат.
Посреди крестьянских сел,
Размышленьями богат,
Он такую речь повел:
«Славься, славься, Земледелье,
Славься, пение машин!
Бросьте, пахари, безделье,
Будет у́жин и ужи́н.
Науку точную сноповязалок,
Сеченье вымени коров
Пойми! Иначе будешь жалок,
Умом дородным нездоров.
Теория освобождения труда
Умудрила наши руки.
Славьтесь, добрые науки
И колхозы-города!»

Замолк. Повсюду пробежал
Гул веселых одобрений,
И солдат, подняв фиал,
Пиво пил для утоленья.
Председатель многополья

И природы коновал,
Он военное дреколье
На серпы перековал.
И тяжелые, как домы,
Разорвав черту межи,
Вышли, трактором ведомы,
Колесницы крепкой ржи.
А на холме у реки
От рождения впервые
Ели черви гробовые
Деревянный труп сохи.
Умерла царица пашен,
Коробейница старух!
И растет над нею, важен,
Сын забвения, лопух.
И растет лопух унылый,
И листом о камень бьет,
И над ветхою могилой
Память вечную поет.

1929—1930

БЕЗУМНЫЙ ВОЛК

Поэма

1. Разговор с медведем

Медведь

Еще не ломаются своды
Вечнозеленого дома.

Мы сидим еще не в клетке,
Чтоб чужие есть объедки.

Мы живем под вольным дубом,
Наслаждаясь знаньем грубым.

Мы простую воду пьем,
Хвалим солнце и поем.

Волк, какое у тебя занятие?

Волк

Я, задрав собаки бок,
Наблюдаю звезд поток.
Если ты меня встретишь лежащим на спине
И поднимающим кверху лапы,
Значит, луч моего зрения
Направлен прямо в небеса.
Потом я песни сочиняю,
Зачем у нас не вертикальна шея.
Намедни мне сказала ворожея,
Что можно выправить ее.
Теперь скажи занятие твое.

Медведь

Помедлим. Я действительно встречал
В лесу лежащую фигурку.
Задрав две пары тонких ног,
Она глядела на восток.
И шерсть ее стояла дыбом,
И, вся наверх устремлена,
Она плыла подобно рыбам
Туда, где неба пламена.
Скажи мне, волк, откуда появилось
У зверя вверх желание глядеть?
Не лучше ль слушаться природы,
Глядеть лишь под ноги да вбок,
В людские лазать огороды,
Кружиться около дорог?
Подумай, в маленькой берлоге,
Где нет ни окон, ни дверей,
Мы будем царствовать, как боги,
Среди животных и зверей.
Иногда можно заниматься пустяками,
Ловить пичужек на лету.
Презрев револьверы, винтовки,
Приятно у малиновок откусывать головки
И вниз детенышам бросать,
Чтобы могли они сосать.
А ты не дело, волк, задумал,
Что шею вывернуть придумал.

Волк

Медведь, ты правильно сказал,
Ценю приятный сердцу довод.
Я многих сам перекусал,
Когда роскошен был и молод.
Всё это шутки прежних лет.
Горизонтальный мой хребет
С тех пор железным стал и твердым,
И невозможно нашим мордам
Глядеть, откуда льется свет.
Меж тем вверху звезда сияет —
Чигирь, волшебная звезда!
Она мне душу вынимает,
Сжимает судорогой уста.

Желаю знать величину вселенной
И есть ли волки наверху!
А на земле я, точно пленный,
Жую овечью требуху.

Медведь

Имею я желанье хохотать,
Но воздержусь, чтоб волка не обидеть.
Согласен он всю шею изломать,
Чтобы Чигирь-звезду увидеть!

Волк

Я закажу себе станок
Для вывертыванья шеи.
Сам свою голову туда вложу,
С трудом колеса поверну.
С этой шеей вертикальной,
Знаю, буду я опальный,
Знаю, буду я смешон
Для друзей и юных жен.
Но чтобы истину увидеть,
Скажи, скажи, лихой медведь,
Ужель нельзя друзей обидеть
И ласку женщины презреть?
Волчьей жизни реформатор,
Я, хотя и некрасив,
Буду жить, как император,
Часть науки откусив.
Чтобы завесить разные места,
Сошью себе рубаху из холста,
В своей берлоге засвечу светильник,
Кровать поставлю, принесу урыльник
И постараюсь через год
Дать своей науки плод.

Медведь

Еще не ломаются своды
Вечнозеленого дома!
Еще есть у нас такие представители,
Как этот сумасшедший волк!
Прошла моя нежная юность,
Наступает печальная старость.

Уже ничего не понимаю,
Только листочки шумят над головой.
Но пусть я буду консерватор,
Не надо мне твоих идей,
Я не философ, не оратор,
Не астроном, не грамотей.
Медведь я! Конский я громила!
Коровий Ассурбанипал!
В мое задумчивое рыло
Ничей не хлопал самопал!
Я жрать хочу! Кусать желаю!
С дороги прочь! Иду на вы!
И уж совсем не понимаю
Твоей безумной головы.
Прощай. Я вижу, ты упорен.

Волк

Итак, с медведем я поссорен.
Печально мне. Но, видит бог,
Медведь решиться мне помог.

2. Монолог в лесу

Над волчьей каменной избушкой
Сияют солнце и луна.
Волк разговаривает с кукушкой,
Дает деревьям имена.
Он в коленкоровой рубахе,
В больших невиданных штанах,
Сидит и пишет на бумаге,
Как будто в келейке монах.
Вокруг него холмы из глины
Подставляют солнцу одни половины,
Другие половины лежат в тени,
И так идут за днями дни.

Волк

(бросая перо)

Надеюсь, этой песенкой
Я порастряс частицы мирозданья
И в будущее ловко заглянул.
Не знаю сам, откуда что берется,

Но мне приятно песни составлять:
Рукою в книжечке поставишь закорючку,
А закорючка ангелом поет!

Уж десять лет,
Как я живу в избушке.
Читаю книги, песенки пою,
Имею частые с природой разговоры.
Мой ум возвысился и шея зажила.
А дни бегут. Уже седеет шкура,
Спинной хребет трещит по временам.
Крепись, старик. Еще одно усилье,
И ты по воздуху, как пташка, полетишь.

Я открыл множество законов.
Если растенье посадить в банку
И в трубочку железную подуть —
Животным воздухом наполнится растенье,
Появятся на нем головка, ручки, ножки,
А листики отсохнут навсегда.
Благодаря моей душевной силе,
Я из растенья воспитал собачку —
Она теперь, как матушка, поет.
Из одной березы
Задумал сделать я верблюда,
Да воздуху в груди, как видно, не хватило:
Головка выросла, а туловища нет.
Загадки страшные природы
Повсюду в воздухе висят.
Бывало, их того гляди поймаешь,
Весь напружинишься, глаза нальются кровью,
Шерсть дыбом встанет, напрягутся жилы,
Но миг пройдет — и снова как дурак.
Приятно жить счастливому растенью —
Оно на воздухе играет, как дитя,
А мы ногой безумной оторвались,
Бежим туда-сюда,
А счастья нет как нет.

Однажды ямочку я выкопал в земле,
Засунул ногу в дырку по колено
И так двенадцать суток простоял.

Весь отощал, не пивши и не евши,
Но корнем всё-таки не сделалась нога
И я, увы, не сделался растеньем.

Однако
Услышать многое еще способен ум.
Бывало, ухом прислонюсь к березе —
И различаю тихий разговор.
Береза сообщает мне свои переживанья,
Учит управлению веток,
Как шевелить корнями после бури
И как расти из самого себя.

Итак, как будто бы я многое постиг,
Имею право думать о почете.
Куда там! Звери вкруг меня
Ругаются, препятствуют занятьям
И не дают в уединенье жить.
Фигурки странные! Коров бы им душить,
Давить быков, рассудка не имея.
А на того, кто иначе живет,
Клевещут, злобствуют, приделывают рожки.

А я от моего душевного переживанья
Не откажусь ни в коей мере!
В занятьях я, как мышка, поседел,
При опытах тонул четыре раза,
Однажды шерсть нечаянно поджег —
Весь зад сгорел, а я живой остался.

Теперь еще один остался подвиг,
А там... Не буду я скрывать,
Готов я лечь в великую могилу,
Закрыть глаза и сделаться землей.
Тому, кто видел, как сияют звезды,
Тому, кто мог с растеньем говорить,
Кто понял страшное соединенье мысли —
Смерть не страшна и не страшна земля.

Иди ко мне, моя большая сила!
Держи меня! Я вырос, точно дуб,

Я стал как бык, и кости как железо:
Седой как лунь, я к подвигу готов.
Гляди в меня! Моя глава сияет,
Все сухожилья рвутся из меня.
Сейчас залезу на большую гору,
Скакну наверх, ногами оттолкнусь,
Схвачусь за воздух страшными руками,
Вздыму себя, потом опять скакну,
Опять схвачусь, а тело выше, выше,
И я лечу! Как пташечка, лечу!

Я понимаю атмосферу!
Всё брюхо воздухом надуется, как шар.
Давленье рук пространству не уступит,
Усилье воли воздух победит.

Ничтожный зверь, червяк в звериной шкуре,
Лесной босяк в дурацком колпаке,
Я — царь земли! Я — гладиатор духа!
Я — Гарпагон, подъятый в небеса!

Я ухожу. Березы, до свиданья.
Я жил как бог и не видал страданья.

3. Собрание зверей

Председатель

Сегодня годовщина смерти Безумного.
Почтим его память.

Волки
(поют)

Страшен, дети, этот год.
Дом зверей ломает свод.

Балки старые трещат.
Птицы круглые пищат.

Вырван бурей, стонет дуб.
Волк стоит, ударен в пуп.

Две реки, покинув лог,
Затопили сто берлог.

Встаньте, звери, встаньте враз,
Ударяйте, звери, в таз!

Вместе с бурей из ракит
Тень Безумного летит.

Вся в крови его глава.
На груди его трава.

Лапы вывернуты вбок.
Из очей идет дымок.

Гряньте, звери, на трубе:
«Кто ты, страшный? Что тебе?»

— «Я — Летатель. Я — Топор.
Победитель ваших нор».

Председатель

Я помню ночь, которую поэты
Изобразили в этой песне.
Из дальней тундры вылетела буря,
Рвала верхи дубов, вывертывала пни
И ставила деревья вверх ногами.

Лес обезумел. Затрещали своды,
Летели балки на голову нам.
Шар молнии, огромный, как кастрюля,
Скатился вниз, сквозь листья пролетел,
И дерево, как свечка, загорелось.

Оно кричало страшно, словно зверь,
Махало ветками, о помощи молило,
А мы внизу стояли перед ним
И двинуть пальцами от страха не умели.

Я побежал. И вот передо мною
Возвысился сверкающий утес.
Его вершина, гладкая, как череп,
Едва дымилась в чудной красоте.

Опять скатилась молния. Я замер:
Вверху, на самой высоте,
Металась чуть заметная фигурка,
Хватая воздух пальцами руки.

Я заревел. Фигурка подскочила,
Ужасный вопль пронзил меня насквозь.
На воздухе мелькнули морда, руки, ноги,
И больше ничего не помню.

Наутро буря миновала.
Лесных развалин догорал костер.
Очнулся я. Утес еще дымился,
И труп Безумного на камушках лежал.

Волк-студент

Мы все скорбим, почтенный председатель
По поводу безвременной кончины
Безумного. Но я уполномочен
Просить тебя ответить на вопрос,
Предложенный комиссией студентов.

Председатель

Говори.

Волк-студент

Благодарю. Вопрос мой будет краток.
Мы знаем все, что старый лес погиб,
И нет таких мучительных загадок,
Которых мы распутать не могли б.

Мы новый лес сегодня созидаем.
Еще совсем убогие вчера,
Перед тобой мы ныне заседаем
Как инженеры, судьи, доктора.

Горит, как смерч, великая наука.
Волк ест пирог и пишет интеграл.
Волк гвозди бьет, и мир дрожит от стука,
И уж закончен техники квартал.





Итак, скажи, почтенный председатель,
В наш трезвый мир зачем бросаешь ты,
Как ренегат, отступник и предатель,
Безумного нелепые мечты?

Подумай сам, возможно ли растенье
В животное мечтою обратить,
Возможно ль полететь земли произведенью
И тем себе бессмертие купить?

Мечты Безумного безумны от начала.
Он отдал жизнь за них. Но что нам до него?
Нам песня нового столетья прозвучала,
Мы строим лес, а ты бежишь его!

Волки-инженеры

Мы, особенным образом складывая перекладины,
Составляем мостик на другой берег земного
счастья.
Мы делаем электрических мужиков,
Которые будут печь пироги.
Лошади внутреннего сгорания
Нас повезут через мостик страдания.
И ямщик в стеклянной шапке
Тихо песенку споет:
«Гай-да, тройка,
Энергию утрой-ка!»
Таков полет строителей земли,
Дабы потомки царствовать могли.

Волки-доктора

Мы, врачи и доктора,
Толмачи зверей бедра.
В черепа волков мы вставляем стеклянные
трубочки,
Мы наблюдаем занятия мозга,
Нам не мешает больного прическа.

Волки-музыканты

Мы скрипим на скрипках тела,
Как наука нам велела.
Мы смычком своих носов
Пилим новых дней засов.

Председатель

Медленно, медленно, медленно
Движется чудное время.

Точно клубки ниток, мы катимся вдаль,
Оставляя за собой нитку наших дел.

Чудесное полотно выткали наши руки,
Миллионы миль прошагали ноги.

Лес, полный горя, голода и бед,
Стоит вдали, как огненный сосед.

Глядите, звери, в этот лес, —
Медведь в лесу кобылу ест,
А мы едим большой пирог,
Забыв дыру своих берлог.

Глядите, звери, в этот дол, —
Едомый зверем, плачет вол,
А мы, построив свой квартал,
Волшебный пишем интеграл.

Глядите, звери, в этот мир, —
Там зверь ютится, наг и сир,
А мы, подняв науки меч,
Идем от мира зло отсечь.

Медленно, медленно, медленно
Движется чудное время.

Я закрываю глаза и вижу стеклянное здание
леса.
Стройные волки, одетые в легкие платья,
Преданы долгой научной беседе.
Вот отделился один,
Поднимает прозрачные лапы,
Плавно взлетает на воздух,
Ложится на спину,
Ветер его на восток над долинами гонит.
Волки внизу говорят:
«Удалился философ,

Чтоб лопухам преподать
Геометрию неба».

Что это? Странные виденья,
Безумный вымысел души,
Или ума произведенье, —
Студент ученый, разреши!

Мечты Безумного нелепы,
Но видит каждый, кто не слеп:
Любой из нас, пекущих хлебы,
Для мира старого нелеп.

Века идут, года уходят,
Но всё живущее — не сон:
Оно живет и превосходит
Вчерашней истины закон.

Спи, Безумный, в своей великой могиле!
Пусть отдыхает твоя обезумевшая от мыслей голова!
Ты сам не знаешь, кто вырвал тебя из берлоги,
Кто гнал тебя на одиночество, на страдание.

Ничего не видя впереди, ни на что не надеясь,
Ты прошел по земле, как великий гладиатор мысли.
Ты — первый взрыв цепей!
Ты — река, породившая нас!

Мы, стоящие на границе веков,
Рабочие молота нашей головы,
Мы запечатали кладбище старого леса
Твоим исковерканным трупом.

Лежи смирно в своей могиле,
Великий Летатель Книзу Головой.
Мы, волки, несем твое вечное дело
Туда, на звезды, вперед!

1931

ДЕРЕВЬЯ

Поэма

Пролог

Бомбеев

Кто вы, кивающие маленькой головкой,
Играете с жуком и божией коровкой?

Голоса

— Я листьев солнечная сила.
— Желудок я цветка.
— Я пестика паникадило.
— Я тонкий стебелек смиренного левкоя.
— Я корешок судьбы.
— А я лопух покоя.
— Все вместе мы — изображенье цветка,
Его росток и направленье завитка.

Бомбеев

А вы кто там, среди озер небес,
Лежите, длинные, глазам наперерез?

Голоса

— Я облака большое очертанье.
— Я ветра колыханье.
— Я пар, поднявшийся из тела человека.
— Я капелька воды не более ореха.
— Я дым, сорвавшийся из труб.
— А я животных суп.
— Все вместе мы — сверкающие тучи,
Собранье громов и спящих молний кучи.

Бомбеев

А вы, укромные, как шишечки и нити,
Кто вы, которые под кустиком сидите?

Голоса

— Мы глазки жуковы.
— Я гусеницын нос.
— Я возникающий из семени овес.
— Я дудочка души, оформленной слегка.
— Мы не облекшиеся телом потроха.
— Я то, что будет органом дыханья.
— Я сон грибка.
— Я свечки колыханье.
— Возникновенье глаза я на кончике земли.
— А мы нули.
— Все вместе мы — чудесное рожденье,
Откуда ты свое ведешь происхожденье.

Бомбеев

Покуда мне природа спину давит,
Покуда мне она свои загадки ставит,
Я разыщу, судьбе наперекор,
Своих отцов, и братьев, и сестер.

1. Приглашение на пир

Когда обед был подан и на стол
Положен был в воде вареный вол,
И сто бокалов, словно сто подруг,
Вокруг вола образовали круг,
Тогда Бомбеев вышел на крыльцо
И поднял кверху светлое лицо,
И, руки протянув туда, где были рощи,
Так произнес:
«Вы, деревья, императоры воздуха,
Одетые в тяжелые зеленые мантии,
Расположенные по всей длине тела
В виде кружочков, и звезд, и коронок!
Вы, деревья, бабы пространства,
Уставленные множеством цветочных чашек,
Украшенные белыми птицами-голубкáми!

Вы, деревья, солдаты времени,
Утыканные крепкими иголками могущества,
Укрепленные на трехэтажных корнях
И других неподвижных фундаментах!
Одни из вас, достигшие предельного возраста,
Черными лицами упираются в края атмосферы
И напоминают мне крепостные сооружения,
Построенные природой для изображения силы.
Другие, менее высокие, но зато более стройные,
Справляют по ночам деревянные свадьбы,
Чтобы вечно и вечно цвела природа
И всюду гремела слава ее.
Наконец, вы, деревья-самовары,
Наполняющие свои деревянные внутренности
Водой из подземных колодцев!
Вы, деревья-пароходы,
Секущие пространство и плывущие в нем
По законам древесного компаса!
Вы, деревья-виолончели и деревья-дудки,
Сотрясающие воздух ударами звуков,
Составляющие мелодии лесов и рощ
И одиноко стоящих растений!
Вы, деревья-топоры,
Рассекающие воздух на его составные
И снова составляющие его для постоянного равновесия!
Вы, деревья-лестницы
Для восхождения животных на высшие пределы воздуха!
Вы, деревья-фонтаны и деревья-взрывы,
Деревья-битвы и деревья-гробницы,
Деревья-равнобедренные треугольники и деревья сферы,
И все другие деревья, названья которых
Не поддаются законам человеческого языка, —
Обращаюсь к вам и заклинаю вас:
Будьте моими гостями.

2. Пир в доме Бомбеева

Лесной чертог блистает, как лампада,
Кумиры стройные стоят, как колоннада,
И стол накрыт, и музыка гремит,
И за столом лесной народ сидит.

На алых бархатах, где раньше были панны,
Сидит корявый дуб, отведав чистой ванны,
И стуло греческое, на котором Зина
Свивала волосы и любовалась завитушками,
Теперь согнулося: на нем сидит осина,
Наполненная воробьями и кукушками.
И сам Бомбеев среди пышных кресел
Сидит один, и взор его невесел,
И кудри падают с его высоких плеч,
И чуть слышна его простая речь.

Бомбеев

Послушайте, деревья, речь,
Которая сейчас пред вами встанет,
Как сложенная каменщиком печь.
Хвала тому, кто в эту печь заглянет,
Хвала тому, кто, встав среди камней,
Уча другого, будет сам умней.

Я всю природу уподоблю печи.
Деревья, вы ее большие плечи,
Вы ребра толстые и каменная грудь,
Вы шептуны с большими головами,
Вы императоры с мохнатыми орлами,
Солдаты времени, пустившиеся в путь!
А на краю природы, на границе
Живого с мертвым, умного с тупым,
Цветут растений маленькие лица,
Растет трава, похожая на дым.
Клубочки спутанные, дудочки сырые,
Сухие зонтики, в которых налит клей,
Все в завитушках, некрасивые, кривые,
Они ползут из дырочек, щелей,
Из маленьких окошечек вселенной
Сплошною перепутанною пеной.

Послушайте, деревья, речь
О том, как появляется корова.
Она идет горою, и багрова
Улыбка рта ее, чтоб морду пересечь.
Но почему нам кажется знакомым
Всё это тело, сложенное комом,

И древний конус каменных копыт,
И медленно качаемое чрево,
И двух очей, повернутых налево,
Тупой, безумный, полумертвый быт?
Кто, мать она? Быть может, в этом теле
Мы, как детеныши, когда-нибудь сидели?
Быть может, к вымени горячему прильнув,
Лежали, щеки шариком надув?
А мать-убийца толстыми зубами
Рвала цветы и ела без стыда,
И вместе с матерью мы становились сами
Убийцами растений навсегда?

Послушайте, деревья, речь
О том, как появляется мясник.
Его топор сверкает, словно меч,
И он к убийству издавна привык.
Еще растеньями бока коровы полны,
Но уж кровавые из тела хлещут волны,
И, хлопая глазами, голова
Летит по воздуху, и мертвая корова
Лежит в пыли, для щей вполне готова,
И мускулами двигает едва.
А печка жизни всё пылает,
Горит, трещит элементал,
И человек ладонью подсыпает
В мясное варево сияющий кристалл.
В желудке нашем исчезают звери,
Животные, растения, цветы,
И печки-жизни выпуклые двери
Для наших мыслей крепко заперты.
Но что это? Я слышу голоса!

З и н а

Как вспыхнула заката полоса!

Б о м б е е в

Стоит Лесничий на моем пороге.

З и н а

Деревья плачут в страхе и тревоге.

Лесничий

Я жил в лесу внутри избушки,
Деревья цифрами клеймил,
И вдруг Бомбеев на опушке
В лесные трубы затрубил.
Деревья, длинными главами
Ныряя в туче грозовой,
Умчались в поле. Перед нами
Возникнул хаос мировой.
Бомбеев, по какому праву,
Порядок мой презрев,
Похитил ты дубраву?

Бомбеев

Здесь я хозяин, а не ты,
И нам порядок твой не нужен:
В нем людоедства страшные черты.

Лесничий

Как к людоедству ты неравнодушен!
Однако за столом, накормлен и одет,
Ужель ты сам не людоед?

Бомбеев

Да, людоед я, хуже людоеда!
Вот бык лежит — остаток моего обеда.
Но над его вареной головой
Клянусь: окончится разбой,
И правнук мой среди домов и грядок
Воздвигнет миру новый свой порядок.

Лесничий

А ты подумал ли о том,
Что в вашем веке золотом
Любой комар, откладывая сто яичек в сутки,
Пожрет и самого тебя, и сад, и незабудки?

Бомбеев

По азбуке читая комариной,
Комар исполнится высокою доктриной.

Лесничий

Итак, устроив пышный пир,
Я вижу: мыслью ты измерил целый мир,
Постиг планет могучее движенье,
Рожденье звезд и их происхожденье,
И весь порядок жизни мировой
Есть только беспорядок пред тобой!
Нет, ошибся ты, Бомбеев,
Гордой мысли генерал!
Этот мир не для злодеев,
Ты его оклеветал.
В своем ли ты решил уме,
Что жизнь твоя равна чуме,
Что ты, глотая свой обед,
Разбойник есть и людоед?
Да, человек есть башня птиц,
Зверей вместилище лохматых,
В его лице — миллионы лиц
Четвероногих и крылатых.
И много в нем живет зверей,
И много рыб со дна морей,
Но все они в лучах сознанья
Большого мозга строят зданье.
Сквозь рты, желудки, пищеводы,
Через кишечную тюрьму
Лежит центральный путь природы
К благословенному уму.
Итак, да здравствуют сраженья,
И рев зверей, и ружей гром,
И всех живых преображенье
В одном сознанье мировом!
И в этой битве постоянной
Я, неизвестный человек,
Провозглашаю деревянный,
Простой, дремучий, честный век.
Провозглашаю славный век
Больших деревьев, длинных рек,
Прохладных гор, степей могучих,
И солнце розовое в тучах,
А разговор о годах лучших
Пусть продолжает человек.

Деревья, вас зовет природа
И весь простой лесной народ,
И всё живое, род от рода
Не отделяясь, вас зовет
Туда, под своды мудрости лесной,
Туда, где жук беседует с сосной,
Туда, где смерть кончается весной, —
За мной!

3. Ночь в лесу

Опять стоят туманные деревья,
И дом Бомбеева вдали, как самоварчик.
Жизнь леса продолжается, как прежде,
Но всё сложней его работа.
Деревья-императоры снимают свои короны,
Вешают их на сучья,
Начинается вращенье деревянных планеток
Вокруг обнаженного темени.
Деревья-солдаты, громоздясь друг на друга,
Образуют дупла, крепости и завалы,
Щелкают руками о твердую древесину,
Играют на трубах, подбрасывают кости.
Тут и там деревянные девочки
Выглядывают из овражка,
Хохот их напоминает сухое постукивание,
Потрескивание веток, когда по ним прыгает белка,
Тогда выступают деревья-виолончели,
Тяжелые сундуки струн облекаются звуками,
Еще минута, и лес опоясан трубами чистых
мелодий,
Каналами песен лесного оркестра.
Бомбы ли рвутся, смеются ли бабочки —
Песня всё шире да шире,
И вот уж деревья-топоры начинают рассекать
воздух
И складывать его в ровные параллелограммы.
Трение воздуха будит различных животных.
Звери вздымают на лестницы тонкие лапы,
Вверх поднимаются к плоским верхушкам деревьев
И замирают вверху, чистые звезды увидев.

Так над землей образуется новая плоскость:
Снизу — животные, взявшие в лапы деревья,
Сверху — одни вертикальные звезды.
Но не смолкает земля. Уже деревянные девочки
Пляшут, роняя грибы в муравейник.
Прямо над ними взлетают деревья-фонтаны,
Падая в воздух гигантскими чашками струек.
Дале стоят деревья-битвы и деревья-гробницы,
Листья их выпуклы и барельефам подобны.
Можно здесь видеть возникшего снова Орфея,
В дудку поющего. Чистою лиственной грудью
Здесь окружают певца деревянные звери.
Так возникает история в гуще зеленых
Старых лесов, в кустарниках, ямах, оврагах,
Так образуется летопись древних событий,
Ныне закованных в листья и длинные сучья.
Дале деревья теряют свои очертанья, и глазу
Кажутся то треугольником, то полукругом —
Это уже выражение чистых понятий,
Дерево Сфера царствует здесь над другими.
Дерево Сфера — это значок беспредельного дерева,
Это итог числовых операций.
Ум, не ищи ты его посредине деревьев:
Он посредине, и сбоку, и здесь, и повсюду.

1933

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ

ПОХОД

Шинель двустворчатую гонит,
В какую даль — не знаю сам,
Вокзалы встали коренасты,
Воткнулись в облако кресты,
Свертелась бледная дорога,
Шел батальон, дышали ноги
Мехами кожи, и винтовки —
Стальные дула обнажив —
Дышали холодом. Лежит,
Она лежит — дорога хмурая,
Дорога бледная моя.
Отпали облака усталые,
Склонились лица тополей, —
И каждый помнит, где жена,
Спокойствием окружена,
И плач трехлетнего ребенка,
В стакане капли, на стене —
Плакат войны: война войне.
На перевале меркнет день,
И тело тонет, словно тень,
И вот казарма встала рядом
Громадой жирных кирпичей —
В воротах меркнут часовые,
Занумерованные сном.

И шел, смеялся батальон,
И по пятам струился сон,
И по пятам дорога хмурая
Кренилась, падая. Вдали
Шеренги коек рисовались,
И наши тени раздевались,
И падали... И снова шли...

Ночь вылезала по бокам,
Надув глаза, легла к ногам,
Собачья ночь в глаза глядела,
Дышала потом, тяготела
На головах... Мы шли, мы шли...

В тумане плотном поутру
Труба, бодрясь, пробила зорю,
И лампа, споря с потолком,
Всплыла оранжевым пятном, —
Еще дымился под ногами
Конец дороги, день вставал,
И наши тени шли рядами
По бледным стенам — на привал.

<1927>

ПОПРИЩИН

Когда замерзают дороги
И ветер шатает кресты,
Безумными пальцами Гоголь
Выводит горбатые сны.
И вот, костенея от стужи,
От непобедимой тоски,
Качается каменный ужас,
А ветер стреляет в виски,
А ветер крылатку срывает,
Взрывает седые снега
И вдруг, по суставам спадая,
Ложится — покорный — к ногам.
Откуда такое величье?
И вот уж не демон, а тот —
Бровями взлетает Поприщин,
Лицо поднимает вперед.
Крутись в департаментах, ветер,
Разбрызгивай перья в поток,
Раскрыв перламутровый веер,
Испания встанет у ног.
Лиловой червонной мантильей
Взмахнет на родные поля.
И шумная выйдет Севилья

Встречать своего короля.
А он — исхудалый и тонкий,
В сияньи страдальческих глаз,
Поднимется...
...Снова потемки,
Кровать, сторожа, матрац,
Рубаха под мышками режет,
Скулит, надрывается Меджи,
И брезжит в окошке рассвет.

Хлещи в департаментах, ветер,
Взметай по проспекту снега,
Вали под сугробы карету
Сиятельного седока.
По окнам, колоннам, подъездам,
По аркам бетонных свай,
Срывай генеральские звезды,
В сугробы мосты зарывай.
Он вытянул руки, несется,
Ревет в ледяную трубу,
За ним снеговые уродцы,
Свернувшись, по крышам бегут.
Хватаются
За колокольни,
Врываются
В колокола,
Ложатся в кирпичные бойни
И снова летят из угла
Туда, где в последней отваге
Встречая слепой ураган, —
Качается в белой рубахе
И с мертвым лицом —
Фердинанд.

<*1928*>

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Видишь — воздух шевелится?
В нем, как думают студенты,
Кислородные частицы
Падают, едва заметны.

Если, в случае мороза,
Мы, в трамвае сидя, дышим —
Словно столб, идет из носа
Дым, дыханием колышим.

Если ж человек невиден,
Худ и бледен, — очень просто! —
Не сиди на стуле, сидень,
Выходи гулять на воздух!

Оттого, детина, вянешь,
Что в квартире воздух тяжкий,
Ни духами не обманешь,
Ни французскою бумажкой.

В нем частицы все свалялись
Вроде войлока сухого,
Оттого у всех вначале
Грудь бывает нездорова.

Если где-нибудь писатель
Ходит с трубкою табачной —
Значит, он имеет сзади
Вид унылый и невзрачный.

Почему он ходит задом?
Отчего пропала сила?
Оттого, что трубка с ядом,
А в груди сидит бацилла.

Почему иная дева
Вид имеет некрасивый,
Ходит тощая, как древо,
И глаза висят, как сливы?

Потому плоха девица
И на дерево походит,
Что полезные частицы
В нос девице не проходят.

У красотки шарфик модный
Вокруг шеи так намотан,

Что под носом воздух — плотный
И дышать осталось — пóтом.

О полезная природа,
Исцели страданья наши,
Дай частицу кислорода,
Или две частицы даже!

Дай сознанью удивиться,
И тотчас передо мной
Отвори свою больницу —
Холод, солнце и покой!

1929

ОСЕНЬ

1

В овчинной мантии, в короне из собаки,
Стоял мужик на берегу реки,
Сияли на траве как водяные знаки
Его коровьи сапоги.
Его лицо изображало
Так много мук,
Что даже дерево — и то, склонясь, дрожало
И нитку вить переставал паук.

Мужик стоял и говорил:
«Холм предков мне немил.
Моя изба стоит как дура,
И рушится ее старинная архитектура,
И печки дедовский портал
Уже не посещают тараканы —
Ни черные, ни рыжие, ни великаны,
Ни маленькие. А внутри сооружения,
Где раньше груда бревен зажигалась,
Чтобы сварить убитое животное, —
Там дырка до земли образовалась,
И холодное
Дыханье ветра, вылетая из подполья,

Колеблет колыбельное дреколье,
Спустившееся с потолка и тяжко
Храпящее.
Приветствую тебя, светило заходящее,
Которое избу мою ласкало
Своим лучом! Которое взрастило
В моем старинном огороде
Большие бомбы драгоценных свекол!
Как много ярких стекол
Ты зажигало вдруг над головой быка,
Чтобы очей его соединение
Не выражало первобытного страдания!
О солнце, до свидания!
Недолго жить моей избе:
Едят жуки ее сухие массы,
И ломят гусеницы нужников контрфорсы,
И червь земли, большой и лупоглазый,
Сидит на крыше и как царь поет».

Мужик замолк. Из торбы достает
Пирог с говяжьей требухою
И наполняет пищею плохою
Свой невзыскательный желудок.
Имея пару женских грудок,
Журавль на циркульном сияет колесе,
И под его печальным наблюденьем
Деревья кажутся унылым сновиденьем,
Поставленным над крышами избушек.
И много желтых завитушек
Летает в воздухе. И осень входит к нам,
Рубаху дерева ломая пополам.

О слушай, слушай хлопанье рубах!
Ведь в каждом дереве сидит могучий Бах
И в каждом камне Ганнибал таится
Вот наступает ночь. Река не шевелится.
Не дрогнет лес. И в страшной тишине,
Как только ветер пролетает.
Ночное дерево к луне
Большие руки поднимает
И начинает петь. Качаясь и дрожа,
Оно поет, и вся его душа

Как будто хочет вырваться из древесины,
Но сучья заплелись в огромные корзины,
И корни крепки, и земля кругом,
И нету выхода, и дерево с открытым ртом
Стоит, сражаясь с воздухом и плача.

Нелегкая задача —
Разбить синонимы: природа и тюрьма.

Мужик молчал, и все способности ума
В нем одновременно и чудно напрягались,
Но мысли складывались и рассыпались
И снова складывались. И наконец, поймав
Себя на созерцании растенья,
Мужик сказал: «Достойно удивленья,
Что внутренности таракана
На маленькой ладошке микроскопа
Меня волнуют так же, как Европа
С ее безумными сраженьями.
Мы свыклись с многочисленными положеньями
Своей судьбы, но это нестерпимо —
Природу миновать безумно мимо».
И туловище мужика
Вдруг принимает очертания жука,
Скатавшего последний шарик мысли,
И ночь кругом, и бревна стен нависли,
И предки равнодушною толпой
Сидят в траве и кажутся травой.

2

Мужик идет в колхозный новый дом,
Построенный невиданным трудом,
В тот самый дом, который есть начало
Того, что жизнь сквозь битвы обещала.
Мужик идет на общие поля,
Он наблюдает хлеба помещенье,
Он слушает, как плотная земля
Готова дать любое превращенье
Посеянному семени, глядит
В скелет машин, которые как дети
Стоят, мерцая в неподвижном свете

Осенних звезд, и важно шевелит
При размышлении тяжелыми бровями.
Корова хвастается жирными кровями,
Дом хвалится и светом и теплом,
Но у машины есть иное свойство —
Она внушает страх и беспокойство
Тому, кто жил печальным бирюком
Среди даров и немощей природы.
Мужик идет в большие огороды,
Где посреди сияющих теплиц
Лежат плоды, закрытые от птиц
И первых заморозков. Круглые, литые,
Плоды лежат, как солнца золотые,
Исполненные чистого тепла.
И каждая фигура так кругла,
Так чисто выписана, так полна собою,
Что, истомленный долгою борьбою,
Мужик глядит и чувствует, что в нем
Вдруг зажигается неведомым огнем
Его душа. В природе откровенной,
Такой суровой, злой, несовершенной,
Такой роскошной и такой скупой, —
Есть сила чудная. Бери ее рукой,
Дыши ей, обновляй ее частицы —
И будешь ты свободней легкой птицы
Средь совершенных рек и просвещенных скал.
От мужика все дале отступал
Дом прадедов с его высокой тенью,
И чувство нежности к живому поколенью
Влекло его вперед на много дней.
Мир должен быть иным. Мир должен быть круглей,
Величественней, чище, справедливей,
Мир должен быть разумней и счастливей,
Чем раньше был и чем он есть сейчас.
Да, это так. Мужик в последний раз
Глядит на яблоки и, набивая трубку,
Спешит домой. Над ним подобно кубку
Сияет в небе чистая звезда,
И тихо всё. И только шум листа,
Упавшего с ветвей, и посредине мира —
Лик Осени, заснувшей у клавира.

1932

КУЗНЕЧИК

Настанет день, и мой забвенный прах
Вернется в лоно зарослей и речек.
Заснет мой ум, но в квантовых мирах
Откроет крылья маленький кузнечик.

Над ним, пересекая небосвод,
Мельчайших звезд возникнут очертанья,
И он, расправив крылья, запоет
Свой первый гимн во славу мирозданья.

Довольствуясь осколком бытия,
Он не поймет, что мир его чудесный
Построила живая мысль моя,
Мгновенно затвердевшая над бездной.

Кузнечик-дурень! Если б он узнал,
Что все его волшебные светила
Давным-давно подобием зеркал
Поэзия в пространствах отразила!

1947

* * *

Когда бы я недвижным трупом
Лежал, устав от бытия, —
Людским страстям, простым и грубым,
Уж неподвластен был бы я.

Я был бы только горстью глины,
Я превратился бы в сосуд,
Который девушки долины
Порой к источнику несут.

К людским прислушиваясь тайнам
И к перекличке вешних птиц,
Меж ними был бы я случайным
Соединением частиц.

Но и тогда, во тьме кромешной,
С самим собой наедине,
Я пел бы песню жизни грешной
И призывал ее во сне.

1957

* * *

Медленно земля поворотилась
В сторону, несвойственную ей,
Белым светом резко озарилась,
Выделила множество огней.

Звездные припали астрономы
К трубам из железа и стекла:
Источая молнии и громы,
Пламенем планета истекла.

И по всей вселенной полетело
Множество обугленных частиц,
И мое расплавленное тело
Пало, окровавленное, ниц.

И цветок в саду у марсианки
Вырос, полыхая, как костер,
И листок неведомой чеканки
Наподобье сердца распростер.

Мир подобен арфе многострунной:
Лишь струну заденешь — и тотчас
Кто-то сверху, радостный и юный,
Поглядит внимательно на нас.

Красный Марс очами дико светит,
Поредел железный круг планет.
Сердце сердцу вовремя ответит,
Лишь бы сердце верило в ответ.

1957

* * *

Во многом знании — немалая печаль,
Так говорил творец Экклезиаста.
Я вовсе не мудрец, но почему так часто
Мне жаль весь мир и человека жаль?

Природа хочет жить, и потому она
Миллионы зерен скармливает птицам,
Но из миллиона птиц к светилам и зарницам
Едва ли вырывается одна.

Вселенная шумит и просит красоты,
Кричат моря, обрызганные пеной,
Но на холмах земли, на кладбищах вселенной
Лишь избранные светятся цветы.

Я разве только я? Я — только краткий миг
Чужих существований. Боже правый,
Зачем ты создал мир и милый и кровавый,
И дал мне ум, чтоб я его постиг!

1957

ВЕНЕЦИЯ

Покуда на солнце не жарко
И город доступен ветрам,
Войдем по ступеням Сан-Марко
В его перламутровый храм.

Когда-то, ограбив полмира,
Свозили сюда корабли
Из золота, перла, порфира
Различные дива земли.

Покинув собор Соломона,
Египет и пышный Царьград,
С тех пор за колонной колонна
На цоколях этих стоят.

И точно в большие литавры,
Считая теченье минут,
Над ними железные мавры
В торжественный колокол бьют.

И лев на столбе из гранита
Глядит, распростерший крыла,
И черная книга, раскрыта,
Под лапой его замерла.

Молчит громоносная книга,
Владычица древних морей.
Столица, темна и двулика,
Молчит, уподобившись ей.

Лишь голуби мечутся тучей,
Да толпы чужих заправил
Ленивой слоняются кучей
Среди позабытых могил.

Шагают огромные доги,
И в тонком дыму сигарет
Живые богини и боги
За догами движутся вслед.

Венеция! Сказка вселенной!
Ужель ты средь моря одна
Их власти, тупой и надменной,
Навеки теперь отдана?

Пленяя сердца красотою,
В сомнительный веря барыш,
Ужель ты служанкой простою
У собственной двери стоишь?

А где твои прежние лавры?
И вечно ли время утрат?
И скоро ли древние мавры
В последний ударят набат?

1957

СЛУЧАЙ НА БОЛЬШОМ КАНАЛЕ

На этот раз не для миллионеров,
На этот раз не ради баркаролл
Четыреста красавцев гондольеров
Вошли в свои четыреста гондол.

Был день как день. Шныряли вапоретто.
Заваленная грудами стекла,
Венеция, опущенная в лето,
По всем своим артериям текла.

И вдруг, подняв большие горловины,
Зубчатые и острые, как нож,
Громада лодок двинулась в теснины
Домов, дворцов, туристов и святош.

Сверкая бронзой, бархатом и лаком,
Всем опереньем ветхой красоты,
Она несла по городским клоакам
Подкрашенное знамя нищеты.

Пугая престарелых ротозеев,
Шокируя величественных дам,
Здесь плыл на них бесшумный бунт музеев,
Уже не подчиненных господам.

Здесь плыл вопрос о скудости зарплаты,
О хлебе, о жилище, и вблизи
Пятисотлетней древности палаты,
Узнав его, спускали жалюзи.

Венеция, еще ты спишь покуда,
Еще ты дремлешь в облаке химер.
Но мир не спит, он друг простого люда,
Он за рулем, как этот гондольер!

1957

* * *

Разве ты объяснишь мне — откуда
Эти странные образы дум?
Отвлеки мою волю от чуда,
Обреки на бездействие ум.

Я боюсь, что наступит мгновенье,
И, не зная дороги к словам,
Мысль, возникшая в муках творенья
Разорвет мою грудь пополам.

Промышляя искусством на свете,
Услаждая слепые умы,
Словно малые глупые дети,
Веселимся над пропастью мы.

Но лишь только черед наступает,
Обожженные крылья влача,
Мотылек у свечи умирает,
Чтобы вечно пылала свеча!

1957 или 1958

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

В полумраке увяданья
Развернулась, как дуга,
Вкруг бревенчатого зданья
Копьеносная тайга.

День в лесу горяч и долог,
Пахнет струганым бревном.
В одиночестве геолог
Буйно пляшет за окном.

Он сегодня в лихорадке
Открывателя наук.
На него дивится с грядки
Ошалевший бурундук.

Смотрит зверь на чародея,
Как, от мира вдалеке,
Он, собою не владея,
Пляшет с камешком в руке.

Поздно вечером с разведки
Возвратится весь отряд,
Накомарники и сетки
Снова в кучу полетят.

Семь здоровых юных глоток
Боевой испустят клич
И пойдут таскать из лодок
Неощипанную дичь.

Загорелые, как черти,
С картузами набекрень, —
Им теперь до самой смерти
Не забыть счастливый день.

1958

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДАЧА

В Переделкине дача стояла,
В даче жил старичок генерал,
В перстеньке у того генерала
Незатейливый камень сверкал.

В дымных сумерках небо ночное,
Генерал у окошка сидит,
На колечко свое золотое,
Усмехаясь, подолгу глядит.

Вот уж первые капли упали,
Замолчали в кустах соловьи.
Вспоминаются курские дали,
Затяжные ночные бои.

Вспоминается та, что, прощаясь,
Не сказала ни слова в упрек,
Но, сквозь слезы ему улыбаясь,
С пальца этот сняла перстенек.

«Ты уедешь, — сказала майору, —
Может быть, повстречаешься с той,
Для которой окажется впору
Перстенек незатейливый мой.

Ты подаришь ей это колечко,
Мой горячий, мой белый опал,
Позабудешь, кого у крылечка,
Как безумный, всю ночь целовал.

Отсияют и высохнут росы,
Отпылают и стихнут бои,
И не вспомнишь ты черные косы,
Эти черные косы мои!»

Говорила — как в воду глядела,
Что сказала — и вправду сбылось,
Только той, что колечко надела,
До сих пор для него не нашлось.

Отсияли и высохли росы,
Отпылали и стихли бои,
Позабылись и черные косы,
И отпели в кустах соловьи.

Старый китель с утра разутюжен,
Серебрится в висках седина,
Ждет в столовой нетронутый ужин
С непочатой бутылкой вина.

Что прошло — то навеки пропало,
Что пропало — навек потерял...
В Переделкине дача стояла,
В даче жил старичок генерал.

1958

НА ВОКЗАЛЕ

В железном сумеречном зале,
Глотая паровозный дым,
Сидит Мадонна на вокзале
С ребенком маленьким своим.

Вокруг нее кульки, баулы,
Дорожной жизни суета.
В блестящих бляхах вельзевулы
Тележку гонят в ворота.

На башне радио играет,
Гудок за окнами гудит,
И лишь она одна не знает,
Который час она сидит.

Который час ребенка держит,
Который час! Который час!
Который час и дым и скрежет
С полузакрытых гонит глаз.

И сколько дней еще придется —
О, сколько дней! О, сколько дней! —
Терпеть, пока не улыбнется
Дитя у матери своей!

Над черной линией портала
Висит вечерняя звезда.
Несутся с Курского вокзала
По всей вселенной поезда.

Летят сквозь топи и туманы,
Сквозь перелески и пески,
И бьют им бездны в барабаны,
И рвут их пламя на куски.

И лишь на бедной той скамейке,
Превозмогая боль и страх,
Мадонна в шубке из цигейки
Молчит с ребенком на руках.

1958

ЖЕЛЕЗНАЯ СТАРУХА

«У меня железная старуха, —
Говорил за ужином кузнец. —
Только выпьешь — глядь, и оплеуха,
Мне ж обидно это наконец».

После бани дочиста промытый,
Был он черен, страшен и космат,
Колченогий, оспою изрытый,
Из-под Курска раненый солдат.

«Ведь у бабы только ферма птичья,
У меня же — господи ты мой!
Что ни дай — справляю без различья,
Возвращаюсь за полночь домой!»

Тут у брата кончилась сивуха,
И кузнец качнулся у стола,
И, нахмурясь, крикнул: «Эй, старуха!
Аль забыла курского орла?»

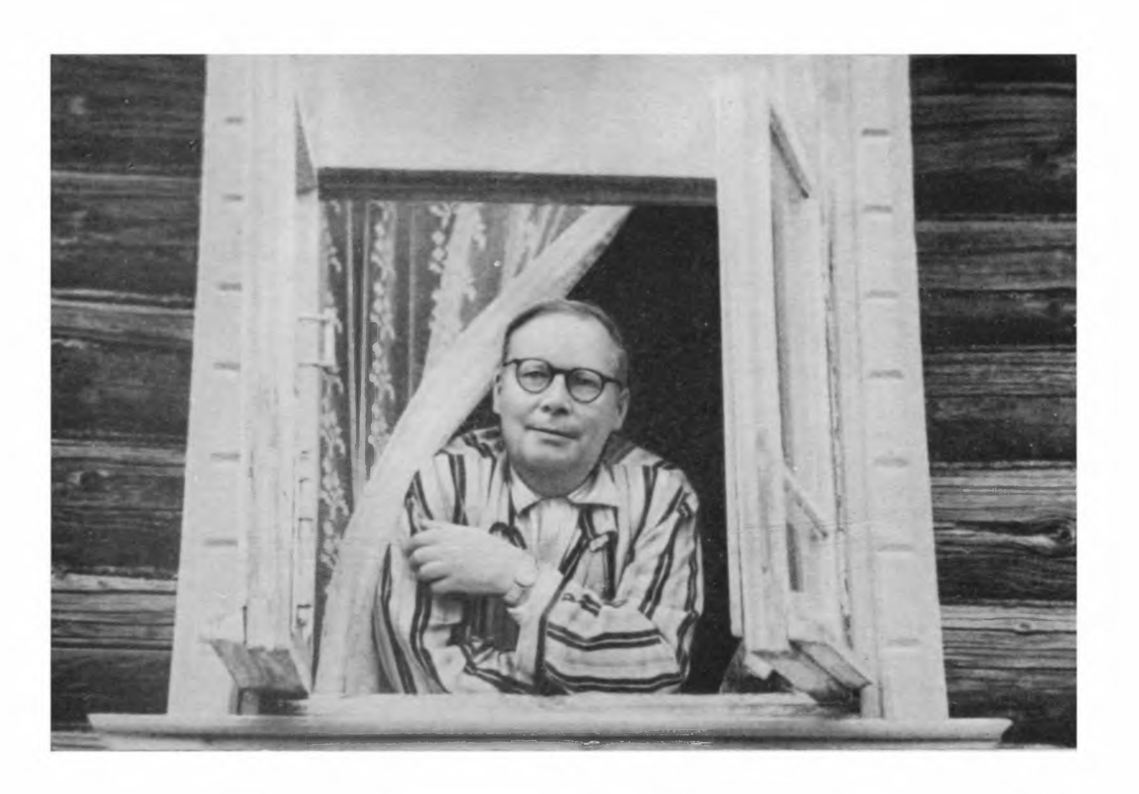
И метнулась старая из сенец,
Полушубок вынесла орлу,
И большой обиженный младенец
Потащился с нею по селу.

Тут ему и небо не светило,
Только звезды сыпало на снег,
Точно впрямь счастливцу говорило:
«Мне б такую, милый человек!»

1958

ИСЦЕЛЕНИЕ ИЛЬИ МУРОМЦА

Как во городе славном во Муроме,
Как во том ли селе Карачарове
Жил крестьянин достатка исправного,
По прозванью Иван Тимофеевич.
Дал господь ему сына единого,
Дал единого сына любимого.



Хоть и люб был Илья отцу-матери,
Да здоровьем Илейка не выдался.

Вот подрос Илья, стал пяти годов,
А на ножки Илья не становится.
Вот уж стал Илья десяти годов,
А с лежанки Илья не поднимется.
Вот уж стал Илья двадцати годов —
Целый день с печи не слезает он.
А как стал Илья тридцати годов,
Так и ждать перестал исцеления.

Закручинились крепко родители,
Думу думают, приговаривают:
«Ох ты, чадушко наше убогое,
Ты убогое чадо, безногое!
Не помощник отцу ты во старости,
Не заступник ты матери в бедности.
Приберет нас бог, ты беды хлебнешь,
Не поешь, не попьешь, на печи помрешь».

Раз пошел Иван Тимофеевич
Со старухою в поле крестьянствовать.
Взял он на руки сына любимого,
Посадил его на печь высокую
«Ты сиди, сынок, дотемна сиди,
Дотемна сиди, за избой гляди,
А начнешь слезать — не удержишься,
Упадешь, разобьешься до смерти».

Вот ушел Иван Тимофеевич
Со старухою в поле крестьянствовать.
Удалец Илья на печи сидит,
На печи сидит, за избой глядит.
В ту пору мимо города Мурома,
Да того ли села Карачарова
Шли калики домой перехожие,
Перехожие калики, переброжие.
Собирались калики под окнами,
Становились они во единый круг,
Клюки-посохи в землю потыкали,
Подорожные сумки повесили,

Да вскричали они зычным голосом:
«Уж ты гой еси, чадо единое,
Ты единое чадо любимое,
Сотвори-ка ты нам подаяние,
Поднеси ты нам пива из погреба,
Ты напой нас, калик, крепкой брагою!»

Отвечает Илья свет Иванович:
«Я и рад бы вам дать подаяние,
Рад бы дать я вам пива из погреба,
Напоить вас, калик, крепкой брагою —
Да уж тридцать лет, как я сиднем сижу,
Как я сиднем сижу, за избой гляжу.
Мне ни с печки слезть, мне ни ковш достать,
Мне ни ковш достать, вам испить подать!»

Говорят калики перехожие:
«Уж ты гой еси, Илья свет Иванович!
Про твое про злосчастье нам ведомо,
Про твои про заботы рассказано.
Растяни ты свои крепки жилочки
Да расправь ты свои белы косточки,
Слезь ты с печки долой да притопни ногой,
Перехожих калик пивом-брагой напой!»

Растянул тут Илья крепки жилочки,
Да расправил свои белы косточки.
Спрыгнул с печки на ножки он резвые
Да и в погреб пошел, словно век ходил.
Нацедил он там пива домашнего,
Как просили калики перехожие,
Подал чашу с великою радостью,
Поклонился гостям до сырой земли.

Вот испили калики пива сладкого,
Допивать Илейке оставили.
«Ты испей, Илья, да поведай нам,
Каково в себе чуешь здоровьице?»
Отвечает Илья свет Иванович:
«Чую, стал я теперь будто здрав совсем».

Говорят калики перехожие:
«Ты другую нам чашу нацеди, Илья».

Их Илья свет Иванович послушался,
Снова он нацедил пива сладкого.
Отпивали они пива сладкого,
Оставляли полчаши, приговаривали:
«Допивай, Илья, да поведай нам,
Ты какую в себе чуешь силушку?»

Разгорелось у Ильи сердце буйное,
Распотелось у Ильи тело белое:
«Чую силушку в себе я великую!
Кабы было кольцо во сырой земле,
Ухватил бы кольцо я одной рукой,
Повернул бы вокруг землю-матушку».

Говорят калики перехожие:
«Многовато у тебя стало силушки,
Не сносить тебя мать-сырой-земле!
Нацеди-ка, Илья, чашу в третий раз».

Их Илья свет Иванович послушался,
В третий раз нацедил пива сла̀дкого.
Отпивали они пива сладкого,
Чуть Илейке оставили на донышке:
«Допивай, Илья, да поведай нам,
Какова у тебя стала силушка?»
Отвечает Илья свет Иванович:
«Вполовину ее поубавилось».

Говорят калики перехожие:
«Ты купи, Илья, жеребеночка,
Станови его в сруб на три месяца
Да корми его пшеницей белояровой.
Пусть в трех росах конь покатается,
По зеленым лугам поваляется, —
Он послужит тебе верой-правдою,
Он потопчет всю силу неверную,
Своему он поможет хозяину».

Говорят калики перехожие:
«Ты достань себе латы богатырские,
Меч булатный да палицу тяжелую,
Да коню кипарисное седелышко.

Поезжай ты, Илья, во чисто поле,
Смерть тебе в чистом поле не писана.
Совершишь ты дела богатырские,
Всей Руси нашей будешь защитником!»
И, сказав Илье таковы слова,
Потерялись калики перехожие...

Тут пошел Илья во чисто поле,
Видит: спят, почивают родители.
Притомились они, приумаялись,
А дубье-колодье не повырубили.
Расходилась в Илье сила буйная,
Всё дубье-колодье он повырубил,
Корневища из пала повытаскал,
В речку быструю с пашни повыгрузил.
Пробудились к полудню родители,
Испугались, глазам не поверили:
Что в неделю всем домом не сделаешь,
То прикончил Илья за единый мах!

А Илья купил жеребеночка,
Становил его в сруб на три месяца,
В трех он росах коня повыкатывал
Да пшеницей кормил белояровой.
Стал поигрывать конь да поплясывать,
Гривой шелковой стал он потряхивать,
Стал проситься конь во чисто поле
Показать свою силу буйную.

Тут взнуздал коня Илья Муромец,
Сам облатился, обкольчужился,
Взял он в руки булатную палицу,
Опоясался дорогим мечом.
То не дуб сырой к земле клонится,
К земле клонится, расстилается —
Расстилается сын перед батюшкой,
Просит о́тчего благословения:
«Уж ты гой еси, родный батюшка,
Государыня родна матушка,
Отпустите меня в стольный Киев-град,
Послужить Руси верой-правдою,
Постоять в бою за крестьянский люд!»

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ



ВСТУПЛЕНИЕ

Не пора ль нам, братия, начать
О походе Игоревом слово,
Чтоб старинной речью рассказать
Про деянья князя удалого?
А воспеть нам, братия, его —
В похвалу трудам его и ранам —
По былинам времени сего,
Не гоняясь в песне за Бояном.
Тот Боян, исполнен дивных сил,
Приступая к вещему напеву,
Серым волком по полю кружил,
Как орел, под облаком парил,
Растекался мыслию по древу.
Жил он в громе дедовских побед,
Знал немало подвигов и схваток,
И на стадо лебедей чуть свет
Выпускал он соколов десяток.
И, встречая в воздухе врага,
Начинали соколы расправу,
И взлетала лебедь в облака,
И трубила славу Ярославу.
Пела древний киевский престол,
Поединок славила старинный,
Где Мстислав Редéдю заколол
Перед всей косожскою дружиной,
И Роману Красному хвалу
Пела лебедь, падая во мглу.

Но не десять соколов пускал
Наш Боян, но, вспомнив дни былые,

Вещие персты он подымал
И на струны возлагал живые, —
Вздрагивали струны, трепетали,
Сами князям славу рокотали.

Мы же по иному замышленью
Эту повесть о годние бед
Со времен Владимира княженья
Доведем до Игоревых лет
И прославим Игоря, который,
Напрягая разум, полный сил,
Мужество избрал себе опорой,
Ратным духом сердце поострил
И повел полки родного края,
Половецким землям угрожая.

О Боян, старинный соловей!
Приступая к вещему напеву,
Если б ты о битвах наших дней
Пел, скача по мысленному древу;
Если б ты, взлетев под облака,
Нашу славу с дедовскою славой
Сочетал на долгие века,
Чтоб прославить сына Святослава;
Если б ты Тра́яновой тропой
Средь полей помчался и курганов, —
Так бы ныне был воспет тобой
Игорь-князь, могучий внук Тра́янов:
«То не буря соколов несет
За поля широкие и долы,
То не стаи галочьи летят
К Дону на великие просторы!»
Или так воспеть тебе, Боян,
Внук Велесов, наш военный стан:
«За Сулою кони ржут,
Слава в Киеве звенит,
В Новеграде трубы громкие трубят,
Во Путивле стяги бранные стоят!»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Игорь-князь с могучею дружиной
Мила брата Всеволода ждет.
Молвит буй-тур Всеволод: «Единый
Ты мне брат, мой Игорь, и оплот!
Дети Святослава мы с тобою,
Так седлай же борзых коней, брат!
А мои, давно готовы к бою,
Возле Курска под седлом стоят».

2

А куряне славные —
Витязи исправные:
Родились под трубами,
Росли под шеломами,
Выросли, как воины,
С конца копья вскормлены.
Все пути им ведомы,
Все яруги знаемы,
Луки их натянуты,
Колчаны отворены,
Сабли их наточены,
Шеломы позолочены.
Сами скачут по полю волками
И, всегда готовые к борьбе,
Добывают острыми мечами
Князю — славы, почестей — себе!

8

Но, взглянув на солнце в этот день,
Подивился Игорь на светило:
Середь бела дня ночная тень
Ополченья русские покрыла.
И не зная, что сулит судьбина,
Князь промолвил: «Братья и дружина!

Лучше быть убиту от мечей,
Чем от рук поганых полонену!
Сядем, братья, на лихих коней
Да посмотрим синего мы Дону!»
Вспала князю эта мысль на ум —
Искусить неведомого края,
И сказал он, полон ратных дум,
Знаменьем небес пренебрегая:
«Копие хочу я преломить
В половецком поле незнакомом,
С вами, братья, голову сложить
Либо Дону зачерпнуть шеломом!»

4

Игорь-князь во злат стремень вступает,
В чистое он поле выезжает.
Солнце тьмою путь ему закрыло,
Ночь грозою птиц перебудила,
Свист зверей несется, полон гнева,
Кличет Див над ним с вершины древа,
Кличет Див, как половец в дозоре,
За Сулу, на Сурож, на Поморье,
Корсуню и всей округе ханской,
И тебе, болван тмутороканский!

5

И бегут, заслышав о набеге,
Половцы сквозь степи и яруги,
И скрипят их старые телеги,
Голосят, как лебеди в испуге.
Игорь к Дону движется с полками,
А беда несется вслед за ним:
Птицы, поднимаясь над дубами,
Реют с криком жалобным своим,
По оврагам волки завывают,
Крик орлов доносится из мглы —
Знать, на кости русские скликают
Зверя кровожадные орлы;

На щиты червленые лисица
Дико брешет в сумраке ночном...
О Русская земля!
Ты уже за холмом.

6

Долго длится ночь. Но засветился
Утренними зорями восток.
Уж туман над полем заклубился,
Говор галок в роще пробудился,
Соловьиный щекот приумолк.
Русичи, сомкнув щиты рядами,
К славной изготовились борьбе,
Добывая острыми мечами
Князю — славы, почестей — себе.

7

На рассвете, в пятницу, в туманах,
Стрелами по полю полетев,
Смяло войско половцев поганых
И умчало половецких дев.
Захватили золота без счета,
Груду аксамитов и шелков,
Вымостили топкие болота
Епанчами красными врагов.
А червленый стяг с хоругвью белой,
Челку и копье из серебра
Взял в награду Святославич смелый,
Не желая прочего добра.

8

Выбрав в поле место для ночлега
И нуждаясь в отдыхе давно,
Спит гнездо бесстрашное Олега —
Далеко подвинулось оно!
Залетело храброе далече,
И никто ему не господин:

Будь то сокол, будь то гордый кречет,
Будь то черный ворон — половчин.
А в степи, с ордой своею дикой
Серым волком рыская чуть свет,
Старый Гзак на Дон бежит великий,
И Кончак спешит ему вослед.

9

Ночь прошла, и кровяные зори
Возвещают бедствие с утра.
Туча надвигается от моря
На четыре княжеских шатра.
Чтоб четыре солнца не сверкали,
Освещая Игореву рать,
Быть сегодня грому на Каяле,
Лить дождю и стрелами хлестать!
Уж трепещут синие зарницы,
Вспыхивают молнии кругом.
Вот где копьям русским преломиться,
Вот где саблям острым притупиться,
Загремев о вражеский шелом!
О Русская земля!
Ты уже за холмом.

10

Вот Стрибожьи вылетели внуки —
Зашумели ветры у реки,
И взметнули вражеские луки
Тучу стрел на русские полки.
Стоном стонет мать-земля сырая,
Мутно реки быстрые текут,
Пыль несется, поле покрывая,
Стяги плещут: половцы идут!
С Дона, с моря, с криками и с воем
Валит враг, но, полон ратных сил,
Русский стан сомкнулся перед боем —
Щит к щиту — и степь загородил.

11

Славный яр-тур Всеволод! С полками
В обороне крепко ты стоишь,
Прыщешь стрелы, острыми клинками
О шеломы ратные гремишь.
Где ты ни проскачешь, тур, шеломом
Золотым посвечивая, там
Шишаки земель аварских с громом
Падают, разбиты пополам.
И слетают головы с поганых,
Саблями порублены в бою,
И тебе ли, тур, скорбеть о ранах,
Если жизнь не ценишь ты свою!
Если ты на ратном этом поле
Позабыл о славе прежних дней,
О златом черниговском престоле,
О желанной Глебовне своей!

12

Были, братья, времена Траяна,
Миновали Ярослава годы,
Позабылись правнуками рано
Грозные Олеговы походы.
Тот Олег мечом ковал крамолу,
Пробираясь к отчему престолу,
Сеял стрелы и, готовясь к брани,
В злат стреме́нь вступал в Тмуторока́ни.
В злат стремень вступал, готовясь к сече,
Звон тот слушал Всеволод далече,
А Владимир за своей стеною
Уши затыкал перед бедою.

13

А Борису, сыну Вячеслава,
Зелен саван у Канина брега
Присудила воинская слава
За обиду храброго Олега.
На такой же горестной Каяле,

Укрепив носилки между вьюков,
Святополк отца увез в печали,
На конях угорских убаюкав.
Прозван Гориславичем в народе,
Князь Олег пришел на Русь как ворог,
Внук Даждь-бога бедствовал в походе,
Век людской в крамолах стал недолог.
И не стало жизни нам богатой,
Редко в поле выходил оратай,
Вóроны над пашнею кружились,
На убитых с криками садились,
Да слетались галки на беседу,
Собираясь стаями к обеду...
Много битв в те годы отзвучало,
Но такой, как эта, не бывало.

14

Уж с утра до вечера и снова,
С вечера до самого утра,
Бьется войско князя удалого
И растет кровавых тел гора.
День и ночь над полем незнакомым
Стрелы половецкие свистят,
Сабли ударяют по шеломам,
Копья харалужные трещат.
Мертвыми усеяно костями,
Далеко от крови почернев,
Задымилось поле под ногами,
И взошел великими скорбями
На Руси кровавый тот посев.

15

Что там шумит,
Что там звенит
Далеко во мгле перед зарею?
Игорь, весь израненный, спешит
Беглецов вернуть обратно к бою.
Не удержишь вражескую рать!
Жалко брата Игорю терять.

Бились день, рубились день, другой,
В третий день к полудню стяги пали,
И расстался с братом брат родной
На реке кровавой, на Каяле.
Недостало русичам вина,
Славный пир дружины завершили —
Напоили сватов допьяна,
Да и сами головы сложили.
Степь поникла, жалости полна,
И деревья ветви приклонили.

16

И настала тяжкая година,
Поглотила русичей чужбина,
Поднялась Обида от курганов
И вступила девой в край Траянов.
Крыльями лебяжьими всплеснула,
Дон и море оглашая криком,
Времена довольства пошатнула,
Возвестив о бедствии великом.
А князья дружин не собирают,
Не идут войной на супостата,
Малое великим называют
И куют крамолу брат на брата.
А враги на Русь несутся тучей,
И повсюду бедствие и горе.
Далеко ты, сокол наш могучий,
Птиц бия, ушел на сине море!

17

Не воскреснуть Игоря дружине,
Не подняться после лютой сечи!
И явилась Ка́рна, и в кручине
Смертный вопль исторгла, и далече
Заметалась Же́ля по дорогам,
Потрясая искрометным рогом.
И от края, братья, и до края
Пали жены русские, рыдая:
«Уж не видеть милых лад нам боле!

Кто разбудит их на ратном поле?
Их теперь нам мыслию не смыслить,
Их теперь нам думою не сдумать,
И не жить нам в тереме богатом,
Не звенеть нам сéребром да златом!»

18

Стонет, братья, Киев над горою,
Тяжела Чернигову напасть,
И печаль обильною рекою
По селеньям русским разлилась.
И нависли половцы над нами,
Дань берут по белке со двора,
И растет крамола меж князьями,
И не видно от князей добра.

19

Игорь-князь и Всеволод отважный,
Святослава храбрые сыны, —
Вот ведь кто с дружиною бесстрашной
Разбудил поганых для войны!
А давно ли, мощною рукою
За обиды наши покарав,
Это зло великою грозою
Усыпил отец их Святослав!
Был он грозен в Киеве с врагами
И поганых ратей не щадил:
Устрашил их сильными полками,
Порубил булатными мечами
И на Степь ногою наступил.
Потоптал холмы он и яруги,
Возмутил теченье быстрых рек,
Иссушил болотные округи,
Степь до лукоморья пересек.
А того поганого Кобяка
Из железных вражеских рядов
Вихрем вырвал, и упал, собака,
В Киеве, у княжьих теремов.

20

Венецейцы, греки и морава
Что ни день о русичах поют,
Величают князя Святослава,
Игоря отважного клянут.
И смеется гость земли немецкой,
Что, когда не стало больше сил,
Игорь-князь в Каяле половецкой
Русские богатства утопил.
И бежит молва про удалого,
Будто он, на Русь накликав зло,
Из седла, несчастный, золотого
Пересел в кащеево седло. . .
Приумолкли города, и снова
На Руси веселье полегло.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

В Киеве далеком, на горах,
Смутный сон приснился Святославу,
И объял его великий страх,
И собрал бояр он по уставу.
«С вечера до нынешнего дня, —
Молвил князь, поникнув головою, —
На кровати тисовой меня
Покрывали черной пеленою.
Черпали мне синее вино,
Горькое отравленное зелье,
Сыпали жемчу́г на полотно
Из колчанов вражьего изделья.
Златоверхий терем мой стоял
Без конька, и, предвещая горе,
Вражий ворон в Плесенске кричал
И летел, шумя, на сине море».

2

И бояре князю отвечали:
«Смутен ум твой, княже, от печали.
Не твои ль два сокола, два чада,
Поднялись над полем незнакомым
Поискать Тмуторокани-града
Либо Дону зачерпнуть шеломом?
Да напрасны были их усилья.
Посмеявшись на твои седины,
Подрубили половцы им крылья,
А самих опутали в путины».

3

В третий день окончилась борьба
На реке кровавой, на Каяле,
И погасли в небе два столба,
Два светила в сумраке пропали.
Вместе с ними, за море упав,
Два прекрасных месяца затмились —
Молодой Олег и Святослав
В темноту ночную погрузились.
И закрылось небо, и погас
Белый свет над Русскою землею,
И, как барсы лютые, на нас
Кинулись поганые с войною.
И воздвиглась на Хвалу Хула,
И на волю вырвалось Насилье,
Прянул Див на землю, и была
Ночь кругом и горя изобилье.

4

Девы готские у края
Моря синего живут.
Русским золотом играя,
Время Бусово поют.
Месть лелеют Шаруканью,
Нет конца их ликованью. . .
Нас же, братия-дружина,
Только беды стерегут.

5

И тогда великий Святослав
Изронил свое златое слово,
Со слезами смешано, сказав:
«О сыны, не ждал я зла такого!
Загубили юность вы свою,
На врага не вовремя напали,
Не с великой честию в бою
Вражью кровь на землю проливали.
Ваше сердце в кованой броне
Закалилось в буйстве самочинном.
Что ж вы, дети, натворили мне
И моим серебряным сединам?
Где мой брат, мой грозный Ярослав,
Где его черниговские слуги?
Где татраны, жители дубрав,
Топчаки, ольберы и ревуги?
А ведь было время — без щитов,
Выхватив ножи из голенища,
Шли они на полчища врагов,
Чтоб отмстить за наши пепелища.
Вот где славы прадедовской гром!
Вы ж решили бить наудалую:
«Нашу славу силой мы возьмем,
А за ней поделим и былую».
Диво ль старцу — мне помолодеть?
Старый сокол, хоть и слаб он с виду,
Высоко заставит птиц лететь,
Никому не даст гнезда в обиду.
Да князья помочь мне не хотят,
Мало толку в силе молодецкой.
Время, что ли, двинулось назад?
Ведь под самым Римовом кричат
Русичи под саблей половецкой!
И Владимир в ранах, чуть живой, —
Горе князю в сече боевой!»

6

Князь великий Всеволод! Доколе
Муки нам великие терпеть?
Не тебе ль на суздальском престоле
О престоле отчем порадеть?
Ты и Волгу веслами расплещешь,
Ты шеломом вычерпаешь Дон,
Из живых ты луков стрелы мечешь,
Сыновьями Глеба окружен.
Если б ты привел на помощь рати,
Чтоб врага не выпустить из рук, —
Продавали б девок по ногате,
А рабов — по резани на круг.

7

Вы, князья буй Рюрик и Давид!
Смолкли ваши воинские громы.
А не ваши ль плавали в крови
Золотом покрытые шеломы?
И не ваши ль храбрые полки
Рыкают, как туры, умирая
От каленой сабли, от руки
Ратника неведомого края?
Встаньте, государи, в злат стремень
За обиду в этот черный день,
За Русскую землю,
За Игоревы раны —
Удалого сына Святославича!

8

Ярослав, князь галицкий! Твой град
Высоко стоит под облаками.
Оседлал вершины ты Карпат
И подпер железными полками.
На своем престоле золотом
Восемь дел ты, князь, решаешь разом,
И народ зовет тебя кругом
Осмомыслом — за великий разум.

Дверь Дуная заперев на ключ,
Королю дорогу заступая,
Времена ты мечешь выше туч,
Суд вершишь до самого Дуная.
Власть твоя по землям потекла,
В Киевские входишь ты пределы,
И в салтанов с отчего стола
Ты пускаешь княжеские стрелы.
Так стреляй в Кончака, государь,
С дальних гор на ворога ударь —
За Русскую землю,
За Игоревы раны —
Удалого сына Святославича!

9

Вы, князья Мстислав и буй Роман!
Мчит ваш ум на подвиг мысль живая.
И несетесь вы на вражий стан,
Соколом ширяясь сквозь туман,
Птицу в буйстве одолеть желая.
Вся в железе княжеская грудь,
Золотом шелом латинский блещет,
И повсюду, где лежит ваш путь,
Вся земля от тяжести трепещет.
Хинову вы били и Литву;
Деремела, половцы, ятвяги,
Бросив копья, пали на траву
И склонили буйную главу
Под мечи булатные и стяги.

10

Но уж прежней славы больше с нами нет.
Уж не светит Игорю солнца ясный свет.
Не ко благу дерево листья обронило:
Поганое войско грады поделило.
По Суле, по Роси счету нет врагу.
Не воскреснуть Игореву храброму полку!
Дон зовет нас, княже, кличет нас с тобой!
Ольговичи храбрые одни вступили в бой.

11

Князь Ингварь, князь Всеволод! И вас
Мы зовем для дальнего похода,
Трое ведь Мстиславичей у нас,
Шестокрыльцев княжеского рода!
Не в бою ли вы себе честном
Города и волости достали?
Где же ваш отеческий шелом,
Верный щит, копье из ляшской стали?
Чтоб ворота Полю запереть,
Вашим стрелам время зазвенеть
    За Русскую землю,
    За Игоревы раны —
Удалого сына Святославича!

12

Уж не течет серебряной струею
К Переяславлю-городу Сула.
Уже Двина за полоцкой степою
Под клик поганых в топи утекла.
Но Изяслав, Васильков сын, мечами
В литовские шеломы позвонил,
Один с своими храбрыми полками
Всеславу-деду славы прирубил.
И сам, прирублен саблею каленой,
В чужом краю, среди кровавых трав,
Кипучей кровью в битве обагренный,
Упал на щит червленый, простонав:
«Твою дружину, княже, приодели
Лишь птичьи крылья у степных дорог,
И полизали кровь на юном теле
Лесные звери, выйдя из берлог».
И в смертный час на помощь храбру мужу
Никто из братьев в бой не поспешил.
Один в степи свою жемчужну душу
Из храброго он тела изронил.
Через златое, братья, ожерелье
Ушла она, покинув свой приют.
Печальны песни, замерло веселье,
Лишь трубы городенские поют...

13

Ярослав и правнуки Всеслава!
Преклоните стяги! Бросьте меч!
Вы из древней выскочили славы,
Коль решили честью пренебречь.
Это вы раздорами и смутой
К нам на Русь поганых завели,
И с тех пор житья нам нет от лютой
Половецкой проклятой земли!

14

Шел седьмой по счету век Траянов.
Князь могучий полоцкий Всеслав
Кинул жребий, в будущее глянув,
О своей любимой загадав.
Замышляя новую крамолу,
Он опору в Киеве нашел,
И примчался к древнему престолу,
И копьем ударил о престол.
Но не дрогнул старый княжий терем,
И Всеслав, повиснув в синей мгле,
Выскочил из Белгорода зверем —
Не жилец на Киевской земле.
И, звеня секирами на славу,
Двери новгородские открыл,
И расшиб он славу Ярославу,
И с Дудуток через лес-дубраву
До Немиги волком проскочил.
А на речке, братья, на Немиге
Княжью честь в обиду не дают —
День и ночь снопы кладут на риге,
Не снопы, а головы кладут.
Не цепом — мечом своим булатным
В том краю молотит земледел,
И кладет он жизнь на поле ратном,
Веет душу из кровавых тел.
Берега Немиги той проклятой
Почернели от кровавых трав —
Не добром засеял их оратай,
Но костями русскими — Всеслав.

15

Тот Всеслав людей судом судил,
Города Всеслав князьям делил,
Сам всю ночь, как зверь, блуждал в тумане,
Вечер — в Киеве, до зорь — в Тмуторокани.
Словно волк, напав на верный путь,
Мог он Хорсу бег пересягнуть.

16

У Софии в Полоцке, бывало,
Позвонят к заутрене, а он
В Киеве, едва заря настала,
Колокольный слышит перезвон.
И хотя в его могучем теле
Обитала вещая душа,
Всё ж страданья князя одолели,
И погиб он, местию дыша.
Так свершил он путь свой небывалый.
И сказал Боян ему тогда:
«Князь Всеслав! Ни мудрый, ни удалый
Не минуют божьего суда».

17

О, стонать тебе, земля родная,
Прежние годины вспоминая
И князей давно минувших лет!
Старого Владимира уж нет.
Был он храбр, и никакая сила
К Киеву его б не пригвоздила.
Кто же стяги древние хранит?
Эти — Рюрик носит, те — Давид,
Но не вместе их знамена плещут,
Врозь поют их копия и блещут.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Над широким берегом Дуная,
Над великой Галицкой землей
Плачет, из Путивля долетая,
Голос Ярославны молодой:

«Обернусь я, бедная, кукушкой,
По Дунаю-речке полечу
И рукав с бобровою опушкой,
Наклонясь, в Каяле омочу.
Улетят, развеются туманы,
Приоткроет очи Игорь-князь,
И утру кровавые я раны,
Над могучим телом наклонясь».

Далеко в Путивле, на забрале,
Лишь заря займется поутру,
Ярославна, полная печали,
Как кукушка, кличет на юру:

«Что ты, Ветер, злобно повеваешь,
Что клубишь туманы у реки,
Стрелы половецкие вздымаешь,
Мечешь их на русские полки?
Чем тебе не любо на просторе
Высоко под облаком летать,
Корабли лелеять в синем море,
За кормою волны колыхать?
Ты же, стрелы вражеские сея,
Только смертью веешь с высоты.
Ах, зачем, зачем мое веселье
В ковылях навек развеял ты?»

На заре в Путивле причитая,
Как кукушка раннею весной,
Ярославна кличет молодая,
На стене рыдая городской:

«Днепр мой славный! Каменные горы
В землях половецких ты пробил,

Святослава в дальние просторы
До полков Кобяковых посил.
Возлелей же князя, господине,
Сохрани на дальней стороне,
Чтоб забыла слезы я отныне,
Чтобы жив вернулся он ко мне!»

Далеко в Путивле, на забрале,
Лишь заря займется поутру,
Ярославна, полная печали,
Как кукушка, кличет на юру:

«Солнце трижды светлое! С тобою
Каждому приветно и тепло.
Что ж ты войско князя удалое
Жаркими лучами обожгло?
И зачем в пустыне ты безводной
Под ударом грозных половчан
Жаждою стянуло лук походный,
Горем переполнило колчан?»

2

И взыграло море. Сквозь туман
Вихрь промчался к северу родному —
Сам господь из половецких стран
Князю путь указывает к дому.
Уж погасли зори. Игорь спит.
Дремлет Игорь, но не засыпает.
Игорь к Дону мыслями летит,
До Донца дорогу измеряет.
Вот уж полночь. Конь давно готов.
Кто свистит в тумане за рекою?
То Овлур. Его условный зов
Слышит князь, укрытый темнотою:
«Выходи, князь Игорь!» И едва
Смолк Овлур, как от ночного гула
    Вздрогнула земля,
    Зашумела трава,
Буйным ветром вежи всколыхнуло.

В горностая-белку обратясь,
К тростникам помчался Игорь-князь,

И поплыл, как гоголь, по волне,
Полетел, как ветер, на коне.

Конь упал, и князь с коня долой,
Серым волком скачет он домой.

Словно сокол, вьется в облака,
Увидав Донец издалека.

Без дорог летит он, без путей,
Бьет к обеду уток-лебедей.

Там, где Игорь соколом летит,
Там Овлур, как серый волк, бежит, —

Все в росе от полуночных трав,
Бо́рзых ко́ней в беге надорвав.

3

Уж не каркнет ворон в поле,
Уж не крикнет галка там,
Не трещат сороки боле,
Только скачут по кустам.
Дятлы, Игоря встречая,
Стуком кажут путь к реке,
И, рассвет веселый возвещая,
Соловьи ликуют вдалеке.

4

И на волнах витязя лелея,
Рек Донец: «Велик ты, Игорь-князь!
Русским землям ты принес веселье,
Из неволи к дому возвратясь».
— «О река, — ответил князь, — немало
И тебе величья! В час ночной

Ты на волнах Игоря качала,
Берег свой серебряный устлала
Для него зеленою травой.
И когда дремал он под листвою,
Где царила сумрачная мгла,
Страж ему был гоголь над водою,
Чайка князя в небе стерегла».

5

А не всем рекам такая слава.
Вот Стугна, худой имея прав,
Разлилась близ устья величаво,
Все ручьи соседние пожрав,
И закрыла Днепр от Ростислава,
И погиб в пучине Ростислав.
Плачет мать над темною рекою,
Кличет сына-юношу во мгле,
И цветы поникли, и с тоскою
Приклонилось дерево к земле.

6

Не сороки во поле стрекочут,
Не вороны кличут у Донца —
Кони половецкие топочут,
Гзак с Кончаком ищут беглеца.
И сказал Кончаку старый Гзак:
«Если сокол улетает в терем,
Соколенок попадет впросак —
Золотой стрелой его подстрелим».
И тогда сказал ему Кончак:
«Если сокол к терему стремится,
Соколенок попадет впросак —
Мы его опутаем девицей».
— «Коль его опутаем девицей, —
Отвечал Кончаку старый Гзак, —
Он с девицей в терем свой умчится
И начнет нас бить любая птица
В половецком поле, хан Кончак!»

7

И изрек Боян, чем кончить речь
Песнотворцу князя Святослава:
«Тяжко, братья, голове без плеч,
Горько телу, коль оно безглаво».
Мрак стоит над Русскою землей:
Горько ей без Игоря одной.

8

Но восходит солнце в небеси —
Игорь-князь явился на Руси.

Вьются песни с дальнего Дуная,
Через море в Киев долетая.

По Боричеву восходит удалой
К Пирогощей богородице святой.

И страны рады,
И веселы грады.

Пели песню старым мы князьям,
Молодых настало время славить нам:

Слава князю Игорю,
Буй-тур Всеволоду,
Владимиру Игоревичу!

Слава всем, кто, не жалея сил,
За христиан полки поганых бил!

Здрав будь, князь, и вся дружина здрава!
Слава князям и дружине слава!

1938—1946

ИЗ ПЕРЕВОДОВ

ИЗ СЕРБСКОГО ЭПОСА

КОРОЛЕВИЧ МАРКО И ВИЛА

Проезжали двое побратимов
Через горный Мироч каменистый,
Первым ехал Королевич Марко,
А вторым был Милош-воевода.
Шли бок о бок добрые их кони,
Вместе копья ратные сверкали,
Белый лик друг другу лобызали
Побратимы, полные любови.
Задремал на Шарце Королевич
И сказал, очнувшись, побратиму:
«Брат мой милый, Милош-воевода,
Тяжкий сон меня одолевает,
Спой мне песню, разгони дремоту!»
Отвечает Милош-воевода:
«Брат мой милый, Королевич Марко!
Я бы спел тебе любую песню,
Да вчера, пируя на досуге,
Пил вино я с вилой Равиолой.
Вила петь в горах мне не велела,
Пригрозила, коль меня услышит,
Перебить гортань мою стрелою,
Прямо в сердце выстрелить из лука».
Засмеялся Королевич Марко:
«До тех пор, покуда я с тобою,
Пой, мой братец, и не бойся вилы,
Нам поможет мой волшебный Шарац,
Шестопер не выдаст золоченый».
Согласился Милош-воевода,
И запел прекрасную он песню

О героях наших македонских,
О премудрых старцах стародавних,
Как они боролись за отчизну,
Кто кому оставил завещанье.
Полюбилась Марко эта песня,
На седло в дремоте он склонился,
Королевич Марко отдыхает,
Воевода Милош напевает.
Услыхала песню Равиола,
Услыхала, подпевать ей стала.
Сладко пела вила Равиола,
Только где ей с Милошем равняться!
Рассердилась вила на юнака,
Понеслась на горную вершину,
Две стрелы пустила в воеводу,
Первая гортань ему пробила,
А вторая — доблестное сердце.
И воскликнул Милош-воевода:
«Ох, мой Марко, побратим по богу!
Ох, от вилы, брат мой, умираю!
Не напрасно, братец, говорил я,
Что в горах не надо петь юнаку!»
Тут очнулся Марко от дремоты,
Спрыгнул наземь с Шарца удалого,
Подтянул на Шарце он подпруги,
Он коня целует, обнимает:
«Ох, мой Шарац, конь мой быстрокрылый,
Догони мне вилу Равиолу!
Коль догонишь вилу Равиолу,
Будешь ты в серебряных подковах,
В шелковой попоне до колена,
Весь в кистях до самого копыта.
Золото вплету тебе я в гриву,
Драгоценным перлом изукрашу.
Если ж не нагонишь Равиолу,
Видит бог, твои я вырву очи,
Ноги я тебе переломаю
И оставлю в ельнике валяться,
Погибай в трущобе одинокий,
Как и я без друга-побратима!»
Тут вскочил на Шарца Королевич
И на Мироч кинулся высокий.

Пролетает вила по вершине,
Верный Шарац скачет по нагорью,
Не видать с нагорья Равиолы.
Как увидел Шарац Равиолу,
В высоту на три копья подпрыгнул,
На четыре вдаль за ней подался,
И настиг он вилу на вершине.
Видит вила — смерть ее подходит,
Прянула стрелою в поднебесье,
Но взмахнул тут шестопером Марко
И ударил вилу меж лопаток.
Сбросил Марко наземь Равиолу,
Начал бить, валяя с боку на бок:
«Будь ты, вила, проклята от бога!
Ты зачем убила побратима?
Принеси травы ему целебной,
А не то простишься с головою!»
Умоляет вила Равиола:
«Брат по богу, Королевич Марко!
Брат по богу и его предтече!
Отпусти живой меня на волю,
Принесу целебные я травы,
Исцелю убитого юнака!»
Не жесток был Королевич Марко,
Был незлобен сердцем он юнацким,
Отпустил он вилу на свободу.
Собирает вила божьи травы,
Собирает, кличет побратима:
«Побратим мой, ждать тебе недолго!»
Отыскала травы Равиола,
Залечила раны у юнака,
Возвратился голос к воеводе,
Даже слаще сделался, чем прежде,
Исцелилось доблестное сердце,
Даже стало доблестней, чем прежде!
Удалилась в горы злая вила,
Удалился Марко с побратимом,
Удалился в дальний край Поречье.
У большого Брегова-селенья
Речку Тимок вброд он переехал
И помчался с Милошем к Видину.
А подружкам вила наказала:

«Знайте, вилы, милые подруги!
Вы в лесу не трогайте юнаков
До тех пор, пока не умер Марко,
До тех пор, покуда он на Шарце,
До тех пор, покуда с шестопером.
Сколько горя с ним я натерпелась!
Чуть живая вырвалась на волю!»

МАРКО УЗНАЕТ ОТЦОВСКУЮ САБЛЮ

Рано встала девушка турчанка,
До зари проснулась, до рассвета,
На Марице холст она белила.
До зари чиста была Марица,
На заре Марица помутилась,
Вся в крови, она побагровела,
Понесла коней она и шапки,
А к полудню — раненых юнаков.
Вот плывет юнак перед турчанкой,
Увлекает витязя теченье,
Тянет вниз по быстрой той Марице.
Увидал он девушку турчанку
И взмолился, богом заклиная:
«Пожалей, сестра моя турчанка,
Дай мне взяться за конец холстины,
Помоги мне выбраться на берег,
Отплачу я щедрою наградой!»
Пожалела девушка юнака,
Бросила ему конец холстины,
Вытащила витязя на берег.
На юнаке раны и увечья,
На юнаке пышные одежды,
У колена кованая сабля,
А на ней три светлых рукояти,
Каждая сверкает самоцветом,
За три царских города не купишь.
Спрашивает витязь у турчанки:
«Девушка, сестра моя турчанка!
С кем живешь ты в этом белом доме?»
Отвечает девушка турчанка:

«Я живу там с матушкой-старушкой,
С милым братцем Мустафой-агою».
Говорит юнак ей незнакомый:
«Девушка, сестра моя турчанка!
Сделай милость, поклонись ты брату,
Чтобы взял меня на излеченье.
Есть со мной три пояса червонцев,
В каждом триста золотых дукатов,
Я один дарю тебе, сестрица,
Мустафе-аге другой дарю я,
Третий же себе я оставляю,
Чтоб лечить мне раны и увечья.
Если бог пошлет мне исцеленье,
Отплачу я щедрою наградой
И тебе и брату дорогому».
Вот пошла домой к себе турчанка,
Мустафе-аге она сказала:
«Мустафа-ага, мой милый братец!
Я спасла юнака на Марице,
Из воды спасла его студеной.
У него три пояса червонцев,
В каждом триста золотых дукатов.
Первый пояс дать он мне сулится,
А другой тебе за избавленье,
Третий же себе он оставляет,
Чтоб лечить увечия и раны.
Сделай милость, братец мой любимый,
Не губи несчастного юнака,
Приведи домой его с Марицы!»
Вышел турок на реку Марицу,
И едва он витязя увидел,
Выхватил он кованую саблю,
И отсек он голову юнаку.
Снял потом он с мертвого одежду
И домой с добычею вернулся.
Подошла сестра к нему турчанка,
Увидала саблю и одежду
И сказала брату со слезами:
«Милый брат, зачем ты это сделал!
Погубил зачем ты побратима?
И на что позарился ты, бедный,
На одну лишь кованую саблю!

Дай же бог, чтоб ей тебя убили!»
Так сказала — в башню побежала.
Пролетело времени немного,
От султана вышло повеленье
Мустафе-аге идти на службу.
Как поехал Мустафа на службу,
Взял с собой он кованую саблю.
При дворе турецкого султана
Все на саблю острую дивятся,
Пробуют и малый и великий,
Да никто не вытащит из ножен.
Долго сабля по рукам ходила,
Взял ее и Королевич Марко,
Глядь — она сама из ножен рвется.
Посмотрел на саблю Королевич,
А на ней три знака христианских:
Первый знак: «Новак, кузнечный мастер»,
Знак второй: «Великий царь Вукашин»,
А последний: «Королевич Марко».
Тут предстал юнак пред Мустафою:
«Отвечай мне, мо́лодец турецкий,
Где ты взял, скажи мне, эту саблю?
Может, ты купил ее за деньги?
Иль в бою тебе она досталась?
Иль отец оставил по наследству?
Иль в подарок принял от невесты?»
Мустафа-ага ему ответил:
«Эх, неверный Королевич Марко!
Если хочешь — всё тебе открою».
И открыл всю правду без утайки.
Молвил турку Королевич Марко:
«Что ж ты, турок, не лечил юнака?
Отплатил бы щедрою наградой
За юнака царь наш благородный».
Засмеялся турок нечестивый:
«Ты, гяур, с ума, как видно, спятил!
Коль тебе нужна его награда,
Сам бы ты за нею и гонялся!
Отдавай-ка саблю мне обратно!»
Тут взмахнул отцовской саблей Марко,
И отсек он голову убийце.
Лишь дошло всё это до султана,

Верных слуг послал он за юнаком.
Прибежали слуги за юнаком.
А юнак на турок и не смотрит,
Пьет вино из чаши — и ни с места.
Надоели Марко эти слуги,
Свой кафтан он на плечи накинул,
Шестопер он к поясу повесил
И пошел к турецкому султану.
В лютом гневе Королевич Марко
С сапогами на ковер уселся,
Злобно смотрит Марко на султана,
Плачет он кровавыми слезами.
Заприметил царь его турецкий,
Шестопер увидел пред собою,
Царь отпрянул, Марко следом прянул.
И прижал султана он к простенку.
Тут султан пошарил по карманам,
Сто дукатов вытащил он Марко:
«Вот тебе, мой Марко, на пирушку!
Кто тебя разгневал понапрасну?»
— «Царь султан, названый мой родитель!
Попусту не спрашивай юнака:
Саблю я отцовскую увидел!
Будь она в твоей, султан, деснице,
И с тобой бы я не посчитался!»
С тем юнак и вышел от султана.

Мейергофер

МЕМНОН

Судьбы моей печален приговор.
Я глух и нем, пока в тумане горы.
Но лишь блеснет пурпурный луч Авроры,
С пустыней я вступаю в разговор.

Как легкий вздох гармонии живой,
Звучит мой голос скорбно и уныло.
Поэзии волшебное горнило
Миротворит мой пламень роковой.

Я ничего не вижу впереди,
Лишь смерть ко мне протягивает длани.
Но змеи безрассудных упований
Еще живут и мечутся в груди.

С тобой, заря, увы, с одной тобой
Хотел бы я покинуть эти своды,
Чтоб в час любви из ясных недр свободы
Блеснуть над миром трепетной звездой.

Рюккерт

ПЕСНЬ СТАРЦА

Пусть белый снег кружится
Перед окном,
Морозов не боится
Мой старый дом.

Пусть голова под старость
Белым-бела,
Не гаснет в сердце радость
И жизнь мила.

Пусть вянут розы мая,
Но в эти дни
Во мне, не умирая,
Живут они.

Пускай метель кружится
Среди полей, —
Живой родник струится
В душе моей.

Пускай умолкли птицы
Давным-давно,
Всю ночь стучит синица
В мое окно:

«Ты жив ли, мой наставник?
Зима кругом!
Закрой покрепче ставни,
Запри свой дом.

Запри уединенный
Свой старый дом,
Засни, завороженный
Волшебным сном!»

Гете

СВИДАНИЕ И РАЗЛУКА

Душа в огне, нет силы боле,
Скорей в седло и на простор!
Уж вечер плыл, лаская поле,
Висела ночь у края гор.

Уже стоял, одетый мраком,
Огромный дуб, встречая нас.
Уж тьма, гнездясь по буеракам,
Смотрела сотней черных глаз.

Исполнен сладостной печали,
Светился в тучах лик луны.
Крылами ветры помавали,
Зловещих шорохов полны.

Толпою чудищ ночь глядела,
Но сердце пело, несся конь.
Какая жизнь во мне кипела,
Какой во мне пылал огонь!

В моих мечтах лишь ты носилась,
Твой взор так сладостно горел,
Что вся душа к тебе стремилась
И каждый вздох к тебе летел.

И вот — конец моей дороги,
И ты, овеяна весной,
Опять, опять со мной. О боги,
Чем заслужил я рай земной?

Но, ах, лишь утро засияло,
Угасли милые черты.
О, как меня ты целовала,
С какой тоской смотрела ты!

Я встал, душа рвалась на части,
И ты одна осталась вновь.
И всё ж любить — какое счастье,
Какой восторг — твоя любовь!

Шиллер

РЫЦАРЬ ТОГЕНБУРГ

«Вы одна моя отрада,
 Славный рыцарь мой,
Но просить меня не надо
 О любви земной.
Вы со мной иль не со мною —
 В сердце нет огня.
Что ж вы смотрите с мольбою,
 Рыцарь, на меня?»

И отводит рыцарь взоры
 От ее ланит,
И, в коня вонзая шпоры,
 В замок свой летит.
И, собрав свою дружину,
 Из родной страны
Мчится рыцарь в Палестину,
 На поля войны.

Горе, горе мусульманам!
 В кованой броне
Он летит на поле бранном
 На лихом коне.
И бежит, бежит в испуге
 Вражеская рать.
Но томится, полон муки,
 Тогенбург опять.

Год прошел в тоске напрасной,
 И не стало сил:
Без ее любови страстной
 Свет ему немил.
Только парус показался,
 И на корабле,
Полон радости, помчался
 Он к родной земле.

Вот в знакомые ворота
Входит пилигрим.
Ах, один слуга у входа
Предстает пред ним.
«Опоздали вы немного,
Девы в замке нет.
Отреклась она для бога
От мирских сует».

Тут покинул он навеки
Свой родимый дом,
Боевые снял доспехи,
Панцирь и шелом.
И, покрытый власяницей,
В цвете юных лет
Рыцарь следом за девицей
Бросил грешный свет.

В чаще лип стоит обитель,
Сад угрюм и дик.
Молодой пустынножитель
Келью там воздвиг.
На окно уставив очи,
Истомлен постом,
Бога он с утра до ночи
Молит об одном.

Одного душой унылой
Просит он давно —
Чтоб в обители у милой
Стукнуло окно.
Чтоб, как ангел безмятежный,
В тишине ночной
Дева лик склонила нежный
В сад пустынный свой.

Увидав ее, от счастья
Падал он без сил.
Годы шли, но, полон страсти,
Бога он молил.

Каждый день, больной и хилый,
Он просил одно —
Чтоб в обители у милой
Стукнуло окно.

Чтоб, как ангел безмятежный,
В тишине ночной
Дева лик склонила нежный
В сад пустынный свой.
Так однажды в день ненастный
Мертвый он сидел
И в окно с мольбой безгласной,
Как живой, глядел.

ИВИКОВЫ ЖУРАВЛИ

К Коринфу, где во время оно
Справляли праздник Посейдона,
На состязание певцов
Шел кроткий Ивик, друг богов.
Влекомый жаром песнопенья
И бросив Регий вдалеке,
Он шел, исполнен вдохновенья,
С дорожным посохом в руке.

Уже его пленяет взоры
Акрокоринф, венчая горы,
И в Посейдонов лес густой
Он входит с трепетной душой.
Здесь всюду сумрак молчаливый,
Лишь в небе стая журавлей
Вослед певцу на юг счастливый
Станицей тянется своей.

«О птицы, будьте мне друзьями!
Делил я путь далекий с вами,
Был добрым знамением дан
Мне ваш летучий караван.
Теперь равны мы на чужбине, —

Явившись издали сюда,
Мы о приюте молим ныне,
Чтоб не постигла нас беда!»

И бодрым шагом в глубь дубравы
Спешит певец, достойный славы,
Но притаившиеся тут
Его убийцы стерегут.
Он борется, но два злодея
Его пронзают с двух сторон:
Искусно лирою владея,
Был неискусен в битве он.

К богам и к людям он взывает,
Но стон его не достигает
Ушей спасителя: в глуши
Не отыскать живой души.
«И так погибну я, сраженный,
И навсегда останусь нем,
Ничьей рукой не отомщенный
И не оплаканный никем!»

И пал он ниц, и пред кончиной
Услышал ропот журавлиный,
И громкий крик и трепет крыл
В далеком небе различил
«Лишь вы меня, родные птицы,
В чужом не бросили краю!
Откройте ж людям, кто убийцы,
Услышьте жалобу мою!»

И труп был найден обнаженный,
И лик скитальца, искаженный
Печатью ужаса и мук,
Узнал в Коринфе старый друг.
«О, как безгласным и суровым
Тебя мне встретить тяжело!
Не я ли мнил венком сосновым
Венчать любимое чело?»

Молва про злое это дело
Мгновенно праздник облетела,

И поразились все сердца
Ужасной гибели певца.
И люди кинулись к пританам,
Немедля требуя от них
Над песнопевцем бездыханным
Казнить преступников самих.

Но где они? В толпе несметной
Кто след укажет незаметный?
Среди собравшихся людей
Где укрывается злодей?
И кто он, этот враг опасный, —
Завистник злой иль жадный тать?
Один лишь Гелиос прекрасный
Об этом может рассказать.

Быть может, наглыми шагами
Теперь идет он меж рядами
И, невзирая на народ,
Преступных дел вкушает плод.
Быть может, на пороге храма
Он здесь упорно лжет богам
Или с толпой людей упрямо
Спешит к театру, бросив храм.

Треща подпорами строенья,
Перед началом представленья
Скамья к скамье, над рядом ряд,
В театре эллины сидят.
Глухошумящие, как волны,
От гула множества людей,
Вплоть до небес, движенья полны,
Изгибы тянутся скамей.

Кто здесь сочтет мужей Фокиды,
Прибрежных жителей Авлиды,
Гостей из Спарты и Афин?
Они явились из долин,
Они спустились с гор окрестных,
Приплыли с дальних островов
И внемлют хору неизвестных,
Непостижимых голосов

Вот перед ними тесным кругом,
Из подземелья друг за другом,
Чтоб древний выполнить обряд,
Выходит теней длинный ряд.
Земные жены так не ходят,
Не здесь родные их края,
Их очертания уводят
За грань земного бытия.

Их руки тощие трепещут,
Мрачно-багровым жаром плещут
Их факелы, и бледен вид
Их обескровленных ланит.
И, к привиденьям безобидны,
Вокруг чела их, средь кудрей
Клубятся змеи и ехидны
В свирепой алчности своей.

И гимн торжественно-согласный
Звучит мелодией ужасной
И сети пагубных тенет
Вкруг злодеяния плетет.
Смущая дух, волнуя разум,
Эриний слышится напев,
И в страхе зрители, и разом
Смолкают лиры, онемев.

«Хвала тому, кто чист душою,
Вины не знает за собою!
Без опасений и забот
Дорогой жизни он идет.
Но горе тем, кто злое дело
Творит украдкой тут и там!
Исчадья ночи, мчимся смело
Мы вслед за ними по пятам.

Куда б ни бросились убийцы, —
Быстрокрылатые, как птицы,
Мы их, когда настанет срок,
Петлей аркана валим с ног.
Не слыша горестных молений,
Мы гоним грешников в Аид

И даже в темном царстве теней
Хватаем тех, кто не добит».

И так зловещим хороводом
Они поют перед народом,
И, чуя близость божества,
Народ вникает в их слова.
И тишина вокруг ложится,
И в этой мертвой тишине
Смолкает теней вереница
И исчезает в глубине.

Еще меж правдой и обманом
Блуждает мысль в сомненье странном,
Но сердце, ужасом полно,
Незримой властью смущено.
Ясна лишь сердцу человека,
Но скрытая при свете дня,
Клубок судьбы она от века
Плетет, преступников казня.

И вдруг услышали все гости,
Как кто-то вскрикнул на помосте:
«Взгляни на небо, Тимофей,
Накликал Ивик журавлей!»
И небо вдруг покрылось мглою,
И над театром сквозь туман
Промчался низко над землею
Пернатых грозный караван.

«Что? Ивик, он сказал?» И снова
Амфитеатр гудит сурово,
И, поднимаясь, весь народ
Из уст в уста передает:
«Наш бедный Ивик, брат невинный,
Кого убил презренный тать!
При виде стаи журавлиной
Чтó этот гость хотел сказать?»

И вдруг, как молния, средь гула
В сердцах догадка промелькнула,

И в ужасе народ твердит:
«Свершилось мщенье Эвменид!
Убийца кроткого поэта
Себя нам выдал самого!
К суду того, кто молвил это,
И с ним — приспешника его!»

И так всего одно лишь слово
Убийцу уличило злого,
И два злодея, смущены,
Не отрекались от вины.
И тут же, схваченные вместе
И усмиренные с трудом, —
Добыча праведная мести, —
Они предстали пред судом.

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПОЭЗИИ

Умберто Саба

МОЕ ДОСТОЯНИЕ

Причалив после яростного шторма
К приветливому дружескому дому,
Я подхожу, теперь уже свободный,
К раскрытому окну и наблюдаю,
Как в облаках белеет рог луны.

Передо мной Палаццо Питти. Лезут
Мне в голову бесплодные вопросы:
Зачем живу? И что теперь мне делать,
Когда я стар, а в мире обновленье,
Когда в руинах прошлых дней стремленья,
А сам я на поверку оказался
Слабее ужасающих событий?
Я верил в смерть, что всё она развяжет,
Теперь и в смерть не слишком верю я.

Был у меня огромный мир, и в мире —
Места, где я спасался. В них я видел
Так много света, что и сам порою
Вдруг становился светом. Друг мой юный,
Любимейший из всех моих друзей,
Почти мой сын! Ведь я не знаю даже,
Где ты теперь? И жив ли ты? Как часто
Я думаю, что ты в плену могилы,
Что ты — в руках фашистов! И тогда я
Стыжусь себя. Зачем мне эта пища
И этот кров поистине любимый?

Всё отнял у меня фашист неумолимый
И гитлеровец-враг.

Был у меня очаг, семья, подруга —
Любимая приветливая Лина.
Она жива еще и неповинна
В том, что желает отдыха, хотя ей
Как будто рано думать о покое.
И как мне страшно видеть, что она
Скитается по чуждым семьям, кормит
Сухими щепками чужие очаги!
От угрызений совести, от горя
Я содрогаюсь в скорби нестерпимой...
Всё отнял у меня фашист неумолимый
И гитлеровец-враг.

Имел я дочь. Теперь она большая.
Я дал ей сердца лучшую частицу,
Но и ее, любовь мою, царицу,
Похитили несчастья у меня.
Теперь она во мне одном находит
Причину всех своих грехов, не смотрит
В глаза мои и ходит нелюдимой...
Всё отнял у меня фашист неумолимый
И гитлеровец-враг.

Я жил в прекрасном городе, который
Лежит у моря возле гор скалистых.
То был мой город, ибо я родился
В его стенах. Мой больше всех других!
Еще когда-то, будучи мальчишкой,
Я чтил его, а сделавшись поэтом,
Его в стихах с Италией венчал.
А жить-то нужно! Вот я и избрал
Зло наименьшее, и стал я антикваром
По части книг, несчастный и гонимый...
Всё отнял у меня фашист неумолимый
И гитлеровец-враг.

И кладбище имел я, на котором
Спит мать моя с своими стариками.

О, сколько раз, преодолев сомненья,
Искал я там себе успокоенья!
Но дни изгнания, лишенья и утрат
Закрыли путь к земле моей родимой...
Всё отнял у меня фашист неумолимый
И гитлеровец-враг.
Всё! Даже и могилу.

ПАОЛИНА

Паолина,
друг мой Паолина,
ты, как луч внезапный солнца,
жизнь мою пронзила.
Кто же ты? Едва знакомый, я дрожу от счастья,
лишь тебя увижу рядом. Кто же ты? Вчера лишь
я спросил: «Скажите ваше имя, синьорина!»
Ты задумчиво взглянула,
молвив: «Паолина».

Паолина,
плод земли родимой,
бестелесная и вместе —
самая земная,
ты родилась там, где только и могла родиться, —
в этом городе чудесном, где и я родился,
над которым, что ни вечер, ходят в небе зори —
свет божественный, обманный,
испаренье моря.

Паолина,
друг мой Паолина,
что ты носишь в юном сердце,
чистая душою?
О тебе мое мечтанье так же непорочно,
словно легкий след дыханья в зеркале прозрачном.
Вся, какая есть, ты — счастье. Словно паутина
ореол волос прекрасных. Девушка и ангел,
друг мой Паолина!

ЧЕМПИОНКА ПО ПЛАВАНИЮ

Люди, тебя увидавшие в море, тебя называют
Сиреной.

Ты, победившая в соревнованье,
в горестной жизни моей, как на тусклом экране,
то появляешься вдруг, то исчезаешь внезапно.
Связан с тобой я хоть тонкой, но крепкой
ниточкой — в час, когда ты, улыбаясь,
мимо проходишь, не видя меня.
Много подруг и друзей окружает тебя на прогулке,
юные, вы собираетесь в баре
и веселитесь, и только однажды
скорбная тень на мгновенье тебя омрачила
и уголки твоих губ опустила на миг:
тень твоей матери встала на миг пред тобою,
тень, повенчавшая утро твое с моею вечерней порою.

ТРИ УЛИЦЫ

Ладзаретто Веккио в Триесте —
Улица печали и обид.
Все дома в убогом этом месте
Сходны с богадельнями на вид.
Скучно здесь: ни шума, ни веселья,
Только море плещет вдалеке.
Загрустив, как в зеркале, досель я
Отражаюсь в этом уголке.
Магазины, вечно пустоваты,
Здесь лекарством пахнут и смолой.
Продают здесь сети и канаты
Для судов. Над лавкою одной
Виден флаг. Он — вывески замена.
За окном, куда не бросит взгляд
Ни один прохожий, неизменно
За шитьем работницы сидят.
Словно отбывая наказанье,
Узницы страданий и мытарств,

Шьют они здесь ради пропитанья
Расписные флаги государств.

Только встанет день на горизонте —
Сколько в нем я скорби узнаю!
Есть в Триесте улица дель Монте
С синагогой на одном краю
И с высоким монастырским зданьем
На другом. Меж ними лишь дома
Да часовня. Если же мы взглянем,
Обернувшись с этого холма, —
Мы увидим черный блеск природы,
Море с пароходами и мыс,
И навесы рынка, и проходы,
И народ, снующий вверх и вниз.

Есть в начале этого подъема
Кладбище старинное, и мне
С детских лет то кладбище знакомо.
Никого уж в этой стороне
Больше не хоронят. Катафалки
Здесь не появляются с тех пор,
Как себя я помню. Бедный, жалкий
Уголок у края этих гор!
После всех печалей и страданий,
И лицом и духом двойники,
Здесь лежат в покое и молчанье
И мои родные старики.

Как не чтить за памятники эти
Улицу дель Монте! Но взгляни,
Как взывает улица Росетти
О любви и счастье в эти дни!
Тихая зеленая окрайна,
Превращаясь в город с каждым днем,
До сих пор она необычайна
В украшенье лиственном своем.
До сих пор в ней есть очарованье
Стародавних загородных вилл...
И любой, кто осенью с гулянья
На нее случайно заходил
В поздний час, когда все окна настежь,

А на подоконнике с шитьем
Непременно девушку застанешь, —
Помышлял, наверное, о том,
Что она, избранница, с любовью
Ждет к себе его лишь одного,
Обещая счастье и здоровье
И ему, и первенцу его.

Рипеллино

* * *

Нет, я не говорил, что одинок я в мире,
Как кукла Шлеммера.
Подобно покрывалам
Надвинув жалюзи на старческие лица,
Меня по-дружески приветствуют дома.

Нет, я не говорил, что я изнемогаю,
Как дерево под острою пилою,
Но звезды от меня скрываются внезапно,
Когда ищу я искорку огня.

Нет, я не утверждал, что я всегда печален.
Что я — опустошенная бутылка,
Но с давних пор я знаю, что источник
Внезапно высыхает и мелеет,
Когда напиться вздумается мне.

И я не говорил, что счастлив я, подобно
Пионам, установленным в шпалеры, —
Почуяв плеск лебяжьих крыльев счастья,
Я не умею счастья удержать.

Да, я молчал, но каждый понимает,
Что я всем сердцем обожаю жизнь.

* * *

Пришел февраль огромный, бородатый.
Над каждым листиком, над каждой малой птицей
Он плачет и томится, словно Горький.
Я весь опутан крыльями газет,
Распластанных по комнате. Я вижу
Сквозь строки надоевшего дождя
Оскаленную пропасть океана,
Землетрясенья дальние и снег,
Подобный белым клавишам рояля.
Я вижу пушки, вижу их огонь,
Я замечаю строй марионеток,
Передвигающих орудья, чтобы дым
Клубами опускался на дорогу.
И нет мне радости от тех газетных крыл:
Убит дождем словесной схватки пыл.
Под завыванья желтых хроникеров
Жизнь скорчилась в гримасе, и томится
Засосанная липкою трясиной
О лучшем мире пленная мечта.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

В зеленых хижинах смеются дети Альп,
Когда, цепляясь за бинты тумана,
Вороний крик несется по долине.
В ущелье отдается гром реки —
То влажный конь через плотину скачет
И потрясает пенистою гривой.
Внимая перекличке воробьев
На проводах и в воздухе холодном,
В зеленых хижинах смеются дети Альп,
Смеются листья тыквы и большие
Глаза подсолнечников, налитые блеском,
И маки на мохнатых стебельках,
Подобные фонарикам пунцовым.
Надев чулки, всё в кисточках и лентах,
Подмигивает горное селенье,
И рой зонтов, надутых свежим ветром,
Смеется в отдыхающих руках.

И лишь четыре борова, которых
Сегодня здесь заколют на обед,
Ревут и стонут, и веселый праздник
Нарушен этим судорожным воем...

ИЗ ВЕНГЕРСКОЙ ПОЭЗИИ

Антал Гидаш

ЗАЧЕМ?..

Зачем же люди плачут по домам,
не выходя на улицу, не собираясь
на площадях, открытых всем ветрам?
Зачем они, от боли содрогаясь,
прижав к глазам измученным платок,
рыдают немощно? Из этих слез соленых
такой бы ринулся по городу поток
бушующий, от этих горьких стонов
такой бы смерч пронесся по жилью
и грозное перо такие б обвиненья
вписало в книгу, Венгрия, твою, —
что даже мертвые во всем твоем краю
восстали б, требуя отмщенья!

ЧЬИ КУЛАКИ...

Чьи кулаки, обезумев, на клавиши эти упали?
Вскрикнули в ужасе струны,
как нервы живые, скрутились,
стоном стонут они и душат друг друга за горло.

Свет мой, радость моя!
Лишь одна ты со мною осталась!
Но и в сиянье твоем я не знал столь печального
мрака
над океаном
моей возмущенной души!

БОЙНЯ

И, плача, я хватаю за рога
мои бодающиеся воспоминанья,
я волоку на бойню их, пока
не разорвалось сердце от страданья.

И за ударом падает удар,
и предо мною, вскакивая с ревом,
они хрипят в беспамятстве, и пар
их застилает облаком багровым.

И вот, на крючьях подняты вдали,
они висят, качаясь еле-еле,
и морды их волочатся в пыли,
и слезы на глазах застекленели.

И буря поднимается во мне,
и от рыданий вздрагивают веки,
и плачу я, истерзанный вдвойне, —
навеки окровавленный, навеки...

ГОВОРИТ МАТЬ

Путь наш окончен, и незачем плакать о нас.
Путь свой свершает земля, наступает последний мой
час.

В землю легли миллионы убитых людей,
как-нибудь лягу и я между ними с любовью моей.

Время, пространство и смерть испытав до конца,
сына найдет еще мать и сотрет ему слезы с лица.

За руки взявшись, замкнут они жизни звено,
вечность в дунайские воды их примет на самое дно.

Если же в мире наступят счастливые дни,
снова из мертвого ила поднимутся к миру они.

Звездным сияньем людей обольют из-под век,
и человеком воистину станет тогда человек.

ЧЕРНЫЕ РУКИ

Черные руки вздымают мосты.
Мертвые люди вздымают персты.
Мать моя, руку вздымаешь и ты.

Черною тенью скользят облака.
С визгом и воплем несется река.
Давит ее человечья тоска.

Нет ей покоя от мертвых гостей.
Русло от боли сжимается в ней.
Волны — и те человечней людей.

Вихри — и те человечней врага.
В ужасе гонят они облака.
Полная слез, негодует река.

ОТВЕЧАЕТ СЫН

О, посмотри на меня через горе и муку,
мать моя бедная! Как ты теперь далеко!
Больно тебе? Протяни мне холодную руку.

Мысли мои переломаны, словно игрушки.
Голоден я. Но едва я беру молоко, —
пламя встает, выбиваясь из глиняной кружки.

Горло, сжимаясь, глоток возвращает обратно.
Хлеб сиротливо лежит на холодном столе.
Мать моя бедная! Горе мое необъятно.

Ненависть, ненависть! Я опрокинут тобою.
Нет мне покоя в довольстве, в семье и в тепле,
в пище, в работе — ни в чем не найти мне покоя.

Нет мне покоя: убийцы идут по земле.

ОТВЕРНУТСЯ ТРАВЫ

Кадры из тысячи фильмов бегут,
голову кружат, дышать не дают.
Как ни болят мои очи, сегодня я вряд ли усну.
Тянутся руки — бессильные руки — к вину.

Даст ли оно мне забвенье? Навряд!
Лишь сновиденья огнем загорят.
Капая на руки, катятся слезы мои,
как ненавижу я жалкие слезы мои!

Глупый, зачем ты смежаешь глаза?
Спящего разве минует гроза?
Травы — и те от тебя отвернутся в бою,
если за мать не отмстишь ты сегодня свою.

ТОЛЬКО МЫ!

Там, где родился, — отчизна твоя дорогая,
где говорить научился — там родина... Как же
назвать
эту страну, где рожден я, где вырос, играя,
где как собаку убили
мою беззащитную мать?

Вырвать-ли мне мой язык изо рта иль смиренно
в сердце своем упокоить могильные эти холмы?
О, расступись, мое небо! Исчезни, дунайская пена!
Звезды над нашей страною
зажжем только мы. Только мы!

КЛАССИКИ ГРУЗИНСКОЙ ПОЭЗИИ

Давид Гурамишвили

ЗУБОВКА

На мотив русской песни «Казак — душа правдивая»

Я из Зубовки однажды к дому возвращался
И с красоткой чернобровой в поле повстречался.
На лице ее прекрасном родинка чернела,
Красота ее внезапно сердцем овладела!

Я спросил ее: «О солнце, держишь путь куда ты?
Из какого ты селенья, из какой ты хаты?
Я узрел тебя, и сердце стало словно камень,
Окропи меня водою, жжет меня твой пламень!»

Осерчав, она сказала: «Грех тебе, злодею!
Как просить ты смеешь, чтобы стала я твоею!
С соловьем любиться розе, не с тобой, вороной!»
Слыша это, я заплакал, в сердце уязвленный.

И она сказала снова: «Прочь, отстань, прошу я!
Не хочу тебя, другому здесь принадлежу я.
Мой супруг тебя красивей, мужественней с виду».
Обезумел я, почуяв горькую обиду.

А она: «Ни слова больше! Отцепись, проклятый!» —
И ударила, ругая, палкой суковатой.
Покачнулся и упал я, потеряв сознанье,
И она передо мною встала, как сиянье,

Пожалела, наклонилась и взяла за руку:
«И за что ты, неразумный, принимаешь муку?»
Я сказал: «Из-за тебя я разума лишился,
Не обласканный тобою, с жизнью распростился!»

И красавица с улыбкой ласково сказала:
«Если нас с тобой увидят, худо бы не стало.
Встань, пойдем, пора вернуться каждому до дому,
Будешь здесь, так снова выйду я к тебе, дурному».

И ушла она, пропала. чудо черноброво,
Лишь оставила на память ласковое слово.
С той поры я, раб влюбленный, всё гляжу на поле,
Лишь пришла бы, ничего я не желаю боле.

— Я приду, — она сказала. Полный ожиданья,
Не могу в тоске по милой я сдержать рыданья.
В час кончины одинокой не она, так кто же
Дверь в загробное селенье мне откроет, боже?

Послужить моей любимой жажду я, унылый.
Переполненное сердце вечно жаждет милой.
У нее в руках, я знаю, чтобы жил и впредь я,
Есть и хлеб существованья и вода бессмертья.

Дай мне, боже, только ею жить в годины эти!
Разве есть еще другая, лучшая, на свете?
За меня она, я знаю, вытерпела муки,
Вижу лик ее обмерший, связанные руки.

Где теперь ты, дорогая? Отзовись скорее!
Ты была мне в целом мире всех людей роднее.
Я в аду тебя не вижу, ты в стране господней,
Так возьми ж меня с собою прочь из преисподней!

Я в аду тебя не вижу, ты в стране господней,
Так возьми ж меня с собою прочь из преисподней!
Так возьми ж меня с собою прочь из преисподней!

Григол Орбелиани

МУХАМБАЗИ

Не давай мне вина — пьян я, пьян без вина,
опьянен я твоей красотой!
Если выпью вина, мне изменит язык,
посмеется судьба надо мной.
Он расскажет тебе, как я молча страдал
бесконечное множество дней,
Он расскажет тебе о печали моей,
о любви безнадежной моей,
О великом и жалком несчастье моем,
помутившем рассудок больной.
Не давай мне вина — пьян я, пьян без вина,
опьянен я твоей красотой!

Если голос рассудка над сердцем моим
потерял свою власть не вполне,
Даже эту почти безнадежную власть
уничтожить ты хочешь во мне.
Ты ведь знаешь, как мало мне нужно, чтоб я
обезумел, любовью объят, —
Только малую долю вниманья ко мне,
лишь один твой приветливый взгляд.
Всё ты знаешь, но чашу, но чашу вина
ты даешь мне, смеясь надо мной...
Не давай мне вина — пьян я, пьян без вина,
опьянен я твоей красотой!

Ах, на гибель мою, на погибель мою,
на своем ты стоишь, на своем!
Как безумец, я пью эту чашу мою,
я не знаю, что будет потом.
Ты мне розу даешь — что мне роза твоя,
если вижу я розу ланит?
О, склони ко мне чистую розу ланит,
пусть я буду тобою убит.
Ах, зачем мне вино, если сердце полно
лишь одною, одною тобой!
Не давай мне вина — пьян я, пьян без вина,
опьянен я твоей красотой!

Если, полный любви, я гляжу на тебя —
вся кругом замолкает земля.
Расцветает на дивных ланитах твоих
благовонный цветок миндаля.
О, позволь мне прижаться к его лепесткам —
изнемог я в напрасной борьбе.
Сам себя я на смертные муки предам,
но откроюсь, откроюсь тебе.
Слушай, всё я скажу. Гаснет сердце мое,
помутился мой разум больной...
Не давай мне вина — пьян я, пьян без вина,
опьянен я твоей красотой!

ВЕСНА

Когда откроется весной
Душа для радости земной,
Для счастья и забав;
Когда над розою своей
Опять влюбленный соловей
Воспрянет, зарыдав, —
Уж не пойдем мы, милый друг,
Туда, где всё цветет вокруг,
Откуда шлет веселый луг
Благоуханье трав.

Пускай блаженствуют сердца
На лоне вешних дней, —
Душе истерзанной певца
Не сладок соловей.
Увы, не для моих очей
Цветет волшебный луг,
Не для меня звенит ручей
И лес шумит вокруг!

К иным, нездешним берегам
Стремлюсь я, наг и сир,
Когда лишь бурям и громам
Смятенный внемлет мир.
О, как я жду, когда с высот
На мой последний путь

Смертельный пламень упадет
И поразит мне грудь!

Когда за дверью гробовой,
Свой подвиг заверша,
Сойдет в приют последний свой
Печальная душа;
Когда за дверью гробовой,
Согбенная от мук,
Она обнимется с тобой,
Мой незабвенный друг!

О, как тебя я не сберег?
Глаза твои закрыв,
Не понимаю, видит бог,
Как я остался жив;
Не понимаю, видит бог,
Как я безумье превозмог,
Как я живым остаться мог,
Себя переломив?

И я возненавидел свет,
Где людям счастья нет,
Где всё цветет — и всё умрет,
Увянет в цвете лет.
И равнодушно я молчу,
Когда цветет весна,
И горевать не захочу,
Когда уйдет она.

К ЯРАЛИ

Ярали, друг мой, когда ж мы с тобою
Сядем опять под чинарой густою,
Светлые чаши наполнив вином,
Старую песню затянем вдвоем:
— Яри-арали!
Чтобы шашлык серебристый из лани
Снова вертелся, шипя на огне,
Чтобы дразнил он мое обонянье,
Ноздри опять щекотал бы он мне;

Чтоб кахетинского полную чашу
Подняли мы высоко над землей,
Чтобы украсили трапезу нашу
Рыба, и зелень, и сыр молодой;
Чтобы блестел,
Поднимаясь над нами,
Залитый светом родной небосвод;
Чтобы летел
Над горячими лбами
Сладостный ветер Коджорских высот;
Чтоб, не смыкая до вечера глаз,
Снова я слушал знакомый рассказ,
Как иверийцы с отвагою львиною
В годы старинные бились за нас.

Ты рассказал бы мне, Ярали мой,
Как, поднимаясь на зов боевой,
Дети картвелов, венчанные славою,
В битву кровавую шли чередой.
Горе врагу, если в чаще дремучей
Он не укрылся от сотен мечей, —
Яростный сокол, срываясь из тучи,
Молнией врежется в стан голубей!
О, как завиден мне жребий желанный
Тех, кто за родину пал бездыханный!
Где они, дни, когда сердце картвела
Жаркой любовью к отчизне кипело
И, провожая героев, страна
Радостно славила их имена?

Всё бы я слушал, как в старые праздники
По бесконечным дорогам ристалища
Вихрем летели отважные всадники,
Чтоб обогнать в состязанье товарища.
Вросшие в седла, стройны, словно тополи,
Все они знали искусство великое —
На два отряда рассыпавшись по полю,
Вот они мчатся, ликуя и гикая.

Конское ржанье,
Жужжание стрел,

Копий сверканье —
Желаний предел.
Мчатся стрелой —
С седел долой!
Время пришло —
Снова в седло!
Бьются копыта,
Звенят стремена,
Шашка над шапкою
Занесена!

Лук поднимая рукою уверенной,
Эти — стреляют в орла одинокого,
Эти — прицелившись в кубок серебряный,
Сбить его с камня стремятся высокого.
И, наслаждаясь веселой забавою
В этот поистине радостный час,
Смотрит с улыбкой на них величавою
Тот, кто когда-то был счастьем для нас.

Славные годы, счастливые дни!
О, как давно миновали они!
Здесь, на далекой холодной чужбине,
Вижу я ныне могилы одни.
Где ж он, герой с благородной десницей,
Кто, нарушая наш горестный сон,
В пекло драконье готов устремиться,
Чтобы погиб кровожадный дракон?
Стоит ли дальше бороться с судьбою?
Спи, азарпеша, под купами роз!
Вместо вина — только квас предо мною,
Вместо полдневного зноя — мороз.
Север холодный угрюм и тревожен,
Где он, небес ослепительный жар?
Ты — в Петербурге, я — в Новгород брошен,
Холод на улице, дома — угар.
Только припомню утехи былого —
Сердце заплачет, печали полно...
Так, вдалеке от родимого крова,
Ищет в слезах утешенья оно...

ВЕЧЕР РАЗЛУКИ

Заря небес вечерним багрецом
Вершины гор Кавказских озарила.
Так девушка прощается с отцом,
Лобзая старца нежно и уныло.
Но молчалив гигантский тот собор.
Передо мной от края и до края
В короне льдов стоят вершины гор,
Плечами дэвов небо подпирая.
И, прижимаясь к кручам, облака
Грозят потопом, и с горы отвесной,
Блистая, низвергается река,
Стремительно висящая над бездной,
И воет Терек, надрывая грудь,
И скалы вторят Тереку в тревоге...

Печально я гляжу на этот путь,
На тень судьбы, скользящей по дороге...
Всё лучшее, что было мне дано,
Всё светлое, что управляло мною,
Чем было сердце бедное полно, —
Опять, опять похищено судьбою!
Прощай, мой друг! Прощай на много дней!
До моего последнего мгновенья
Всегда с тобой печаль души моей,
Моя любовь, мое благословенье!
Стучат колеса. Милой больше нет.
На повороте пыль еще клубится.
И, обезумев, ей летит вослед
Душа моя, как раненая птица.
Прощай, мой друг! Унынием объят,
Смотрю я вдаль с невыразимой мукой.
Твоих очей уж мой не встретит взгляд,
Навеки затуманенный разлукой.
Не утолит печаль моей души
Твоя любовь, и только скорбь немая
Источит сердце бедное в глуши,
Последние надежды отнимая.
И как, безумец, я поверить мог,
Что счастье наше будет беспредельно?

Прощай, мой друг! О, как я одинок!
И скорбь моя — о, сколь она бесцельна!

И вот уж ночь. Сижу, объят тоской.
О, кто теперь мои услышит пени?
Недвижен воздух. Только часовой,
Перекликаясь, ходит в отдаленьи.
И, подперев вершиною зенит,
Молчит гора, увенчанная снегом,
И о прошедшем счастье говорит
Звезда небес, сияя над Казбеком.
Потоки гор, свершив свой краткий путь,
Алмазной грудой бьют через пороги,
И воет Терек, надрывая грудь,
И скалы вторят Тереку в тревоге.

МУХАМБАЗИ

«О сладкий голос мухамбази!»

Чамчи-Мелко

Только я глаза закрою —
предо мною ты встаешь!
Только я глаза открою —
над ресницами плывешь!

О царица, до могилы
я — невольник бедный твой,
Хоть убей меня, светило,
я — невольник бедный твой.
Ты идешь — я за тобою:
я — невольник бедный твой,
Ты глядишь — я за спиною:
я — невольник бедный твой!
Что смеяться надо мною?
Я — невольник бедный твой,
И шепчу я сам с собою:
«Чем тебе я нехорош?»

Только я глаза закрою —
предо мною ты встаешь!
Только я глаза открою —
над ресницами плывешь!

Словно тополь шелестящий,
стан твой нежный для меня,
Светит радугой блестящей
стан твой нежный для меня,
Блещут молнией небесной
эти очи для меня,
Дышат розою прелестной
эти губы для меня.
Если б мог тебя спросить я:
«Ты когда ко мне придешь?»

Только я глаза закрою —
предо мною ты встаешь!
Только я глаза открою —
над ресницами плывешь!

Семь дорог на нашем поле —
все они к тебе бегут!
Смутны думы поневоле —
все они к тебе бегут!
Растерял свои слова я —
все они к тебе бегут!
Позабыл свои дела я —
все они к тебе бегут!
Хоть бы раз меня спросила:
«Что с тобою? Как живешь?»

Только я глаза закрою —
предо мною ты встаешь!
Только я глаза открою —
над ресницами плывешь!

Хоть и плачу неустанно, —
ведь не спросят: кто такой?
Ах, беда нам, Лопиана, —
ведь не спросят: кто такой?

Может, еле уж дышу я, —
ведь не спросят: кто такой?
Может, еле уж брожу я, —
ведь не спросят: кто такой?
Ты одна, моя царица,
боль души моей поймешь!

Только я глаза закрою —
предо мною ты встаешь!
Только я глаза открою —
над ресницами плывешь!

Поезжай-ка в Ортачалы,
посмотри, каков я есть!
Как ударим мы в цимбалы,
посмотри, каков я есть!
Тамада в дыму табачном,
посмотри, каков я есть!
Молодец в бою кулачном,
посмотри, каков я есть!
Как посмотришь — так полюбишь,
как полюбишь — подойдешь.

Только я глаза закрою —
предо мною ты встаешь!
Только я глаза открою —
над ресницами плывешь!

Илья Чавчавадзе

ГОРАМ КВАРЕЛИ

Горы Кварели! Вдали от родного селенья
Может ли сердце о вас вспоминать без волненья?

Где бы я ни был, со мною вы, горы, повсюду, —
Сын ваш мятежный, ужели я вас позабуду!

Помню, ребенком, исполнен неясной заботы,
Весь замирая, смотрел я на ваши высоты.

Но не от страха тогда мое сердце дрожало —
Я и в младенчестве вас не боялся нимало.

Полный восторга, взирая на ваше величье,
Дивные тайны стремился душою постичь я —

Тайны вершин, пропадающих в дымке туманов,
Где раздается ликующий гул ураганов,

Где, задыхаясь, летит караван журавлиный,
Еле равняясь с далекою вашей вершиной!

О, как я жаждал невинною детской душою
В буре и мраке взлететь высоко над землею!

О, как мечтал я, почуяв орлиные крылья,
Тронуть крылами сверкающих льдов изобилье!

В час, когда ветры, нарушив ночное молчанье,
Львиное в пропасти вдруг исторгали рычанье,

О, как дрожал я! Но, внемля раскатам обвала,
Звуки родные душа моя в них узнавала.

Детскому сердцу довольство собой незнакомо,
Ныне же, горы, я горд, что воспитан я дома,

Ныне горжусь я, что, сын этой дикой природы,
Вырос я в бурях и рано узнал про невзгоды.

Горы, свидетели детских моих огорчений,
Как я взывал к вам в порыве сердечных мучений,

Как я от вас утешения ждал и привета!
Но, как всегда, не давали вы, горы, ответа.

Этого чудного, полного тайны молчанья
Вплоть до последнего я не забуду дыханья...

Горы Кварели, сопутники юности нежной,
Долг перед жизнью влечет меня в путь неизбежный,

Судьбы грядущего требуют нашей разлуки, —
Можно ли требовать более тягостной муки!

Конь мой торопится, сердце томится в печали,
С каждым вы шагом уходите в синие дали...

Вот вы исчезли... И только вершины седые
Еле видны... И расстался я с вами впервые...

Тщетно глаза я от солнца рукой прикрываю,
Тщетно я взоры в пустое пространство вперяю —

Всюду раскинулись синего неба просторы,
Уж не венчают их больше прекрасные горы!

О, так прощайте же, дивные горы Кварели!
Сердце мое, полюбившее вас с колыбели,

Вечной любовью к великой отчизне пылая,
Вам улыбнется, рыдая, из дальнего края!

ЭЛЕГИЯ

В туманном блеске лунного сиянья,
В глубоком сне лежит мой край родной.
Кавказских гор седые изваянья
Стоят вдали, одеты синей мглой.

Какая тишь! Ни шелеста, ни зова...
Безмолвно спит моя отчизна-мать.
Лишь слабый стон средь сумрака ночного
Прорвется вдруг, и стихнет всё опять.

Стою один... И тень от горных кряжей
Лежит внизу, печальна и темна.
О, господи! Всё сон да сон... Когда же,
Когда же мы воспрянем ото сна?

БАЗАЛЕТСКОЕ ОЗЕРО

Слыхал я, по селам блуждая,
Что в озере близ Базалет
На дне колыбель золотая
Стоит с незапамятных лет.

Ее обнимают купавы,
Ее омывает вода,
И вечнозеленые травы
Не вянут над ней никогда.

Кристально прозрачные воды
Теплы здесь и в холод и в зной,
Как будто законы природы
Не властны над этой водой.

Но в глубь этой чистой криницы,
В подводные эти сады
Никто из картвелов спуститься
Не мог, опасаясь беды.

Одни лишь наяды, играя,
Вокруг колыбели плывут
И, сладкие сны навевая,
Волшебные песни поют.

Преданье гласит, что Тамара,
Царица грузинских земель,
На дне Базалетского яра
Поставила ту колыбель.

И слезы народной печали,
Из множества падая глаз,
Сверкающим озером стали
И скрыли святыню от нас.

Кого положила царица
В прекрасную ту колыбель,
Над кем эта влага струится —
Увы, неизвестно досель.

Но, может быть, там подрастает
Дитя для невиданных дел,
О ком дни и ночи мечтает,
Тая его имя, картвел.

Коль эти мечты не напрасны —
Да будет прославлен герой,
Кто первый в пучине прекрасной
Коснется святыни рукой!

Коль это случится на деле —
Да будет прославлена мать,
Пришедшая к той колыбели
Дитя молоком напитать!

Акакий Церетели

ВОЛНУЙСЯ, МОРЕ!

Волнуйся, море, и гуди,
Не прекословь дыханью шквала!
Как горы, волны взгромозди,
Чтоб влага на́ берег хлестала!

В твоей бездонной глубине
Таятся тысячи жемчужин.
Пока ты дремлешь в полусне,
Твой клад невидим и ненужен.

И лишь когда ударит шквал,
Всю глубь свою открыв вселенной,
Кидаешь ты на грани скал
Прекрасный жемчуг драгоценный.

Поэт, и ты не избегай
Сердечных бурь в минуту гнева!
Греми, буди заснувший край,
Сверкая молнией напева!

РАССВЕТ

Мтацминда грустными очами
Следит за утренней звездой.
В могиле, залитой лучами,
Почиет доблестный герой.

Под молчаливою горою
Рокочет бурная Кура
И колыбельную герою
Поет, рыдая, до утра.

Прижав к груди могилу сына,
Мтацминда молит за того,
Кто был защитником грузина,
Кто умер в битве за него.

И, полон дивного волненья,
Поэт, взирая в вышине,
Слагает песни-размышленья
Своей красавице стране:

«Страна, где небо бирюзово,
Где изумрудом блещет дол,
Мой край родной! К тебе я снова,
Больной и трепетный, пришел!

Не мог я вынести разлуки,
Покинув милые края.
Душа моя рвалась от муки,
И вот к тебе вернулся я.

Родное солнце с небосвода
Мне улыбнулось в тот же миг,
И засияла вся природа
Лучами чистых звезд твоих.

И снова в сердце ликованье,
И я печали превозмог,
Лишь ты, мой край, в часы свиданья
Воспрянуть духом мне помог.

Страна, где небо бирюзово,
Где изумрудом блещет луг,
Я за тебя погибнуть снова
Готов в годину тяжких мук.

Не отрекайся же от сына,
Укрой одеждою твоей,
Не откажи мольбе грузина,
Когда умру на склоне дней:

Похорони меня, немого,
В родной земле, средь мирных сел,
В стране, где небо бирюзово,
Где изумрудом блещет дол!»

ЮНОСТИ

Сравню ли я красу твоей весны
С моей нагой, ограбленной зимою?
Сравню ль ущерб вечерней тишины
С румяным утром, ясною зарею?

Ты молода, устремлена вперед —
Я ухожу, измученный годами.
Ты лишь впряглась в ярмо земных забот —
Я ж расплатился начисто с долгами.

Мы далеки, как небо и земля,
Отделены границей друг от друга.
Ты — как цветок, украсивший поля,
Я — старый мох, увядший от недуга.

Но в мире есть невидимая связь
Меж ясным небом и землей унылой.
И новь и старь, в одно соединясь,
Полны ее пленительною силой.

Единая и сложная, она
Есть творческая сила созиданья,
Которая в любые времена
Объединяет все существованья.

Она сотрет границу до конца,
Коль между нами есть она, граница,
И если жизнь не может слить сердца,
Моя душа с твоей сумеет слиться.

Важа Пшавела

ГОРЫ СПЯТ

В ущелиях сгрудилась мгла.
Как братья, заполнив просторы,
К телам прижимают тела
Вечерние темные горы.
Луны опечаленный лик
Глядит из нахмуренной тучи,
И плещет в ущелье родник
И плачет о чем-то певуче.
Вот всхлипнул он, тяжко дыша,
Откликнулся эхом несмелым
И смолк... И как будто душа
Рассталась с измученным телом.

Росой освежая листы,
Дохнула прохлада тумана
И вниз потекла с высоты,
Скитаясь в горах неустанно.
И в этих извилинах мглы
Укрылись орлы и орлицы,
И с ними на ложе скалы
Замолкли и прочие птицы.
Сидят они, клюв опустив,
Безжизненны, серы, понуры...
С высокой горы под обрыв
Бесшумно спускаются туры.
Здесь черною шалью ночей
Закутано горное горло,
И отблеск последних лучей
Туманное небо простерло.

Погасли пастушьи огни,
Ни конь не мелькнет, ни прохожий,

Лишь дикие звери одни
У каменных воют подножий.
На башнях дозорных застав
Нигде не видать караула,
Не виден по вмятинам трав
Разбойничий след из аула.
Один только звездный хорал
Доносит напев колыбельный:
«Привет вам, скопления скал!
Да сгинет ваш недруг смертельный!
Когда бы погибли и вы
В годины суровые эти,
До нас не дошло бы молвы
О том, что творится на свете!»

Вот слева глядит в небосвод
Гергети, могучий владыка.
Вот Борбала справа встает,
И плачет она, горемыка.
Вот души усопших земли
Сквозь горные движутся щели.
И звезды померкли вдали,
И горы вокруг потемнели.
Найду ль я дорогу? Навряд!
В горах по ночам страшновато.
Они же без просыпу спят,
И в мире им нет супостата.

ГОРА И ДОЛИНА

Почему глядишь высокомерно
На долину, гордая гора?
Потому что ты крута, наверно,
А она полога и пестра?
Подымая льдистые вершины
И сверкая снежной сединой,
Ты гордишься чащами калины,
Горными цветами и травой.
Но взгляни в долину, на дорожки,
На сады, что зреют впереди, —

Это ль не жемчужные застежки
На расшитой золотом груди?
Иль тебе и розы не по нраву,
Иль тебе плоды не по нутру,
Или кахетинского на славу
Ты не хочешь выпить на пиру?
Не тебе ль сестра она родная —
Та долина, полная плодов?
Кровь героев рдеет, орошая
Эту зелень пастбищ и садов!
К ней стремятся, полные форели,
Реки, упадая с высоты.
На ее фундаменте доселе,
Укрепясь, владычествуешь ты.
Нет, гора, не следует гордиться
Перед той, с кем связана всегда, —
Стоит ей сквозь землю провалиться,
С ней и ты исчезнешь без следа!

СТОН БЕСКОНЕЧНЫЙ

1

Вершину с вершиной сливая,
К скале прилепилась скала.
Природа от края до края
Ущельями их иссекла.
В горах, где нога человека
Еще не ступала досель,
Насильники дэвы от века
Слывут господами земель.
Ни волка тут нет, ни куницы,
Здесь тур не живет, круторог.
Чуждаются даже лисицы
Диковинных этих берлог.

В угрюмом убежище дэва,
Пугающем издали нас,
Одна только Горная дева
В вечерний является час.

Дитя красоты и соблазна,
В ущелье, где плещет родник,
Она, молода и прекрасна,
Вздымает пленительный лик.
Ее расплетенные косы
Девический кутают стан,
И в косах — блестящие росы,
И волосы словно туман.
Блуждая в горах до рассвета,
Поет она песнь в тишине
И дарит улыбку привета
Поднявшейся в небо луне.
Когда же луна золотая
Опустится в сумрак ночной,
И звезды, бледнея и тая,
Погаснут одна за другой,
И ангел в небесное било
Ударит навстречу заре,
И души людей из могилы,
Как тени, пойдут по горе, —
Тогда лишь умолкнет певица
И вновь удалится туда,
Где между каменьев струится
Ручья ледяная вода.
В пещере укроется дальней
Под грохот подземных ворот,
И станет темней и печальней,
Чем был до сих пор, небосвод.

2

Над скопищем гор громоздится
Скала из огромных камней,
И ястреб, отважная птица,
Не смеет приблизиться к ней.
Из этой скалы вознесенной
Томительный слышится стон,
Землею и мхом приглушенный,
И страшен и тягостен он:
«О боже, творец мирозданья,
Услыши молитву мою!

Немыслимо эти страданья
Терпеть мне в родимом краю!
Доколе, о боже, доколе
Нам муки от дэвов терпеть?
Коль жить невозможно на воле,
Позволь бедняку умереть!
Взглянуть бы хоть глазом единым
На светлое царство земли,
Где реки сбегают к долинам,
Где горы синеют вдали!
Где плавают в небе, сверкая,
Днем солнце, а ночью луна,
Где, злом и добром промышляя,
Людские живут племена!
Поднять бы мне меч мой и снова
Рубить и рубить наповал
Обидчиков мирного крова,
Разбойников каменных скал!
Быть может, весь люд перерезав,
Они уже кости грызут,
А я, сокрушающий бесов,
Томлюсь, замурованный тут!»

БЕРИКАУЛИ

Точит меч Берикаули,
Думу думая свою.
Водит каменным точилом
По стальному лезвию.
Уж давно свой меч старинный
Не снимал он со стены —
Заржавел клинок булатный,
Села копоть на ножны.

Собирается толпою
Перед старцем молодежь:
«Что с тобою, дед, случилось?
На кого ты в бой идешь?
Без тебя осиротели
И топор твой и коса!»

Хмурит бровь Берикаули,
Слыша эти голоса.

«Неразумные вы дети!
Иль не знаете о том,
Сколько я махал доныне
И косой и топором!
Стар уж я. В лесу и в поле
Протекла вся жизнь моя,
Но за пазухой не дремлет
Подколодная змея.

Кто подаст мне корку хлеба?
Где мой нищенский обед?
До сих пор молчал я, дети,
А теперь терпенья нет.
Не косой — мечом булатным
Помахать пришел черед,
Может быть, хоть он сегодня
От врага меня спасет».

И взметнул Берикаули
Брови, полные седин.
«Полно, дед! Ведь молодые
Выйдут в битву как один».
«Нет, — вздохнул Берикаули. —
До тех пор, пока седой
Не падет на поле битвы,
В бой не выйдет молодой!»

ОРЕЛ

Я видел: окруженный вороньем,
Упал орел, не в силах отбиваться.
Еще хотел бедняга приподняться,
Да уж не мог, и лишь одним крылом
Уперся в землю, и потоком крови
Весь обагрился, к смерти наготове.
Проклятье вам, стервятники могил!

В несчастный день меня вы сбили, гады!
А то бы я сегодня без пощады
Все ваши перья по ветру пустил!

ПЕСНЯ

Ты на том берегу, я на этом,
Между нами бушует река.
Друг на друга мы с каждым рассветом
Не насмотримся издалека.
Как теперь я тебя поцелую?
Только вижу смеющийся рот.
Перейти сквозь пучину такую
Человеку немыслимо вброд.

Не пловцы мы с тобой, горемыки,
Нет ни лодки у нас, ни руля.
Не ответит нам небо на крики,
Не поможет нам в горе земля.
Целый день ожидая друг друга,
Мы смеемся сквозь слезы с тобой.
Я кричу, но не слышно ни звука —
Всюду грохот и яростный вой.

Умирает мой голос тревожный,
Утопающий в бурной реке...
Как теперь я в тоске безнадежной
Проживу от тебя вдалеке?
И не лучше ли смерть, чем томленье,
Чем бессильные эти слова?
Нет, пока ты видна в отдаленье,
До тех пор и надежда жива!

ПОЭТЫ СОВЕТСКОЙ ГРУЗИИ

Г. Абашидзе

ОБЛАКО НОСТЕ

> Ты вдалеке от Носте угасал,
> Затерянный в Алеппо и Стамбуле.
>
> *«Дидмоуравиани»*

Где очи его напитались землей,
Истлели широкие плечи?
Холодный, как горы, как горы, немой,
Хозяин твой, Носте, далече!

Ты видишь: он скалы обходит вокруг,
Ущелья, долины и пашни.
Ты чуешь: укрылся изгнанника дух
В развалинах каменной башни.

Несчастные дети в могилу легли,
Иранским отрядам — раздолье,
И пыль кизилбашей клубится вдали,
И долго колеблется в этой пыли
Клинок его, воткнутый в поле.

Не раз от него улепетывал шах,
Но даже в высоких палатах
Он, Носте, мечтал о твоих облаках,
Герой ополчений крылатых.

Он в Грузию, верно, теперь не ездок,
Но с ней нелегко разлучиться.

Вдали от отчизны он весь изнемог,
Тоска навалилась, волчица.

Погибшие дети в могилу легли,
И нет ему радости боле,
И пыль кизилбашей клубится вдали,
И долго колеблется в этой пыли
Клинок его, воткнутый в поле.

НА КЛАДБИЩЕ САМЦХЕ

Он был подобен в жизни великану,
Я не видал ни рук таких, ни плеч!
В рост человека был привязан к стану
Его огромный выщербленный меч.

Он жил средь виноградников и пашен
С своей женой, красивой без прикрас.
Он был могуч, и был ему не страшен
Ни Тамерлан, ни грозный Шах-Аббас.

Но натиск персов крепче становился,
И наконец с рассеченным челом
В своей могиле еле уместился
Отважный муж, поверженный врагом.

Скрестил он руки в глубине могильной,
Оставив здесь на произвол судьбы,
Как корабли, огромные давильни,
Кинжал и меч, большие, как дубы.

* * *

Лишь ветер подует в дубраве
И снегом потянет с вершин,
В бокале блеснет саперави,
В столовой зажжется камин.

И явится столик нежданно,
И гости покажутся вдруг.

Кувшинчики, словно фазаны,
Пред ними усядутся в круг.

Сначала их робкие взоры
Бегут к потолку, но потом
Мечты их несутся в просторы,
Весельем дыша и вином.

Несутся в окно, в палисадник,
Над полем летят в тишине,
Где дремлет в снегу виноградник,
И ласточек видят во сне.

УШБА

Я небо увидел, когда предо мною
Открылась чеканка серебряных гор
И древняя Ушба, блестя сединою,
Как крепость Каджети, закрыла простор.

Прозрачный ее опоясывал холод,
И цельной казалась она, высока,
Хоть надвое был ее купол расколот
И парой вершин уходил в облака.

Как две превращенные в камень орлицы,
Как два кипариса, закованы в лед,
Задумав от мира навек удалиться,
Они неподвижно смотрели с высот.

Зачем мне казалась страшилищем эта
Гора ледяная? Зачем лишь сейчас
Отбросил я прочь заблужденье поэта
И скинул завесу неведенья с глаз?

Я небо увидел, когда предо мною
Открылась чеканка серебряных гор
И древняя Ушба, блестя сединою,
Как крепость Каджети, закрыла простор.

ЛЕС НА ЭНГУРИ

Высокие сосны взметнулись до самой лазури
И солнца коснулись, едва пробудился восток.
Огромное дерево сброшено в волны Энгури,
Плывет по теченью, как выгнувший спину бычок.

Как это случилось, что дерево это упало,
Споткнувшись о камни? Смотри, на какой крутизне
Цепляясь корнями о страшные глыбы обвала,
Его сотоварищи гордо стоят в вышине.

К полудню их тень полосою ложится недлинной,
И дремлют они... Но едва начинается дождь,
Крушит их Энгури и с воем уносит в долины
Их девственно чистую и первозданную мощь.

К. Каладзе

ПО МИРНЫМ ДОРОГАМ ГРУЗИИ

Тот, кто горные любит высоты,
Кто влюблен в небосвод голубой,
Кто, встречая ручьи, без заботы
Раскрывает объятья весной,

У кого под ногами с отрога,
Поднимаясь, клубится туман
И сквозь горные цепи дорога
Переброшена, точно аркан, —

Тот под песню мою зашагает,
Не боясь неприступных вершин.
Песня людям сердца окрыляет,
Вдохновляя на подвиг грузин.

Всё равно — голубые ли горы,
Изумруды ли вешних полей, —
Лишь бы только сияли просторы
Вечно юной отчизны моей.

Ты на каждом холме в восхищенье
Остановишь внимательный взгляд —
Весь народ там в труде и движенье,
Только древние крепости спят.

Утомясь от полдневного солнца,
Любишь ты наклониться к ручью,
Чтоб ладошкою с самого донца
Зачерпнуть ледяную струю.

Погоняя гнедую лошадку
Иль в машине своей за рулем,
Все названия сёл по порядку
Вспоминаешь ты ночью и днем.

Ты несешься дорогой крутою,
Выше, выше! И вдруг, как живой,
Мудрый Ленин с простертой рукою
На вершине встает пред тобой.

Впереди в созидательном шуме
Блещет Кеда, бегут огоньки,
И, крутясь под напевы хоруми,
Мчатся волны аджарской реки.

И на мост с высоты пьедестала
Вождь глядит, как внимательный друг,
И напеву речного хорала
Внемлют горы, вставая вокруг.

Как мечта, воплощенная нами,
Этот мост всенародной весны
Здесь повис меж прошедшими днями
И великим грядущим страны.

Где тот варвар, срывающий лозы
С терпеливо возделанных скал,
Кто над нами, как призрак угрозы,
С обнаженною саблей стоял?

Нет его! Полумесяц двурогий
Закатился, встречая рассвет,
И сияет над нашей дорогой
Благодатное солнце побед.

ГОНЧАРЫ

Кувшины у ручья разбиваются.
Народная поговорка

Сквозь зеленые ущелья
Каждой осенью с горы
К нам везут свои изделья
Удалые гончары.

Кукурузной шелухою
Пересыпан их товар.
Пес плетется за арбою
Вместе с ними на базар.

Словно дэвы-исполины,
Усмиренные в борьбе,
Колоссальные кувшины
Развалились на арбе.

У самих хозяев лица
Цвета глины золотой,
Но румяней всех возница,
Кахабери молодой.

Вот знакомое селенье,
Где, звеня, бежит ручей,
Где красотка в отдаленье
Их встречает у дверей.

Дали ей кувшинчик звонкий,
Поглядишь — сойдешь с ума:
Полногрудый, стройный, тонкий,
Как красавица сама.

Взгляд красотки сердце ранит,
И недаром: сто́ит ей

Подбочениться — и станет
Всех кувшинчиков стройней.

Замер дух у Кахабери.
Как шальной, глядит вослед,
Где мелькнул, скрываясь в двери,
Легких ножек силуэт.

Чует платья шелест милый,
Скрип ступенек слышит он,
И бегут пред ним перила,
Как в тумане, на балкон.

Домик маленький прекрасен —
Самый новый на селе.
Всюду стружки от балясин
И опилки на земле.

Бьет мотыга у пригорка —
Знать, ушел хозяин в сад,
Боевую гимнастерку
Нацепив на палисад.

И бормочет Кахабери:
«Всякий выиграет бой,
Коль его такая пери
Ждет с победою домой!»

Так стоит он и бормочет,
И грустит у ручейка,
А друзья над ним хохочут,
Ухватившись за бока.

Смотрит парень, озадачен:
Перед ним, открывши рот,
Чан, от смеха раскорячен,
Повалился на живот.

Что же с парнем приключилось?
Век не чуял он беды,
Глянь, а сердце и разбилось,
Как кувшинчик у воды!

СКАЗАНИЕ О ЗОДЧЕМ

(Из цикла «Хертвисские рассветы»)

Жестокий враг на Картли наступал,
И села жег, и бед творил немало.
Не только люди — вся громада скал
В тот страшный год слезами истекала.
С высоких круч для башен боевых
Она сама обрушивала плиты,
И тысячи деревьев вековых
Легли в ущелье, бурями разбиты.

И вся земля обуглилась кругом,
И был нарушен в ней порядок отчий...
И в этот год с своим учеником
Забрел в Хертвиси странствующий зодчий,
Благословил он камень под горой
И первой башни выложил преддверье,
И рядом с ним над башнею второй
Трудился вдохновенный подмастерье.

Две статных башни в воздухе росли,
Веревки лестниц яростно скрипели,
И мастера, работая вдали,
Друг другу песни радостные пели.
Уж три зимы, почти не зная сна,
Свой славный подвиг совершали двое,
И наконец повеяла весна,
И наступило утро роковое.

Сошел на землю зодчий, весь седой,
Он первым кончил славное строенье.
Глядит: вверху помощник молодой
Всё громоздит каменья на каменья.
Народ поет строителям хвалу,
И стол накрыт, и налиты кувшины.
Но молча смотрит старец на скалу
И не отводит взоров от вершины.

Увы, ничто его не веселит,
Он ясно видит, что теперь по праву

Неутомимый юноша затмит
Его годами скопленную славу.
И омрачилось сердце старика,
И, ревностью великой обуянный,
Он погубить решил ученика
И оборвал веревки, окаянный!

Стрелой вонзилась башня в высоту,
И юноша, зажав топор железный,
Как сокол, пораженный на лету,
Остался над зияющею бездной.
Но был он храбр и смастерил себе
Подобье крыл, и с песнею веселья,
Послав проклятье старцу и судьбе,
С высокой башни ринулся в ущелье.

Со всех сторон народ к нему спешит,
Приветствуя потомка исполинов.
Зачем же он под башнею лежит,
Большие крылья навзничь опрокинув?
Ах, не случилось с ним бы ничего,
Но за спиной топорик был некстати,
И лезвие железное его
Вошло в хребет до самой рукояти.

М. Квливидзе

УШБА

Ты задремала, забыв над кроватью
Свет погасить. И раскрытая книга
Брошена возле кровати, и ветер
Трогает шторы на окнах открытых...

Ночь за окном широка и спокойна.
Тихо на улице, только промчится
Изредка с легким шуршаньем машина
Или пройдет запоздалый прохожий,

К дому спеша...
Ты спишь, дорогая,
Спит твоя улица, спит твой Тбилиси.
Голову он положил на колени
Горных хребтов и, как будто охотник,
Сном беспокойным забылся во мраке.

А с высоты на тебя и на город,
На голубые окрестные горы,
На тополя, на поля, на лощины,
На разветвленья железной дороги,
На виноградники, рощи, селенья
Смотрит огромное небо. И небо
Так же задумчиво и необъятно,
Как о тебе необъятна забота
В сердце моем... И всё оно видит,
Но, увидав, обо всем забывает,
И потому, видно, старость и время
Не угрожают счастливому небу...

Ты задремала, ты спишь... А далеко —
В далях, не видных из комнатки этой,
В сердце Сванетии, в куполе неба,
Между громад неприступных Кавказа —
Дремлет высокая гордая Ушба,
И раздирающим душу молчаньем
Веет от этого сна... Непорочный
Снег там повсюду сияет, и звезды
Перед лицом векового безмолвья
В тайном испуге смежают ресницы.
Горных ущелий голодные пасти
Доверху там запечатаны снегом.
Кажется, если б не снег, то ущелья
Взвыли, объятые страхом молчанья.

Тихо вокруг, не услышишь ни звука...
Но... посмотри, при сиянии звездном,
Словно цепочка рассыпанных зерен,
Снег прочертили следы пешехода...
Их ни обвалы не стерли, ни бури,
Не поглотили их вихри и вьюги...
Под необъятным куполом ночи

Явственно видны следов отпечатки —
Словно старинная надпись на камне,
И ни конца у нее, ни начала...

Спишь ты, любимая; рядом с тобою
Спит твой ребенок. Твои сновиденья
Так же светлы, как любовь к этой крошке.
Знаю, душа твоя так же безгрешна,
Так же чиста, как и снежная Ушба.

Но посмотри, и в душе твоей чистой,
Словно цепочка рассыпанных зерен,
Чьих-то следов обозначились тени,
Их ни обвалы не стерли, ни вьюги,
Не поглотили их горести жизни...

Дремлет души твоей белое царство —
Только следы на снегу и заметны,
Словно старинная надпись на камне,
И ни конца у нее, ни начала...
В комнате, рядом, спит муж твой. Однако
Он не похож на того, кто дерзает
По неприступным скитаться вершинам.

* * *

Подняться на такую высоту
Один лишь ветер может, опираясь
На плечи елей и гигантских сосен.

Я высоко стою над облаками.
Я много выше, чем помыслить может
Тот, кто идет долиною. Вокруг
Синеют горы с темными лесами.
Когда я слышу окрик паровоза,
Мне кажется, что горы с важным видом
Зовут меня идти всё дальше, дальше,
Покуда жив, — всё выше и вперед...

Сиянье солнца. Ветер. Чистый воздух,
Как горный ключ, прохладен. Надо мною

Высокие торжественные сосны.
Они стоят, спокойствия полны,
И я под ними, их доброжелатель,
Лежу на хвое и смотрю на небо,
Синеющее в вырезах ветвей,
И слышу, как, невидимая глазу,
Поет самозабвенная пичужка, —
Как будто ей и впрямь необходимо
Очаровать, бесхитростной, меня!

Должно быть, в эту самую минуту
Она, как я, свои сомкнула веки,
Чтоб, кроме песни, в мире всё забыть!
Пой, милая! Сплети узлами звуки
И песенку веревочкой завей!
Залейся так, чтоб вместе с этой песней
Душа рвалась из маленького тельца!

Ведь я и сам такой же, как и ты,
Брожу, ликуя, по родному краю!
И если с песней вылетит душа,
Мне, право, больше ничего не надо —
Пусть я умру на этой высоте,
Здесь, у подножья мудрых этих сосен.

Г. Леонидзе

МАЙСКАЯ

Люблю брести по краю нивы,
В прохладе тутовых аллей,
Когда над Грузией счастливой
Ликуют горлицы полей.

Люблю среди долины вешней
Поток сверкающей воды,
Когда за первою черешней
Приходят женщины в сады.

И мил мне цветик винограда
И молодой древесный лист,
И силы нет уйти из сада,
Где самый воздух свеж и чист.

Всё чудится: склонясь к долинам,
Небес живая благодать
Крылом прозрачно-голубиным
Меня пытается обнять.

Т. Табидзе

ЗАЗДРАВНЫЙ ТОСТ

Нико Пиросмани

Привыкли мы славить во все времена
Нико Пиросмани за дружеским пиром,
Искать его сердце в бокале вина,
Затем, что одним мы помазаны миром.

Он трапезы нашей почтил благодать:
Бурдюк и баран не сходили с полотен.
И поводов к пиру недолго искать, —
Любой для приятельской встречи пригоден.

Следы нашей жизни, о чем ни пиши,
Изгладятся лет через десять, не боле,
А там на помин нашей бедной души
Придется сходить поклониться Николе.

Заплачет в подсвечниках пара свечей,
В трактире накроется столик с обедом...
Прошел он при жизни сквозь пламя огней,
За ним и другие потащатся следом.

Жил в Грузии мастер. Он счастья не знал!
Таким уж сумел он на свет уродиться.
Поднимем же, братья, во здравье бокал, —
Да будет прославлена эта десница!

ПРАЗДНИК АЛЛАВЕРДЫ

Нате Вачнадзе

Огромные арбы покрыты ковром.
Здесь буйвол пугается собственной тени.
Кончают бурдюк с кахетинским вином
Герои Важа из нагорных селений.

Нацелившись боком, влюбленный Кавказ
Прокрался тайком к аллавердской святыне,
Но церковь сияет и смотрит на нас,
Как голубь, привязанный к этой долине.

И вот над Кахетией вспыхнул рассвет,
Недолго он странствовал в море туманном.
«Не гасни, о день мой, сияньем одет,
А если погас, не свети никогда нам!»

На том берегу, приведенная в дол,
Хмельная отара лежит без движенья,
Как будто накрыли для Миндии стол
Кудесники-дэвы на поле сраженья.

Кончая свой танец, кистин-акробат
Застыл у костра в молчаливом экстазе,
И люди толпятся, и песни шумят
Под звуки шарманки и стон мухамбази.

А что ж не споют нам о белом гусе,
О белом кабане не вспомнят доселе?
И новым Леваном любуются все,
И песни его умножают веселье.

Здесь жертвенный бык прикольцован к столбу,
Он вырвал бы дзелкву с ее корневищем,
А ныне он жалок: клянет он судьбу,
Испуганный пиром и старым кладбищем.

Седая весталка и нищий юрод
В такое пускаются здесь причитанье,
Что спрыгнул бы сам вседержитель с высот,
Имей он в высотах свое пребыванье.

Народу здесь надобно столько вина,
Сколь может воды в Алазани вместиться,
А сколько он мяса тут съест и пшена —
Никто на земле сосчитать не решится!

Да будут обильны, Кахетия мать,
Сосцы твои, полные млечного сока!
И тучи выходят на небо опять,
И ночь, словно буйвол, встает одиноко.

Костры с шашлыками горят над рекой,
Слезятся от дыма веселые лица.
Олень угощает оленя травой,
Вином кахетинец поит кахетинца.

Здесь сам Пиросмани, и кистью его
Набросаны арбы и гости на пире.
Важа восхваляет его мастерство,
И турьи рога погоняют шаири.

И «Шашви какаби», и Саят-Нова,
И песни Бесики — для сердца отрада,
И жажда веселья в народе жива,
Когда наступает пора винограда.

С. Чиковани

САДОВНИК

В дремотных трущобах колеблется ключ,
Зима, затуманясь, уходит отсюда,
Но почки еще не прозрели покуда
И теплые ливни не хлынули с круч.

Весною садовник прилежен к труду.
Сын Картли, он полон любови к отчизне.
Он хочет, чтоб первое яблоко жизни,
Как зарево, вспыхнуло в нашем саду.

Как карта, в морщинах сухая ладонь,
На ней отпечатались корни растенья.
Как трут, она дышит. Он полон терпенья,
Чтоб высечь соцветий волшебный огонь.

Ножом расщепляя побег молодой,
Он надвое делит древесные ткани
И, выбранный плод прививая заране,
Две жизни стремится зажечь из одной.

И саженцы любят его всё нежней.
Они — как ребята из детского сада.
Он их переносит туда, куда надо,
Он их бережет, словно малых детей.

Он мира живого творит уголок,
Ему вручена созиданья частица.
Готова природа ему подчиниться,
Чтоб он насладиться плодом ее мог.

И встанут над садом, как сладостный дым,
Соцветия персиков, спутников лета,
И крик петушиный из горла рассвета
Прорвется и грянет, ликуя над ним.

Он дерево лепит, как лепят кувшин,
Он влагой его наполняет весенней.
Мой славный соперник, он всё вдохновенней,
Он в деле своем достигает вершин.

А в небе уже догорает закат,
И движутся тени под ветками сада,
И бродит садовник в сиянье заката —
Полезных деревьев творец и собрат.

ВАРДЗИЙСКИЙ ЗОДЧИЙ

Позабытым в веках фолиантом
Эти двери висят над горой.
Всё здесь дышит умом и талантом,
И долина блистает Курой.

Вечерело. На древние своды
Я смотрел, не смыкая очей.
По уступам, как вешние воды,
Прокатилась громада камней.

Сотни глаз отворив молчаливо,
Надо мною зияла скала.
Чудо чудное, дивное диво,
Всю округу она стерегла.

Я подумал: «Сколь надо усилий,
Чтоб построить подобную дверь!
Как здесь имя твое возносили,
Славный мастер, забытый теперь!»

И тогда я представил, как в келье
Ты цедил из кувшина вино,
Как бродил с подмастерьем в ущелье,
Объясняя, сколь чудно оно.

Как измерил ты скалы и горы,
Вдохновенной мечтою томим,
Как скалистые эти просторы
Изукрасил твореньем своим.

Лоно скал укрепив колоннадой,
Ты чертоги воздвиг в глубине
И четыреста глаз над громадой
Прорубил в каменистой стене.

Может быть, и поныне мечтая,
Посещаешь ты каменный зал.
Сила духа твоя молодая
Здесь столкнулась с твердынею скал.

Я смотрю: как строка Руставели,
Блещет светлый Вардзийский родник.
Чую сердцем, как в каменном теле
Ты подобьем чертога возник.

Как вместилось столь дивное чудо
В древний круг ограниченных дней?

У кого появилась, откуда
Мысль, проникшая в тело камней?

И томит мое сердце утрата —
Позабытое имя твое.
Лишь Кура тебя знала когда-то,
Но безмолвно теченье ее.

Не к лицу тебе, мастер, забвенье!
Сквозь ушедшие в вечность года
Не тебя ли мое поколенье
Призывает в столетье труда?

Именованный в книге поэта,
Руставели бессмертен теперь.
Но твердыня беспамятна эта,
И безмолвна Вардзийская дверь.

Неужели тебя загубили,
Благодетеля нашей земли,
Колыбель топором изрубили,
Руку, полную сил, отсекли?

Уничтожили дух Возрожденья,
Тот, которым ты скалы сдвигал,
И, достигнув вершины творенья,
Обвенчался с величием скал?

То искусство, с каким напоследок
Ты устроил Вардзийский родник?
Встань из гроба, неведомый предок,
Разорви покрывало на миг!

Не к лицу тебе, мастер, забвенье!
Сквозь ушедшие в вечность года
Не тебя ли мое поколенье
Призывает в столетье труда?

Ты наш мастер, ты наша отрада,
Мы гордимся твоим мастерством,
И недаром твоя колоннада
Нам твердит о величье твоем.

Мертвый камень трудами своими
Оживил ты в великой борьбе,
И коль ты потерял свое имя —
Будет Вардзия имя тебе!

СБОР ВИНОГРАДА

Виноград собирали на склонах холмов,
На закате огромные гроздья пылали.
Для отчизны друзья не жалели трудов.
То шумит водопад или сусло в подвале?

Я пою, красотою ущелья пленен.
Я его не могу позабыть в отдаленье.
У колхозника полон пшеницы балкон,
На балконном орнаменте — стадо оленье.

Пух ли это летит, облака ли бегут?
Или слуха дыхание листьев коснулось?
Никогда не состарюсь я. Радостный труд
Я увидел, и молодость в сердце вернулась.

Я в ущелье проник, я вошел в благодать
Урожая, где осень листву обагрила.
Здесь, в краю винограда, со мною опять
Неразлучны и юность, и счастье, и сила.

Председатель мне издали крикнул: «Привет!»
Я вокруг оглянулся и понял впервые,
Что не раз еще молодость прожитых лет
Встречу в этом ущелье в часы трудовые.

Если выпьешь вина да насытишь сполна
Свое сердце красотами этих окраин,
Ты поймешь, почему здесь в мои времена
Рад желанному гостю колхозник-хозяин.

Светлый путь к коммунизму нам виден уже.
Ты вступил на него, виноградарь Атени!
Я смотрю и с ликующей песней в душе
Не могу оторваться от этих видений.

СТАРИК ИЗ АТЕНИ

В кувшин подземный для вина
Забрался дед с большой скребницей.
На небо смотрит он со дна,
Бормочет, булькает водицей.

Потратил он немало сил
На виноградниках Атени,
Но, как колхозный старожил,
Хлопочет вновь, не зная лени.

Внизу прохладно и темно.
О чем поет он там, как дома?
И я взглянул к нему на дно
Сквозь горловину водоема.

Задравши голову, старик
Внизу, как облако, клубился.
Он тер кувшин и каждый миг
Из тьмы на солнышко дивился.

Он распростился с ясным днем
И, как положено от века,
Вину готовил чистый дом,
Подобный дому человека.

Он бормотал, жужжал пчелой,
Он тряс короткую бородку
И, уж в земле одной ногой,
Как молодой, впивался в щетку.

И я подумал: «Вот так дед!
Упорен он, как корень дуба!
Ему без дела жизни нет,
И потому работать любо.

Немолод он, но не сдает
Живое сердце и поныне.
Настанет срок, и запоет
Янтарный сок в его кувшине!»

ДОЖДЬ ИДЕТ

Помолчим. Этот дождь, он подслушает нас,
Он, пожалуй, другим кое-что перескажет
Вон как за́ ворот льет он и хлещет сейчас!
Шелковица ветвями у берега машет.

Дождь летит по кварталам, не зная дорог,
Зонтик бьется по ветру, как мокрая птица.
То шумит ли на фабрике шелка станок,
Или просто под ливнем шуршит шелковица?

В струйках влаги разносятся крики цыплят,
Дождь в Крцаниси пошел поливать огороды.
Он отхлещет в Самгори и, как говорят,
Через час на Руставские хлынет заводы.

Капли с тутовых веток текут да текут.
Как ни бейся, его остановишь едва ли!
Может, сам он со мною расстанется тут?
Мы его за приятеля в детстве считали.

Я ловлю мою молодость в каплях дождя,
От него, чудотворца, мне хочется чуда.
Дай мне руку твою, дорогое дитя!
Правда, мы не поссорились нынче покуда?

Видишь, горных хребтов затянулись верхи,
Дождь сегодня к иссохшей спустился долине.
Мы пасем этот дождь, мы его пастухи,
Мы примерные спутники ливням отныне.

Побежим-ка за ним! Над Самгорской землей
Он по-новому хлещет, не так, как бывало.
Он лишь возле Куры расстается со мной,
Но мечта уже крылья свои распластала.

То горох ли шумит, иль звенит серебро?
В дождевую кольчугу Мтацминда одета.
Ничего, что на улицах нынче мокро, —
Дождь крестьянину друг, он приятель поэта.

Листья с тутовых веток поют да поют,
Колосится под ливнем Самгорское поле.
Помолчим же и несколько светлых минут
Отдадим этой музыке капель, не боле.

РАКОВИНА

Словно Шекспир, начинаю я свой монолог,
Слово о ракушке, найденной около моря:
«Скромница ракушка, ты, что лежала у ног,
К морю зовешь ты, его песнопению вторя.

Ты, но не череп, должна находиться в руках,
Нету в тебе ни отравы его, ни печали.
Песни да волны тебя породили в веках,
Песни да волны точили тебя и качали.

Домиком звуков со временем сделалась ты,
Келейкой грез в перламутровом трепетном звоне.
Шум кораблей и шуршанье хлебов и мечты
Слышу в тебе я, и снова тянусь я к Риони.

Как воспринять мне у моря томительный звук,
Тот, что сумела поймать ты в жемчужные крылья?
Как мне запеть, чтоб с тобой, моя ракушка, вдруг
Рокот его повторить без тоски и усилья?

Я, как Шекспир, полюбил твой младенческий шум,
Скрытый под черепом твердых твоих очертаний.
Пусть не тревожит его привередливый ум,
Игры ветров не равняет он с воспоминаньем.

Время придет, и могила, подобье гнезда,
Скроет меня. Но и в этой уютной могиле
Будет звучать мне, как пастырям в поле звезда,
Голос морей, и замолкнуть я буду не в силе.

Песни народа и синего моря прибой
Ты собрала в песнопении шума морского.
Хлеб мой насущный, позволь мне сродниться с тобой,
Песней младенчества дай мне насытиться снова!»

НЕЗНАКОМКА ИЗ ЗУБОВКИ

Я из Зубовки однажды
К дому возвращался
И с красоткой чернобровой
В поле повстречался.

Д. Гурамишвили

Незнакомка из Зубовки, в буре огней
О тебе я пою постоянно.
Где бы ты ни ступила — там роза, и в ней
Пламенеет Давидова рана.

Незнакомка степей, полевая Нестан,
Ты — как родинка в книге поэта.
Не вчера ли еще обнимал я твой стан,
Хоть ищу тебя долгие лета?

Неужели тебя не увижу опять,
Как когда-то увидел впервые?
К нам былая любовь возвращается вспять
И бросает цветы полевые.

Ворвалась ты мне в сердце, сгубила меня.
Неужели ты ныне в неволе?
Оседлал я опять боевого коня
И лечу в украинское поле.

Окрестил я тебя Катериной моей,
Полюбил я твой взор соколиный.
Ты — лоза виноградная, роза полей
На странице из книги старинной.

Если б мог я страданья твои сократить!
Запах кос твоих нивы чудесней.
Если помнишь еще обо мне — может быть,
И моей ты утешишься песней.

Я тебе уготовал супружеский дом.
Стих, как колокол, стонет и бьется.
Размышления взвешены в сердце твоем,
Очи черные — глубже колодца.

Ты — грузинской поэзии свет и любовь,
Навсегда ты свободна отныне.
Твой платок развернулся по ветру, и вновь
Я зову тебя — на Украине!

НА ОЗЕРЕ РИЦА

Что́ это? Утро над берегом Рицы
Или твои шевельнулись ресницы?

Может быть, собраны чашею скал,
Это лишь слезы твои предо мною?
Светится озеро влагой ночною.
Выйди ко мне на лесной перевал!

Буком и ясенем заняты скаты.
Здесь неуместен столетиям счет.
И не состаришься здесь никогда ты,
Если приляжешь у берега вод.

Срезал тростник я, и вновь у постели
Буду я петь для тебя на свирели.

Озеро так же поет, как и я.
Где ты, моя быстрокрылая птица?
Око природы и мысль бытия —
Ждет тебя в скалах прозрачная Рица.

В сердце она уместилась моем
И твоему уподобилась взгляду.
В ней мы сегодня опять узнаем
Нашей отчизны красу и отраду.

Небо лазурно, вода — изумруд.
Слава Абхазии, милому краю!
Около Рицы тебя ожидаю,
Все ее тайны откроются тут.

Пухом ланит твоих, бархатом кожи
Влага подернута, словно с небес

Ринулось в грудь мою, полную дрожи,
Лучшее чудо из наших чудес.

Тени сгустились на озере Рица,
Щеки твои побледнели, но я
Лишь о тебе продолжаю томиться,
Нежная горная птица моя!

Здесь, возле буков и ясеней ночи,
Вечная молодость смотрит в волну.
Дай же и мне заглянуть в твои очи —
В Рицу мою и ее глубину!

ИЗ ВОСТОЧНОЙ ПОЭЗИИ

Лютфи

ГАЗЕЛИ

* * *

Сердце мое, виночерпий, трепещет от боли давно.
Чашу вина поднеси мне, чтоб горе забыло оно!

Если в вине заблестят отраженья сияющих рук,
Станет серебряной влагой пурпурное это вино.

Лжет на меня мухтасиб, и моих он не ценит услуг, —
Низкой душе оставаться навеки в грязи суждено.

Пусть эта чаша уста целовала, царица, твои,
Горечь и ревность я выпью сегодня, чтоб высохло дно.

Поймано локоном, смотрит на родинку сердце Лютфи, —
Крепок силок, и не вырваться птичке, нашедшей зерно!

* * *

Скажи моей деве, что скоро я жить перестану, скажи!
О том, что, как нищий, я слаб, моему ты султану скажи!

Горит мое сердце, из глаз моих бедных струится
поток, —
О скорби моей ты свече моей кельи туманной скажи!

Уж кровь лепестками покрыла мне сердце,
и я изнемог, —
Ты царственной розе про эту опасную рану скажи!

Как звезды на небе, бесчисленны слезы на лике моем, —
Луне моей ясной про слезы мои без обмана скажи!

Трепещет Лютфи и томится в разлуке он ночью
и днем, —
О горе его моему ты прекрасному хану скажи!

Агахи

ГАЗЕЛЬ

Встань вечерней порой и лицо приоткрой, чтоб звезда
пронеслась над твоей головой, как ночной мотылек,
Новорожденный месяц под бровью крутой засверкал,
отправляясь в полет круговой, как ночной мотылек.

Бедным телом моим и душой овладев, брось ты камень,
играя, на луг и стрелу золотую из рук, —
Затрепещет всё тело, пробито стрелой, а душа потеряет
над камнем покой, как ночной мотылек.

Посторонний свидетель — к чему он, мой друг? Но уж
если придешь ты ко мне и его приведешь для услуг, —
Пусть душа моя — бедная жертва твоя — вкруг него
обовьется с безумной тоской, как ночной мотылек.

Но, прищурив глаза, ты глядишь на меня, сколько явной
насмешки во взгляде твоем и неведомых мук!
Всё, что есть у меня, и всё то, чего нет, вкруг насмешек
твоих замирает с мольбой, как ночной мотылек.

Девятнадцати лет ты, царица моя. Расцветает твой сад.
В драгоценный наряд ты себя облеки. —
Вкруг твоих девятнадцати лет полетит
девятнадцатитысячный шепот людской,
как ночной мотылек.

Знать, до самого сердца прекрасной луны долетели
стенанья и вздохи твои, о певец Агахи!
Пусть же в сладком восторге трепещет душа, от стенаний
и слез замирая весной, как ночной мотылек!

Фазли

ГАЗЕЛЬ

Если локонов ряд на прелестном лице ты откроешь,
царица, в саду —
Будет завистью ранен прекрасный тюльпан, и сунбуль
удивится в саду.

Если шелковый ворот одежды своей расстегнешь ты
небрежной рукой —
Будет сердце тюльпана кроваво от ран, даже роза
затмится в саду.

Если люди в великом безумье своем забывают о встрече
с тобой,
Брось их в пламень разлуки, сожги их сердца и воздай
им сторицей в саду.

О мой кравчий! Всё в пурпуре это вино — в нем черты
отразились твои.
Дай мне чашу багровую, словно тюльпан, — пир цветов
да продлится в саду.

Неужели, о сердце, руины твои посетило страданье
любви?
Сохрани его, сердце, в глазнице своей, распевая,
как птица в саду!

Твой возлюбленный, дева, средь прочих мужей
именуется Шахимардон?
Принеси ему в дар поцелуи твои: по тебе он томится
в саду.

Ты к султану Омару стремишься, Фазли? Если будешь
ты им приглашен,
Как сурьма Сулеймана да будет земля, где султан
веселится в саду!

Масуди Са'ди Сальман

ОТРЫВОК ИЗ «ТЮРЕМНОЙ КАСЫДЫ»

Знать, неважны дела обитателей мира сего,
Коль в темнице поэт и в болячках всё тело его.

Десять стражей стоят у порога темницы моей,
Десять стражей твердят, наблюдая за мной из дверей:

«Стерегите его, не спускайте с мошенника глаз!
Он хитрец, он колдун, он сквозь щелку умчится от нас!

Ой, смотрите за ним, не усмотрите — вырвется вон.
Из полдневных лучей может лестницу выстроить он».

Все боятся меня, но охоты задуматься нет —
Кто ж он, этот злодей, этот столь многоликий поэт?

Как он может сквозь щелку умчаться у всех
на глазах?
Чем похож он на птицу, что в дальних парит небесах?

И такой испитой, и такой изнуренный тоской!
И в таких кандалах! И в глубокой темнице такой!

Те, которым веками удел повелительный дан,
Всё ж боятся меня, — а пред ними дрожит Джангуван!

Даже если бы мог я бороться и если бы смог
Через стены прорваться и крепкий пробить потолок, —

Если б стал я как лев, и как слон бы вдруг
сделался я,
Чтоб сразиться с врагом, где, скажите, дружина моя?

Без меча, без друзей, как уйду я от горя и мук?
Разве грудь моя — щит? Разве стан мой — изогнутый
лук?

Ахмат Даниш

КАСЫДА

Слыхал я когда-то, что шахи, владыки земель,
Лишь тех правоверных к себе приближали досель.
Кто к знанью стремится и в ком добродетель жива,
Кто в жизни на ветер свои не бросает слова.
Причину от следствий легко отличает мудрец,
Науку о вере несет он с собой во дворец;
Дыханьем Мессии там славится врач, поборов
На благо природы влияние зимних ветров;
Искусный астролог, вникающий в тайны планет,
Укажет там время падений и славных побед;
Певец сладкогласный умножит веселье и вмиг
Очистит от скуки природы затравленный лик;
Прилежный писец, поднимая волшебный калам,
На лик Отарида кладет свою родинку там;
Поэт-сочинитель, искусством своим умудрен,
Прославит владыку на пользу грядущих времен;
Рукой Бехзадэ и блистательной кистью Мани
Послужит ему живописец на многие дни.
И все эти люди суть гордость и слава страны.
Ценить их труды всемогущие шахи должны,
Властители царств, не жалея сокровищ своих,
Деньгами и пищей должны удовольствовать их.
Не тысячу танег, но сотню червонцев сполна
Пусть каждому в месяц отныне отпустит казна,
А кто изучил все науки земные, тому
По нескольку ставок пусть платит она одному.
Смиренный Даниш, самый жалкий из шаховых слуг,
Который всю жизнь посвятил изученью наук,

Который познал человеческих знаний предел,
Достиг совершенства и знаньем, сколь мог, овладел.
Зачем же богат он лишь горем одним и бедой?
Зачем же он беден лишь радостью жизни одной?
Черны его дни и котел его пуст — отчего?
Зачем без гроша он и дом из земли у него?
Пошли же, владыка, сто тысяч от царских щедрот
Тому, в ком сто тысяч различных достоинств живет!
Я в рощах искусства как лев, неизвестный доселе!
На пастбищах знанья я — полная силы газель!
Я — тот, чья душа, бесконечная, как небосвод,
Вращаясь над миром, вовек не покинет высот!
Какое искусство ко мне не предстало лицом?
Какая наука меня не признала творцом?
И в том, что таков я, бесценна заслуга твоя:
В саду твоих милостей вырос, смиреннейший, я.

Катран Тебризи

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ТЕБРИЗЕ

1

Пустые надежды не может лелеять поэт —
На этой земле ничего постоянного нет.
С тех пор, как из мрака возникло миров бытие,
Бессмертна земля, но меняется облик ее.
Меняешься ты, но бессмертны и ночи и дни,
И годы и месяцы — также бессмертны они.
Что толку гадать? Прорицанье — пустая мечта.
Судьбы не изменишь, и всуе твоя суета.

2

Что толку болтать: «Как случилось, что этот — живой?»
Что толку пытать: «Почему убивался другой?»
Ты — раб на земле, и к лицу тебе речи раба.

Кто скажет тебе, что́ готови́т для смертных судьба?
Бог бодрствует вечно, но люди окованы сном.
Вращается небо, но тварь цепенеет кругом.
Ты замыслов полон, но рок не жалеет людей.
Насмешка надежд ты в великой гордыне своей.
Ты в час ликованья не помнишь о мраке гробов,
В минуту свиданья забыть о разлуке готов!

3

Богат и прекрасен был город старинный Тебриз!
Пиры там кипели и сладкие песни лились,
Весельем и счастьем там был преисполнен народ,
Не ведал он горя, и тяжких не знал он забот.
Эмир, полководец, невольник, купец, гуртоправ
Трудились там мирно, свой труд по желанью избрав,
Тот богу служил, тот прислуживал пользе мирской,
Тот гнался за именем, этот — за толстой мошной,
И каждый был весел, и, занятый множеством дел,
Великого счастья достигнуть при жизни хотел
Быстрее, чем слово уста отомкнет мудреца,
Быстрее, чем песня людские откроет сердца.

4

Да, лучшего города в мире не создал господь!
Но могут ли люди веленья судеб побороть?
И вздыбился дол, и скала разметалась в куски,
Стал костью песок, и рассыпались камни в пески,
И вздрогнули реки, и треснула с громом земля,
Ломая деревья и горы вокруг шевеля!
И эти дворцы, что вставали до самых небес,
И этот ветвями луну задевающий лес, —
Где ныне они? Не осталось от них ничего!
В развалинах город, и ты не узнаешь его.
И если кто спасся — тот ныне от горя поник,
И если кто выжил — тот высох от слез, как тростник,
И не было сил, чтоб сказать человеку: «Не плачь!»
И не было слов, чтоб утешить его: «Не стенай!»

ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ

Леся Украинка

ПЕСНИ ПРО ВОЛЮ

* * *

Люди идут и знамена вздымают,
Словно огни. Словно дым, наплывают
Толпы густые. Колышется строй,
Песня про волю звенит над толпой.

«Смело, друзья!» Что ж так песня рыдает?
«Смело, друзья!» Как на смерть провожает!
Страшно, какой безнадежный напев!
Кто с ним на битву пойдет, осмелев?

Нет, не про волю та песнь! Про неволю
Плачет с какой-то неслыханной болью
Голос печальный... Значение слов
Плач погребальный скрывает, суров.

«Смело, друзья!» Провожая на плаху,
Брату ль поют, чтоб не ведал он страху?
Плачут бессильно, рыдая над ним,
Будто его зарывают живым.

В страшное время мы жить начинали,
Шли мы на бой в предрассветные дали,

Нам эта песня твердила, звеня:
«Нет, не дождаться вам светлого дня!»

Что вам до этого? Вы молодые,
Ныне к лицу вам и песни иные.
С вашею волей живется вольней,
Рано вам петь панихиды по ней!

Пусть расцветает она, величава!
Что вам далась эта песня-отрава?
С этою песней мириться нельзя,
Новую песню слагайте, друзья.

Так, чтоб она засияла лучами,
Так, чтобы ясное красное знамя,
Следом за нею взлетев в небеса,
Реяло гордо, творя чудеса.

* * *

«Нагаечка, нагаечка!» — поет иной подчас,
И с присвистом, и с топотом в лихой несется пляс.
А что же вас так радует, любезные друзья?
По чьей спине гуляла так «нагаечка твоя»?

Над нами ведь прошлась она, родимая земля,
Недаром мы запомнили «восьмое февраля».
Коль будем мы раздумывать о том веселом дне,
Нагайка прогуляется еще раз по спине.

Над собственным позорищем мы шутим иногда.
Неужто мы, друзья мои, без всякого стыда?
Знать, песня не родилася, чтоб волю воспевать,
Коль кое-кто, как бешеный, пустился танцевать.

Неужто, как невольники, мы, упершись в бока,
Под плетками плантатора ударим трепака?
Иль мы хотим, отдав себя на божью благодать,
Такою «карманьолою» тиранов испугать?

* * *

За горой зарницы блещут,
А у нас темно и бедно.
Воды черные в затоне
Плещут неприметно.

В небе молния сверкает,
А у нас во мраке тонет,
В черный гроб вода глухая
Светлую хоронит.

Но сверкающему свету
Покорится мрак глубокий
В час, когда всё небо вспыхнет
Бурей светлоокой.

В час, когда пронижет волны
Серебристыми мечами,
В час, когда на дно заглянет
Быстрыми очами.

И в ответ на это пламя
Свет в затоне разольется,
Если блеск высоких молний
В глубину прорвется.

Микола Бажан

СУМЕРКИ В ГАЙД-ПАРКЕ

Еще очертания птиц дрожат на озерной воде
И медленно чайка летит холодным туманным простором,
На бледные полосы туч крыло положив в высоте,
Сквозь вялую зелень ветвей мелькая дымком
сребропёрым.

Смеркается. Из-за дерев, на гладком разгоне дорог,
Которые длинной петлей безжизненный парк огибают,
Приземистых черных машин несется тяжелый поток,
Они на асфальте шипят и, злобно шипя, исчезают.

Бензиновый едкий угар ползет по шоссе полосой,
Ползет по дорожкам аллей, видавших немалые беды.
Всё глубже ложится туман, и пахнет прокисшей ботвой
От старых заброшенных гряд в сыром «огороде победы».

И весь этот запах гнилья, вся душная зыбкая мгла
Колеблется, вьется, течет, сплетая туманные нити,
И мрак опускается в парк, и тишь над листами
всплыла,
И зданья поникли вокруг в тяжелом безмолвном
укрытьи.

Шуршание чьих-то шагов из мглы донесется на миг
И стихнет, поглочено мглой. И вновь наплывает
молчанье.
От холода мелко дрожа, идет, приподняв воротник,
Какой-то чиновник. Скрипит утоптанный гравий
в тумане.

Идут друг за другом. Один себя повторяет в другом,
Такой же бесплодной тоской, как новый прохожий,
болея.
Такое же сердце в груди под тем же скрипит
сюртуком.
Такой же придавленный рот, такая же дряблая шея.

Как цифра на счетчике, вдруг является черная тень,
Чтоб сразу исчезнуть, за ней другие бегут единицы.
Чураясь друг друга всю жизнь, кончая безрадостный
день,
Идут боязливо они, безликие дети столицы.

То клерки идут по домам, как будто справляя обряд,
Когда закрывают бюро и гасятся лампы в конторах.
Размеренным маршем нужды бредет по Гайд-парку
парад
Несчастных созданий людских без всякой надежды
во взорах.

Без слов, без друзей, без мечты, идут, чтоб уныло
молчать,
Писаки разбойничьих фирм, контор беспощадных
служаки,
И мертвенно светят во мгле их лица, как будто печать
Имперских безрадостных дел, холодной имперской
клоаки.

НАД МОРЕМ

Земля, осыпавшись над шумною водою,
Ползет и крошится туда, где целый день
Играет волнами под самою скалою
Бескрайний блеск огней, морская светотень.
Она приходит в стих тревожным, буйным шумом
Забытых образов, предчувствий и примет,
И вот уж нет конца твоим тревожным думам,
И в одиночестве тебе покоя нет.
Тут море лишь и ты, тут только ритм и тени,
Живой гекзаметр волн, молчанье берегов.
А всё вокруг кричит, всё ищет воплощений,
Всё жаждет образов, всё просит форм и слов.
Ты ждешь внимательно, когда, бушуя снова,
Внезапный шквал стиха на душу налетит
И принесет с собой чудесный запах слова,
И непокорства пыл, и соль былых обид.
Ты не удержишь стих, когда он рвется с гневом,
Как не излечат боль пылающей души
Ни острословие, ни клятвы юным девам,
Ни вздохи страстные гаремного паши.
Пускай когда-нибудь из шепота «Ekskuz'ы» [1]
Поймут твои друзья, что, посланы судьбой,
Одни эринии, а не подруги-музы
В час одиночества владели здесь тобой,
Владели здесь тобой над морем вод свинцовым,
Над шумом черных бездн, в тот одинокий час,
Когда ты был таким, каким ты был, — суровым
Предтечей вещих дел, прославленных не раз.

---

[1] Ekskuza — извинение, название одного из сонетов Мицкевича, написанных в то время.

БУРЯ

Нависли низко туч глухие своды,
И, задевая крыльями о них,
Несутся чайки. Ропот непогоды
Таится в тихих шорохах морских —
Зловещий призрак предостереженья...
Пора молчанья, сумрака, томленья.

Ветрило то спадает вяло с рей,
То зло и резко тянет судно к цели.
Угрюмы, хриплы выкрики людей,
Как выдохи астматика в постели.
Будь зорок, кормчий! Ветер кружит тут
И поднимает волны Тарханкут.

Черна как смоль, и, словно кровь, багряна,
Ложится на востоке полоса
На плиты волн. Шальная трамонтана,
Прорезав даль, нагрянет в полчаса
И над залитым пеною баркасом
Пойдет плясать своим безумным плясом.

И всё свое откроет существо
Перед тобою наше Черноморье,
И ты его увидишь торжество,
Когда оно, бушуя на просторе,
Разверзнет недра, яростно трубя,
Чтоб испытать над бездною тебя.

Закутан в плащ, ты высишься над нею,
Прижавшись к мачте, с волн не сводишь глаз.
Ветрило рвет и выгибает рею,
Свист, словно бич, сечет и бьет баркас.

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание является почти полным собранием оригинальных стихотворений и поэм Н. А. Заболоцкого.

При жизни поэта было издано всего четыре сборника. Из них первые три — «Столбцы», Л., 1929, «Вторая книга», М.—Л., 1937 и «Стихотворения», М., 1948 — были очень невелики по объему; состав последнего сборника («Стихотворения», М., 1957) был значительно расширен: помимо ранее печатавшихся, сюда вошел ряд новых оригинальных произведений, а также образцы переводов.

В последние годы жизни Н. А. Заболоцкий подготовил к изданию собрание своих стихотворений и поэм. Буквально за неделю до смерти, 6 октября 1958 г., поэт завершил свою работу, предпослав рукописи следующее указание: «Тексты настоящей рукописи проверены, исправлены и установлены окончательно; прежде публиковавшиеся варианты многих стихов следует заменять текстами, приведенными здесь» (рукопись и записка хранятся в архиве семьи Н. А. Заболоцкого).

Из двух посмертных изданий произведений Н. А. Заболоцкого первое («Стихотворения», М., 1959) в большинстве случаев не учитывает поправок, внесенных поэтом в рукопись. Второе издание («Избранное», М., 1960), превосходящее по объему все предшествующие, учитывает эти поправки не полностью.

Для настоящего издания основным источником текста является рукопись 1958 г. По ней печатаются все стихотворения, подвергшиеся авторской переработке, а также произведения, не печатавшиеся при жизни поэта, но включенные им в основное собрание.

Стихотворения, не перерабатывавшиеся в рукописи, а также не включенные Заболоцким в основное собрание, печатаются по тем изданиям, где текст их окончательно установился, или, если эти произведения не публиковались при жизни автора, — по другим рукописям.

Ссылка в примечаниях на первую публикацию без дальнейшего указания источника текста означает, что стихотворение более не переиздавалось или, при перепечатках, не подвергалось изменениям.

Подготовленная Н. А. Заболоцким рукопись состоит из двух частей: «Столбцы и поэмы» (1926—1933) и «Стихотворения» (1932—1958). Обе части вошли в настоящее издание. Внутри каждой части произведения располагаются в порядке, установленном автором.

К стр. 61—63

В раздел «Столбцы и поэмы» Н. А. Заболоцкий включил в существенно переработанном виде 17 стихотворений из сборника «Столбцы», который при жизни автора не переиздавался ни полностью, ни частично (5 стихотворений из «Столбцов» — «Море», «Черкешенка», «Лето», «Пир» и «Фигуры сна» — в этот раздел не вошли), а также 29 других ранних стихотворений (небольшая часть их была опубликована). Из трех поэм, включенных в раздел, ранее была напечатана (в другой редакции) лишь одна — «Торжество земледелия».

С целью дать более полное и исторически точное представление о творчестве Заболоцкого, настоящее издание дополнено разделами: «Стихотворения, не включенные в основное собрание» (лишь наиболее значительные произведения) и «Из переводов».

Варианты в примечаниях приводятся лишь к стихотворениям основного (первого) раздела.

Условные сокращения, принятые в примечаниях:

«Вторая книга» — сборник Н. Заболоцкого «Вторая книга», М.—Л., 1937.

«Избранное» — сборник Н. Заболоцкого «Избранное», М., 1960.

«Лит. Москва» — «Литературная Москва». Литературно-художественный сборник московских писателей. М., 1956.

«Лит. Москва», 2 — то же, сборник второй. М., 1956.

Рукопись — рукопись стихотворений и поэм, подготовленная Н. А. Заболоцким к изданию в 1958 г. (см. о ней подробнее на стр. 447).

«Стихотворения», 1948 — сборник Н. Заболоцкого «Стихотворения», М., 1948.

«Стихотворения», 1957 — сборник Н. Заболоцкого «Стихотворения», М., 1957.

«Стихотворения», 1959 — сборник Н. Заболоцкого «Стихотворения», М., 1959.

«Столбцы» — сборник Н. Заболоцкого «Столбцы», Л., 1929.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Я не ищу гармонии в природе. Впервые — «Стихотворения», 1948, стр. 50.

Осень. Впервые — «Известия», 1934, 18 ноября, под названием «Осенние приметы». Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 7.

Венчание плодами. Впервые — «Лит. современник», 1933, № 1, стр. 71. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 9.

В первой редакции ст. 1—2:

Плоды Мичурина и кактусы Бербанка,
прозрачные, как солнечная банка...

Ст. 35—36:

сквозь яблоко лицо большое бога
глядит на нас и светом обдаст.

Вместо ст. 39—43:

когда для вас построены дома,
чтоб расцвели зародыши ума,
чтоб мысли в вас окрепли и созрели,
чтобы глаза на совершенном теле
открылись, чтобы длинные листы
могли владеть пером, чтоб умные кусты
могли передвигать корнями, как ногами,
чтоб из плодов вы сделались богами...

Вместо ст. 59:

вкруг шеи девушек висит и смотрит вниз.
Тут крепость яблоков, там башня из малины,
тут войско тыкв, тяжелых как снаряд,
и человечество с ногами исполина
лежит, беседуя с плодами наугад.

Вместо ст. 64—69:

Когда Бербанк в курятнике лежал,
исследуя плодов первопричину, —
он был Адам, который не бежал
от яблока, чтоб не упасть в пучину.
Он был Адам и первый садовод,
бананов друг и кактусов оплот...

Бербанк (1849—1926) — американский агроном, известный своими работами по выведению новых и улучшению старых сортов растений. Выведенными им кактусами восхищался К. Э. Циолковский. «Этот великий человек, — писал он, — терпел сначала лишения, спал в курятнике и умер бы от истощения, если бы не нашлась добрая женщина, которая поддержала его силы молоком» («Растение будущего. Животное космоса. Самозарождение». Калуга, 1929, стр. 4). Исправляя стихи в 1948 г., Н. Заболоцкий не изменил дату написания, хотя в данном случае это следовало бы сделать, т. к. Мичурин умер в 1935 г. и упоминание о его смерти в стихотворении, датированном 1932 г., выглядит странно.

Утренняя песня. Впервые — «Лит. современник», 1937, № 3, стр. 115. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 12.

Лодейников. Впервые — вторая главка (др. ред.) — «Звезда», 1933, № 2-3, стр. 79; третья главка (др. ред.) — «Лит. современник», 1937, № 3, стр. 116, под названием «Лодейников в саду», с да-

той: 1934. В новой редакции (4 главки) — «Стихотворения», 1957. Печ по рукописи. В «Звезде» перед ст. 1 было:

Как бомба в небе разрывается
и сотрясает атмосферу —
так в человеке начинается
тоска, нарушив жизни меру.
Вокруг Лодейникова расположены
места глухой природы —
бегут животные, стреножены,
благоухают огороды.
А сам Лодейников на возвышении
сидит, поднявши руки,
и говорит: «В душе моей сражение
природы, зренья и науки.
Вокруг меня кричат собаки,
растет в саду огромный мак, —
я различаю только знаки
домов, растений и собак.
Я тщетно вспоминаю детство,
которое судило мне в наследство
не мир живой, на тысячу ладов
поющий, прыгающий, думающий, ясный,
но мир, испорченный сознанием отцов,
искусственный, немой и безобразный
и продолжающий день ото дня стареть. . .
О, если бы хоть раз на землю посмотреть
и разорвать глаза и вырвать жилы!»

Так говорил Лодейников, и старожилы
глухих лесов — жуки — сошлись по одному
и, пальцы щекоча, ласкалися к нему.

В «Лит. современнике» иной вариант начала:

Лодейников, сидевший за столом,
ждал ужина. Уж ночь была в начале.
Вверху качались яблони. Кругом
ночные птицы жалобно кричали.
Из окон хаты шел дрожащий свет,
и в полосе неверного сиянья
стояли яблони, как будто изваянья
таинственных фигур, каких на свете нет.
Лодейников с его унылым носом
сидел в тени. Работница с подносом
поставила на стол дымящийся горшок
с едою. Он поел и, как лесной божок,
застыл и сгорбился. Степей очарованье,
глубокий шум лесов, мерцание светил —
все принял он в себя и каждое созданье
в своей душе, любя, отобразил.

Лишь одного ему недоставало —
спокойствия. О, как бы он хотел
быть этой яблоней, которая стояла
одна, вся белая, среди туманных тел.

Ганнибал (246—183 до н. э.) — карфагенский полководец.

Прощание. Впервые — «Известия», 1934, 4 декабря. С изменениями — «Вторая книга»; «Стихотворения», 1948. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 19.

Начало зимы. Впервые — «Лит. современник», 1937, № 3, стр. 117. С изменениями — «Стихотворения», 1957. Печ. по рукописи.

Весна в лесу. Впервые — «Известия», 1935, 1 мая, под названием: «В лесу» и без 8-й строфы; с добавлением этой строфы и под новым названием — «Вторая книга». С изменениями — «Стихотворения», 1957. Печ. по рукописи.

Засуха. Впервые — «Лит. современник», 1937, № 3, стр. 121. С изменениями — «Стихотворения», 1957. Печ. по рукописи.

Ночной сад. Впервые — «Лит. современник», 1937, № 3, стр. 122. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 26. В «Лит. современнике» последние 6 стихов:

и души лип вздымали кисти рук,
все голосуя против преступлений.

О сад ночной, о бедный сад ночной,
о существа, заснувшие надолго!
О ты, возникшая над самой головой
туманных звезд таинственная Волга!

Всё, что было в душе. Впервые — «Лит современник», 1937, № 3, стр. 122, без названия. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 27.

Вчера, о смерти размышляя. Впервые — «Лит. современник», 1937, № 3, стр. 120. Печ. по рукописи. *Сковорода* Григорий Саввич (1722—1794) — украинский философ-просветитель и поэт. В бумагах Н. Заболоцкого сохранились выписки из некоторых его произведений.

Север. Впервые — «Известия», 1936, 11 февраля. С изменениями — «Стихотворения», 1948. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 28. В первой публикации после ст. 40 было:

О, люди Севера! О, вьюги Ванкарема!
О, мужеством рожденная поэма!
О, под людьми ломающийся лед!
О, первый Ляпидевского полет!

Теперь там всё мертво и сиротливо:
круглоголовый, как биллиардный шар,
то морж появится и дышит торопливо,
пуская вверх продолговатый пар;
то, потрясая мантией косматой,
пройдет медведь, как демон волосатый
в своем доисторическом меху;
то небо заиграет наверху —
откроются на нем ландшафты и строенья,
мерцая, вспыхнут длинные столбы,
цветов тончайшие пройдут соединенья
и вновь погаснут около трубы.

Седов. Впервые — «Известия», 1937, 24 июня. С изменениями — «Вторая книга»; «Стихотворения», 1948. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 30. В двух первых публикациях вместо ст. 51—54 было:

Когда сквозь мрак арктических туманов,
Магнитных бурь, неведомых уму,
Пробился к полюсу отважный Водопьянов
И всех друзей собрал по одному;
Когда, развернут по приказу Шмидта,
Наш флаг над полюсом колеблется, крылат,
И будут пойманы углом теодолита
Восход луны и солнечный закат;
Когда по только что проложенному следу,
Чтоб довершить прекрасную победу,
Пронесся Чкалов, славен и велик,
Связав с Америкой наш буйный материк...

Седов Георгий Яковлевич (1877—1914) — выдающийся исследователь Севера.

Голубиная книга. Впервые (др. ред.) — «Известия», 1937, 7 ноября, под названием «Великая книга»: с изменениями, под тем же названием — «Стихотворения», 1948. В новой редакции и под новым названием — «Стихотворения», 1957. Печ. по рукописи.

Метаморфозы. Впервые — «Вторая книга , стр. 34, под названием «Бессмертие». Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 34.

Лесное озеро. Впервые — «Новый мир», 1956, № 6, стр. 133.

Соловей. Впервые — «Стихотворения», 1957, стр. 38. *Антоний* Марк (82—30 до н. э.) — один из римских триумвиров, разделивших между собой власть после смерти Цезаря. Погиб вместе с египетской царицей *Клеопатрой* в борьбе с Октавианом Августом.

Слепой. Впервые — «Стихотворения», 1957, стр. 39.

Утро. Впервые — «Новый мир», 1956, № 6, стр. 133.

Гроза. Впервые — «Стихотворения», 1948, стр. 41. С изменениями — «Стихотворения», 1957. Печ. по рукописи.

Бетховен. Впервые — «Юность», 1956, № 10, стр. 91.

Уступи мне, скворец, уголок. Впервые — «Лит. Москва», 1956, стр. 443.

Читайте, деревья, стихи Гезиода. Впервые — «Избранное», стр. 55. *Гезиод* — древнегреческий поэт (VIII—VII вв. до н. э.). *Оссиан* — легендарный кельтский бард, от имени которого шотландский писатель Дж. Макферсон (1736—1796) издал книгу стихов «Поэмы Оссиана». *Кухулин* — один из героев Оссиана, ирландский король. *Морвен* — вымышленное королевство, фигурирующее в поэмах Оссиана. *Камена* — муза. *Девятая* муза была покровительницей песнопений, позднее — эпической поэзии.

Еще заря не встала над селом. Впервые — «Стихотворения», 1948, стр. 43. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 46.

В этой роще березовой. Впервые — «Знамя», 1959, № 4, стр. 98.

Воздушное путешествие. Впервые — «Новый мир», 1947, № 10, стр. 120, без третьей строфы. Печ. по сб. «Стихотворения», 1948, стр. 24.

Храмгэс. Впервые — «Новый мир», 1947, № 10, стр. 121. С изменениями — «Стихотворения», 1948. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 49.

Сагурамо. Впервые — «Дружба народов», 1948, кн. 17, стр. 136. С изменениями — «Стихотворения», 1948. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 51. В журнале было два авторских примечания: «*Сагурамо* — бывшее имение Ильи Чавчавадзе, некогда принадлежавшее Гурамишвили. Невдалеке от Сагурамо, на месте убийства Чавчавадзе, воздвигнут обелиск его имени. Ныне Сагурамо — Дом творчества грузинских писателей»; и к строке «И странники Гурамишвили», которая была вместо «И спутники Гурамишвили»: «В 1724 г., гонимые турками и персами, свыше тысячи грузин, вместе с царем Вахтангом VI, нашли убежище в России. К ним присоединился и поэт *Гурамишвили,* рассказавший об этом в исторической поэме „Беды Грузии“». *Храм Зедазени* — старинный монастырь в горах близ Сагурамо. *Илья Чавчавадзе* (1832—1907) — выдающийся грузинский писатель. *Мцхст* (Мцхета) — древняя столица Грузии.

К стр. 98—106

Ночь в Пасанаури. Впервые — «Стихотворения», 1957, стр. 53. *Пандури* — народный музыкальный инструмент вроде балалайки. *Две Арагвы.* Вблизи селения Пасанаури сливаются две реки — Белая и Черная Арагвы.

Я трогал листы эвкалипта. Впервые — «Стихотворения», 1948, стр. 45.

Урал. Впервые — Стихотворения», 1948, стр. 37, с подзаголовком — «Отрывок из поэмы». С изменениями — «Стихотворения», 1957. Печ. по рукописи. *Турмалин* — минерал.

Город в степи. Впервые — «Новый мир», 1947, № 5, стр. 103. С изменениями — «Стихотворения», 1948. Печ. по рукописи. В журнальной редакции вместо последних 7 стихов 3-й главки было:

В сухих волнах тяжелого песка
Преодолевший, рядом с человеком,
Пустыни дикие и грузные века.

Ассаргадон — ассирийский царь (707—667 до н. э.), здесь в смысле — повелитель. *Тамариск* (гребенчук) — небольшое дерево или кустарник с мелкими чешуйчатыми листьями, растет на солончаках.

В тайге. Впервые — «Стихотворения», 1948, стр. 29. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 62.

Творцы дорог. Впервые (др. ред.) — «Новый мир», 1947, № 1, стр. 101. С изменениями — «Стихотворения», 1948. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 64. В первой редакции была иная вторая главка, впоследствии опущенная (нумерация главок была соответственно изменена):

Есть в совокупном действии людей
Дыханье мысли вечной и нетленной:
Народ — строитель, маг и чародей —
Здесь встал, как вождь, перед лицом вселенной.
Тот, кто познал на опыте своем
Многообразно-сложный мир природы,
Кого в горах калечил бурелом,
Кого болот засасывали воды,
Чья грудь была потрясена судьбой
Томящегося праздно мирозданья,
Кто днем и ночью слышал за собой
Речь Сталина и мощное дыханье
Огромных толп народных, — тот не мог
Забыть о вас, строители дорог.

К стр. 106

Далеко от родимого края,
Исполняя народный приказ,
Он идет, по пустыням шагая, —
Человек, изумляющий нас!

Он идет через тундры и горы,
Он шагает сквозь топи болот,
Сквозь глухие лесные просторы
Он, не ведая страха, идет.

Ва́лят с ног его злобные ветры,
Засыпает пустыню пурга,
Но ложатся дорог километры
Вслед за ним, сквозь леса и снега.

Бьются в грудь ему синие льдины,
Водопад угрожает бедой,

Но мосты, упираясь в пучины,
Повисают за ним над водой.

Над горами бушуют метели,
Ураган ему кровь леденит,
Но залитые светом тоннели
Вслед за ним прорезают гранит.

За железное рыцарство чести
Над просторами новых дорог —
Выпьем чару заздравную вместе,
Землекоп, инженер, гео́лог!

Поднимайте над рельсами чаши
За святой человеческий труд,
Чтобы дети запомнили наши,
Как мы с вами работали тут.

Поднимайте над рельсами чаши,
Чтоб гремели с утра до утра
Золотые помощники наши —
Бульдозеры, катки, грейдера́.

Чтобы в царстве снегов и туманов
До последних пределов земли
Мы, подобно шеренге титанов,
По дороге бессмертия шли!

Нет, не напрасно трудится народ,
Вооруженный лампой Аладина!
Настанет час — веществ круговорот
Признает в нем творца и властелина.

Настанет час, когда в тайник миров
Прорвутся силы разума и света
И, бешенство стихий переборов,
Огромным садом станет вся планета.
Недаром нас приветствуют вдали
Кристаллами окованные скалы,
Недаром сами камни и металлы
С тяжелым звоном рвутся из земли!

Махаон — бабочка. *Стожары* — созвездие.

Завещание. Впервые — «Стихотворения», 1948, стр. 52. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 68.

Жена. Впервые — «Новый мир», 1953, № 10, стр. 43, без названия. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 70.

Журавли. Впервые — «Лит. Москва», 1956, стр. 446. С изменениями — «Стихотворения», 1957. Печ. по рукописи.

Прохожий. Впервые — «Тарусские страницы», 1961, стр. 311. В том же сборнике Н. Степанов отмечает, что в этом стихотворении «до предела конкретно показано переделкинское кладбище» (стр. 309). Переделкино — дачный поселок под Москвой.

Читая стихи. Впервые — «Новый мир», 1956, № 6, стр. 135.

Когда вдали угаснет свет дневной. Впервые — «Лит. Москва», 2, 1956, стр. 415.

Оттепель. Впервые — «Новый мир», 1953, № 10, стр. 43. В бумагах поэта сохранился иной вариант окончания (вместо последней строфы):

Около снежных закуток
В первый весенний сосуд
Толпы бессонных малюток
Влагу в ладонях несут.

Кто вы, малютки вселенной?
Вам ли обнять суждено
То, что для жизни мгновенной
Нашему сердцу дано?

Приближался апрель к середине. Впервые — «Октябрь», 1956, № 12, стр. 132.

Поздняя весна. Впервые — «Стихотворения», 1957, стр. 79. *Пифагорово пенье светил* — «гармония сфер», звуковые колебания, исходившие от небесных тел, по теории пифагорейцев.

Полдень. Впервые — «Стихотворения», 1957, стр. 80.

Лебедь в зоопарке. Впервые — «Лит. Москва», 1956, стр. 447.

Сквозь волшебный прибор Левенгука. Впервые — «Стихотворения», 1957, стр. 83. Антоний *Левенгук* (1632—1723) — голландский натуралист, сделавший ряд замечательных открытий, работая с микроскопом.

Тбилисские ночи. Впервые — «Стихотворения», 1957, стр. 84. *Пандури* — см. стр. 454.

На рейде. Впервые — «Дружба народов», 1956, № 4, стр. 49. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 86.

Гурзуф. Впервые — «Стихотворения», 1957, стр. 88. *Персефона* (греч. миф.) — богиня, олицетворяющая силы земли, владычица преисподней. *Сирены* (греч. миф.) — полуптицы-полуженщины, волшебным пением увлекавшие мореходов.

Светляки. Впервые — «Стихотворения», 1957, стр. 89.

Башня Греми. Впервые — «Стихотворения», 1957, стр. 90.

Старая сказка. Впервые — «Тарусские страницы», 1961, стр. 311.

Облетают последние маки. Впервые — «Знамя», 1960, № 12, стр. 66.

Воспоминание. Впервые — «Тарусские страницы», 1961, стр. 311.

Прощание с друзьями. Впервые — «День поэзии», 1956, стр. 13.

Сон. Печ. впервые по рукописи.

Весна в Мисхоре. Впервые — стих. «Учан-Су» — «Дружба народов», 1956, № 4, стр. 51; весь цикл полностью — «Стихотворения», 1957, стр. 92. *Иудино дерево* — южное декоративное растение. *Рапсоды* — исполнители эпических песен в Древней Греции. *Учан-Су* — водопад в Крыму.

Портрет. Впервые — «Новый мир», 1956, № 6, стр. 134. *Рокотов* Федор Степанович (ок. 1730—1810) — художник-портретист. Портрет А. П. *Струйской* хранится в Гос. Третьяковской галерее.

К стр. 130—144

«Я воспитан природой суровой...». Впервые — «Дружба народов», 1956, № 4, стр. 51.

Поэт. Впервые — «Юность», 1956, № 10, стр. 91.

Дождь. Впервые — «Октябрь», 1955, № 6, стр. 123. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 97.

Ночное гулянье. Впервые — «Юность», 1956, № 10, стр. 91.

Неудачник. Впервые — «Октябрь», 1956, № 7, стр. 82. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 99.

Ходоки. Впервые — «Дружба народов», 1955, № 11, стр. 3.

Возвращение с работы. Впервые — «Стихотворения», 1957, стр. 103.

Шакалы. Впервые — «Дружба народов», 1956, № 4, стр. 49.

В кино. Впервые — «Октябрь», 1956, № 7, стр. 81. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 106.

Бегство в Египет. Впервые — «Тарусские страницы», 1961, стр. 311. *Бегство в Египет.* Согласно библейскому преданию, узнав о рождении Христа, иудейский царь Ирод приказал умертвить всех младенцев в Вифлееме, и родители Иисуса вынуждены были бежать в Египет.

Осенние пейзажи. Впервые — «Лит. Москва», 1956, стр. 445. Второе и третье стихотворения назывались — «Утро» и «Канны». Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 108.

Некрасивая девочка. Впервые — «Лит. Москва», 1956, стр. 444. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 110.

«При первом наступлении зимы...». Впервые — «Лит. Москва», 2, 1956, стр. 417.

Осенний клен. Впервые — С. Галкин. «Стихи. Баллады. Драмы». М., 1958, стр. 27. *Галкин* Самуил Залманович (1897—1960) — известный советский еврейский поэт и драматург.

Старая актриса. Впервые — «Лит. Москва», 2, 1956, стр. 416.

О красоте человеческих лиц. Впервые — «Новый мир», 1956, № 6, стр. 135.

Где-то в поле возле Магадана. Впервые — «День поэзии», М., 1962, стр. 298; без 17—20 строк. Печ. по рукописи. *Околодок* — санитарная часть, больница.

Поэма весны. Впервые — «Тарусские страницы», 1961, стр. 312.

Последняя любовь. Отдельные стихотворения цикла впервые печатались: «Чертополох» — «Лит. Москва», 2, 1956, стр. 415; «Последняя любовь» — «Москва», 1958, № 2, стр. 83; «Морская прогулка» — «Стихотворения», 1959, стр. 173; «Встреча» — «Стихотворения», 1959, стр. 179. Весь цикл — «Избранное», стр. 136. Печ. по рукописи. В одной из рукописей стих. «Встреча» включено в качестве второй части в стих. «Две встречи». Приводим первую часть этого стихотворения, которой предпослан эпиграф из романа Л. Н. Толстого «Война и мир» («Княжна Марья... по лицу отца, не грустному, не убитому, но злому и неестественно работающему над собой лицу, увидела, что вот-вот над ней повисло и задавит ее страшное несчастие»):

Сраженное бессмысленной судьбой,
Его лицо мне видится далече.
Как неестественно, борясь с самим собой,
Оно работало, пугаясь этой встречи!
Два великана — воля и беда —
Руководили страшной той работой,
И целый мир, огромный, как всегда,
Следил за ним с тоской и неохотой.
Оно работало, а быстрые шаги
Уж доносились издали, и с громом
Открылась дверь, и в облике знакомом
Старик прочел: «О боже, помоги!»

Противостояние Марса. Впервые — «Новый мир», 1956, № 10, стр. 104. Печ. по рукописи.

Гурзуф ночью. Впервые — «Знамя», 1959, № 4, стр. 99. *Плиний* Старший (22 или 23 — 79) — автор многотомной «Естественной истории», представляющей собою своеобразный свод существовавших тогда в этой области знаний.

Над морем. Впервые — «Новый мир», 1957, № 12, стр. 137.

Смерть врача. Впервые — «День поэзии», 1957, стр. 44.

Детство. Впервые — «День поэзии», 1957, стр. 44.

Лесная сторожка. Впервые — «Москва», 1957, № 5, стр. 63.

К стр. 159—171

Б о л е р о. Впервые — «Москва», 1957, № 5, стр. 64. *Равель* Морис (1875—1937) — известный французский композитор.

П т и ч и й д в о р. Впервые — «Избранное», стр. 153.

О д и с с е й и с и р е н ы. Впервые — «Литература и жизнь», 1959, 20 марта. Стихотворение написано по мотивам эпизода из «Одиссеи» Гомера. *Аттика* — область Древней Греции. *Сирены* — см. стр. 457.

Э т о б ы л о д а в н о. Впервые — «Избранное», стр. 157.

К а з б е к. Впервые — «Новый мир», 1957, № 12, стр. 138. *Хевсуры* — народность (родственная грузинам), живущая вблизи Казбека.

С н е ж н ы й ч е л о в е к. Впервые — «Избранное», стр. 161. *Троглодит* — общее название древнего человека, жившего в пещерах или землянках. *Астероид* — малая планета. *Ламы* — буддийские монахи.

О д и н о к и й д у б. Впервые — «Новый мир», 1959, № 4, стр. 53.

С т и р к а б е л ь я. Впервые — «Знамя», 1959, № 4, стр. 101, без последних 4 строк. Печ. по рукописи. *Афродита,* по греческому мифу, родилась из пены морской.

Л е т н и й в е ч е р. Впервые — «Новый мир», 1959, № 4, стр. 54. В рукописи первоначальное название — «Первый вечер на Оке».

Г о м б о р с к и й л е с. Впервые — «Новый мир», 1957, № 12, стр. 139. Печ. по рукописи. *Кахети* — часть Восточной Грузии. *Мурильо* (1617—1680) — знаменитый испанский художник.

С е н т я б р ь. Впервые — «Москва», 1958, № 2, стр. 84.

В е ч е р н а О к е. Впервые — «Новый мир», 1957, № 12, стр. 137. В рукописи первоначальное название — «Второй вечер на Оке».

«К т о м н е о т к л и к н у л с я в ч а щ е л е с н о й?..». Впервые — «Москва», 1958, № 2, стр. 84. *Окарина* — небольшой глиняный музыкальный инструмент, звук его напоминает флейту.

Г р о з а и д е т. Впервые — «Литература и жизнь», 1959, 20 марта

З е л е н ы й л у ч. Впервые — «Новый мир», 1959, № 4, стр. 53.

У г р о б н и ц ы Д а н т е. Впервые — «Новый мир», 1959, № 4, стр. 54—55. *Мне мачехой Флоренция была.* Данте Алигьери (1265—1321) был изгнан в 1302 г. из Флоренции и остальную часть жизни провел на чужбине. *Тоскана* — область Средней Италии, в которую в числе других провинций входит и Флоренция.

Г о р о д о к. Впервые — «Избранное», 1960, стр. 177.

Л а с т о ч к а. Впервые — «Избранное», 1960, стр. 179.

П е т у х и п о ю т. Впервые — «Знамя», 1959, № 4, стр. 97. *Коломенские дали.* Коломна — городок под Москвой.

П о д м о с к о в н ы е р о щ и. Впервые — «Знамя», 1959, № 4, стр. 101. *Иван Великий* — колокольня в Московском Кремле.

Н а з а к а т е. Впервые — «Новый мир», 1958, № 12, стр. 106, под названием «Закат». Печ по рукописи.

Н е п о з в о л я й д у ш е л е н и т ь с я. Впервые — «Новый мир», 1958, № 12, стр. 107, без названия. Печ. по рукописи.

Р у б р у к в М о н г о л и и. Три главы — «Начало путешествия», «Дорога Чингисхана» и «Монгольские женщины» — впервые — «Литература и жизнь», 1959, 21 июня. Полностью поэма впервые — «Избранное», 1960, стр. 188. Печ. по рукописи. Автор сопровождает поэму следующими примечаниями: «*Рубрук* — Вильгельм де Рубрук (Рубруквис), монах ордена миноритов, в 1253 году по поручению французского короля Людовика IX ездил в страну древних монголов, о чем оставил любопытные записки. *Итиль* — Волга. *Танаид* — Дон. *Коман* — половец. *Мокша* — племена финского происхождения. *«Ом, мани падме кум!»* — буддийская молитва. *Каракорум* — древняя столица монголов». *Гог и Магог* (библ.) — имена князя и народа, которые, по пророчеству, в отдаленном будущем придут с Севера. Здесь имеются в виду монголы. *Ярослав* — новгородский князь Ярослав Всеволодович (1190—1246), отец Александра Невского, впоследствии великий князь Киевский. В 1239 г. Батый, основав свою резиденцию в Сарае, потребовал к себе русских князей на поклон. Он принял Ярослава с честью и дал ему старейшинство во всей Руси. *Гривны* — мелкие монеты, из которых иногда делались монисты. *Ям* — почтовая станция, на которой меняют лошадей. *Капелла* — молитвенное сооружение небольшого размера (у католиков), здесь — монастырь. *Гиперборейский интернат* — ироническое определение смутных представлений ученых античного мира о таинственных гипербореях, жителях крайнего Севера. *Плиний* — см. стр. 459. *Онон* — приток реки Ингоды. *Керулен* — река, впадающая в озеро Далайнор. *Аланы* — иранское племя. *Кимвалы* — древний восточный ударный музыкальный инструмент. *Минорит* — одно из подразделений ордена францисканцев. *Несто-*

риане — одна из разновидностей христианства, получившая свое название по имени константинопольского патриарха Нестория (428—431) и имевшая, в частности, некоторое распространение в Средней Азии и Западном Китае.

СТОЛБЦЫ И ПОЭМЫ

Белая ночь. Впервые — «Столбцы», стр. 10. Печ. по рукописи. *Невка.* Большая, Малая и Средняя Невка — названия рукавов Невы. *Елагин* — один из островов, на которых расположен Центральный парк культуры и отдыха в Ленинграде.

Вечерний бар. Впервые, под названием «Красная Бавария» — «Столбцы», стр. 7. Печ. по рукописи. *Пикадилли* — старое название одного из ленинградских кинотеатров (теперь «Аврора»). *Над башней рвался шар крылатый.* Дом на Невском проспекте в Ленинграде, принадлежавший прежде фирме *«Зингер»*, украшен башней с шаром наверху (ныне — Дом книги).

Футбол. Впервые — «Звезда», 1927, № 12, стр. 100. Печ. по рукописи.

Офорт. Впервые — «Столбцы», стр. 21. Печ. по рукописи.

Болезнь. Печ. впервые по рукописи.

Игра в снежки. Печ. впервые по рукописи.

Часовой. Впервые — «Столбцы», стр. 27. Печ. по рукописи.

Новый быт. Впервые — «Столбцы», стр. 29. Печ. по рукописи.

Движение. Впервые — «Столбцы», стр. 32.

На рынке. Впервые — «Столбцы», стр. 33. Печ. по рукописи.

Ивановы. Впервые — «Столбцы», стр. 39. Печ. по рукописи.

Свадьба. Впервые — «Столбцы», стр. 42. Печ. по рукописи.

Фокстрот. Впервые — «Столбцы», стр. 46. Печ. по рукописи.

Пекарня. Впервые — «Столбцы», стр. 50. Печ. по рукописи.

Рыбная лавка. Впервые — «Звезда», 1929, № 8, стр. 108. В «Столбцы» не входило. Печ. по рукописи. *Архитриклин* — изменен-

ное «триклиниарх»; так в Древнем Риме назывался главный из рабов, прислуживавших за пиршественным столом — триклинием.

Обводный канал. Впервые — «Столбцы», стр. 53. Печ. по рукописи.

Бродячие музыканты. Впервые — «Столбцы», стр. 55. Печ. по рукописи. *Роскошная песнь Тамары* — стихотворение М. Ю. Лермонтова «Тамара», ставшее популярным романсом.

На лестницах. Печ. впервые по рукописи.

Купальщики. Впервые — «Столбцы», стр. 61. Печ. по рукописи. *Полигамка* — от слова «полигамия» (многобрачие).

Незрелость. Впервые — «Столбцы», стр. 63. Печ. по рукописи.

Народный дом. Впервые — «Столбцы», стр. 65. Печ. по рукописи. Любопытный реальный комментарий к стихотворению можно найти в «Ленинградской правде» (5 июня 1926 г.): «В саду Нардома, одном из вместительнейших летних садов Ленинграда... мелкое, провинциальное житье-бытье... От пьяных нет прохода... да оно и неудивительно. Несколько концертных номеров с часовым антрактом, американские горки да дурашливые зеркала — вот и все, что может предложить Нар. дом своей рабочей публике». Процитированная нами заметка С. Дрейдена вызвала в следующих номерах оживленные отклики.

Самовар. Печ. впервые по рукописи.

На даче. Печ. впервые по рукописи.

Начало осени. Впервые — «Звезда», 1929, № 8, стр. 109.

Цирк. Впервые — «Звезда», 1929, № 2, стр. 112. Печ. по рукописи.

Лицо коня. Впервые — «Тарусские страницы», 1961, стр. 309.

В жилищах наших. Печ. впервые по рукописи.

Прогулка. Впервые — «Лит. современник», 1937, № 3, стр. 115. Печ. по рукописи.

З м е и. Впервые — «Тарусские страницы», 1961, стр. 310.

И с к у ш е н и е. Печ. впервые по рукописи

М е р к н у т з н а к и З о д и а к а. Впервые — «Звезда», 1933, № 2-3, стр. 78. *Кекуок* — танец американских негров, одно время бывший модным в Европе.

И с к у с с т в о. Впервые — «Тарусские страницы», 1961, стр. 310. Печ. по рукописи.

В о п р о с ы к м о р ю. Впервые — «Лит. Грузия», 1962, № 6, стр. 44.

В р е м я. Печ. впервые по рукописи. *Андромеда, Конь* — созвездия.

И с п ы т а н и е в о л и. Печ. впервые по рукописи.

П о э м а д о ж д я. Печ. впервые по рукописи.

О т д ы х. Впервые — «Вторая книга», стр. 5.

П т и ц ы. Печ. впервые по рукописи.

Ч е л о в е к в в о д е. Печ. впервые по рукописи.

З в е з д ы, р о з ы и к в а д р а т ы. Печ. впервые по рукописи.

Ц а р и ц а м у х. Впервые — «Тарусские страницы», 1961, стр. 310. В бумагах Н. А. Заболоцкого сохранилась следующая запись, относящаяся к этому стихотворению: «Знаменитый АгриппаНоттенгеймский царицей мух называет какую-то таинственную муху, величиной с крупного шмеля, которая «любит садиться на водяное растение, называемое Fluteau plantaginé, и с помощью которой индусы якобы отыскивают клады на своей родине». «Когда вы будете иметь в своем распоряжении одну из таких мух, — пишет Агриппа, — посадите ее в прозрачный ящичек. Ее помещение надо освежать два раза в день и давать ей растение, на котором ее поймали. Она может жить при таких условиях почти месяц. Чтобы узнать направление скрытых на известной глубине сокровищ, надо, чтобы стояла хорошо установившаяся погода. Тогда, взяв ящичек с мухой, отправляйтесь в путь, постоянно посматривая и подмечая ее движения. Когда вы будете находиться над местом, содержащим золото или серебро, муха замахает крыльями, и чем ближе вы будете, тем сильнее будут ее движения. Если в недрах сокрыты драгоценные камни, вы заметите содрогания в лапках и усиках. В том же случае, если там находятся лишь неблагородные металлы, как медь, железо, свинец и пр., муха будет ходить спокойно, но чем быстрее, тем ближе к поверхности они находят-

ся». Нечто похожее на это курьезное предание я слыхал и в русских деревнях». Агриппа Ноттенгеймский (или Неттесгеймский), Генрих Корнелий (1486—1535) — разносторонний ученый, близкий к гуманистам. *Пентакль* — от «пентаграмма» (магический знак).

Предостережение. Впервые — «Тарусские страницы», 1961, стр. 310.

Подводный город. Печ. впервые по рукописи. Стихотворение написано по мотивам сказания об Атлантиде, которую получил в свое владение бог Посейдон. См. диалог древнегреческого философа Платона (427—347 до н. э.) «Критий», где, в частности, упоминается «порода *орихалка,* извлекавшаяся из земли во многих местах острова и, после золота, имевшая наибольшую ценность у людей того времени».

Школа жуков. Печ. впервые по рукописи.

Отдыхающие крестьяне. Печ. впервые по рукописи.

Битва слонов. Впервые — «Лит. Грузия», 1962, № 6, стр. 44. Печ. по рукописи.

Торжество земледелия. Впервые — «Пролог» и глава «Торжество земледелия» — «Звезда», 1929, № 10, стр. 54—56; поэма полностью (др. ред.) — «Звезда», 1933, № 2-3, стр. 81—99. Печ. по рукописи.

Безумный волк. Печ. впервые по рукописи. *Чигирь-звезда* — Венера. *Ассурбанипал* — царь Ассирии (668—626 до н. э.), здесь его имя употреблено как символ беспощадности. *Гарпагон* — герой комедии Мольера «Скупой».

Деревья. Печ. впервые по рукописи.

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ

Поход. Впервые — «Ленинградская правда», 1927, 13 ноября.

Поприщин. Впервые — Литературное приложение к «Ленинградской правде», 1928, 29 января. *Поприщин* — персонаж из повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего», бедный чиновник, вообразивший себя испанским королем Фердинандом. *Меджи* — собачонка дочери директора департамента, где служил Поприщин.

Сохранение здоровья. Печ. впервые по рукописи. В 1931 г. в журнале «Ленинградский динамовец» (ноябрь, № 6,

стр. 11) было напечатано стихотворение, являющееся явной вариацией на ту же тему:

ПРОГУЛКА НА ЛЫЖАХ

Если серый ты, как тряпка,
И скребут на сердце мыши —
Надевай скорее шапку,
Вынимай скорее лыжи.
Прямо с горки,
По оврагу,
Чуть не воя,
Чуть не плача,
Ты лети, лети, бедняга,
Ноги фертом раскоряча.
Ты лети, лети по снегу,
Словно пташки из-под ели, —
Лыжи вылечат калеку —
В самом деле!
В самом деле!

Если где-нибудь мужчина
Не имеет аппетита,
Поразмысли — где причина
Столь мучительного вида?
Он ни щей не ест, ни каши,
По ночам ревет спросонок
И по дому ходит даже
От тоски в одних кальсонах.
Потому мужчина плачет,
Не имея хладнокровья,
Что здоровье много значит,
У него же — нет здоровья.
Надевай, мужчина, лыжи,
Вынимай свою фуфайку,
Да с пригорка, словно с крыши,
Начинай-ка!
Начинай-ка!

Почему иная дева
Вид имеет вроде стула —
Загребает ножкой влево,
А сама весьма сутула?

Целый день она считает,
Пишет разные бумажки,
А потом во сне икает
И лекарство пьет из чашки.

Потому плоха девица
И на стул весьма похожа,
Что на воздух не стремится,
Чтобы вся дышала кожа.
Надевай, девица, лыжи,
Вынимай свою фуфайку,
Да с пригорка, словно с крыши,
        Начинай-ка!
        Начинай-ка!

Кто б ты ни был, мой читатель,
Но когда на сердце скука —
Помни: лыжа — твой приятель
Или, может быть, подруга.
        Ну-ка с горки,
        Вдоль по снегу
Побежали! Полетели!
Лыжи вылечат калеку
        В самом деле!
        В самом деле!

Французская бумажка — ароматическое средство.

Осень. Печ. впервые по рукописи.

Кузнечик. Печ. впервые по рукописи.

«Когда бы я недвижным трупом...». Печ. впервые по рукописи.

«Медленно земля поворотилась...». Печ. впервые по рукописи.

«Во многом знании — немалая печаль...». Печ. впервые по рукописи. *Экклезиаст* — название одной из книг Библии.

Венеция. Впервые — «Литературная газета», 1958, 18 января. Это и следующее стихотворения навеяны впечатлениями от поездки Н. Заболоцкого в Италию в 1957 г. в составе делегации советских писателей. *Железные мавры* — статуи мавров, отбивающие часы на площади св. Марка.

Случай на Большом канале. Впервые — «Литературная газета», 1958, 18 января. *Вапоретто* — маленькие катера.

«Разве ты объяснишь мне — откуда...». Печ. впервые по черновой рукописи.

Счастливый день. Печ. впервые по рукописи.

Генеральская дача. Печ. впервые по рукописи.

На вокзале. Печ. впервые по рукописи.

К стр. 320

Железная старуха. Печ. впервые по рукописи.

Исцеление Ильи Муромца. Печ. впервые по рукописи. Вслед за переводом «Слова о полку Игореве» Н. Заболоцкий задумал предпринять стихотворное переложение русских былин. В архиве семьи Заболоцких сохранились многочисленные материалы, свидетельствующие об углубленном изучении поэтом различных вариантов былин об Илье Муромце, а также записка «О необходимости мероприятий по составлению „Свода русских былин"», в которой он пишет: «...Благодаря трудам известных собирателей и систематизаторов, работавших в старые времена, многие культурные народы имеют систематические своды своего эпоса. Эти своды получили всеобщее признание, несмотря на то что некоторые из них (напр., Песни Оссиана) в свое время были скептически восприняты частью научной критики...

Собиратели русских былин не посчитали себя вправе систематизировать свои записи и печатали их в том виде, в каком они были сделаны со слов народных сказителей. Для наших собирателей было характерно высокое чувство ответственности перед наукой. Гильфердинг, например, писал: «Я считаю эпические песни, сохранившиеся в народе нашем, настолько ценными для науки, что они заслуживают все издания». Но вместе с тем все сделанные им записи былин Гильфердинг считал «сырым материалом», он считал, что для «полного, окончательного издания» былин еще не наступило время; он мечтал об «очищенном издании» избранных былин.

Все наши собиратели, начиная с Кирши Данилова и кончая советскими собирателями, проделали огромную работу накопления сырого материала. Чтобы разобраться в этом материале, требуется не только незаурядная эрудиция, но и правильный методологический подход к делу.

Всеобщий интерес к народному эпосу, проявленный русским обществом прошлого века, а также нужды школьного преподавания настоятельно потребовали удобочитаемого свода былин. На протяжении столетия было сделано несколько попыток выполнить эту работу. Среди этих попыток следует особо отметить сводную работу Л. Н. Толстого о четырех старших богатырях, Острогорского — об Илье Муромце, книгу Авенариуса для школьного и домашнего чтения, выдержавшую несколько изданий, и др. Однако большинство этих книг выполнено авторами без достаточной научной подготовки и при весьма невысоких поэтических данных...

В наше время интенсивного роста народного самосознания и новой международной роли русского языка дело организации народного эпоса в единое стройное целое следовало бы считать делом общенародного и государственного значения...

В основу работы по составлению Свода могут быть положены следующие соображения:

1. По естественному географическому делению Свод должен состоять из двух циклов: киевского и новгородского.

2. Циклы, группируясь вокруг основных героев, должны со всей возможной полнотой исчерпать богатство киевских и новго-

родских былин. Однако надобность композиции неминуемо заставит отбросить некоторые третьестепенные сюжеты или приписать некоторые действия другим героям. Смущаться этим не следует. Народные сказители часто идут на это Стремление обыграть весь материал без исключения повлечет за собой ряд натяжек и длиннот.

3. Богатство былинного языка должно быть сохранено во всей его благоразумной неприкосновенности. Однако безусловно должны быть исключены чуждые общенародной речи диалектизмы и местные обороты речи. Неправильные словообразования, принятые сказителем для сохранения размера, должны быть заменены общепринятыми. Ничего не значащие подсобные словечки: то, ти, ка, ва, ведь, нунь и прочие подобные, вставленные для размера, должны быть отброшены как препятствующие естественному движению речи. Должны быть изъяты имеющиеся в текстах немногочисленные вульгарные обороты.

4. Поэты-составители в целях художественного усовершенствования текста не должны бояться творческого вмешательства в текст, если это требуется ходом дела. Здесь, однако, должен быть полностью соблюден такт и обнаружено полное понимание былинного стиля.

5. Надобно помнить, что тонический стих былины обнаруживается только при пении ее сказителем, на что указывал еще Гильфердинг. В писаном тексте, где будут отсутствовать музыкальный каданс и вспомогательные вставные словечки, — стих потеряет свой тонический характер. Поэты обязаны воссоздать тонический былинный стих собственными средствами и не отступая от былинного стиля.

6. Текст былин должен делиться на строфы различной протяженности, т. к. былина в ее живом исполнении имеет строфическое членение. Это убедительно доказано ленинградским исследователем А. Никифоровым.

Цель этой записки — обратить внимание руководства Союза на необходимость принять меры к составлению Свода Русских Былин. Каждое из положений записки при необходимости может быть дополнительно развито и аргументировано».

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

Впервые — «Октябрь», 1946, № 10-11, стр. 84. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 168. В заметке «От переводчика», помещенной в журнале, Заболоцкий писал: «Моя работа... не претендует на научную точность строгого перевода и не является результатом новых текстологических изысканий. Это — свободное в о с п р о и з в е д е н и е древнего памятника средствами современной поэтической речи». 7 октября 1945 г газета «Социалистическая Караганда» сообщала о выступлении Н. Заболоцкого с чтением перевода «Слова». Однако работа над переводом продолжалась и впоследствии. В бумагах поэта сохранилась статья «О ритмической структуре „Слова о полку Игореве“», датированная 1951 г. В письмах к поэту

(хранятся в семье Заболоцкого) академик Д. С. Лихачев отмечал, что данный перевод «несомненно лучший из существующих, лучший своей поэтической силой». Одобряя мысли Заболоцкого о стихотворной обработке русских былин (см. примечание к «Исцелению Ильи Муромца», стр. 468), Д. С. Лихачев предложил ему также переложить «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщину» и «Слово о погибели Русской земли».

«Слово о полку Игореве» — величайшее произведение древней русской литературы, памятник русской культуры XII в. Список «Слова» был найден в начале 90-х годов XVIII в. в одном из рукописных собраний Ярославля. Существуют многочисленные переводы «Слова» с древнерусского на современный русский язык, в том числе выполненные В. А. Жуковским, А. Н. Майковым, В. И. Стеллецким, А. К. Юговым. «Слово о полку Игореве» рассказывает о походе на половцев новгород-северского князя Игоря Святославича весной 1185 г.

Вступление. *Ярослав* (Мудрый) умер в 1054 г. При нем еще сохранялось государственное единство и мощь Киевской Руси. *Мстислав Редедю заколол.* Речь идет о единоборстве знаменитого черниговского и тмутороканского князя Мстислава Владимировича (ум. в 1036), брата Ярослава Мудрого, с косожским князем Редедею; в «Повести временных лет» об этом поединке рассказывается под 1022 г. *Роман Красный* (ум. в 1079) — князь тмутороканский, внук Ярослава Мудрого. *Владимир* Святославич умер в 1015 г. *Траян* (Троян) упоминается в древнерусской письменности как языческий бог. *Велес* (Волос) — языческий «скотий бог», по-видимому считался также покровителем пастухов и певцов-поэтов. Люди и стихии (ветры, например) в представлении язычников — потомки богов. *Сула* (левый приток Днепра) — ближайшая к Киеву граница Половецкой степи.

Часть первая. *Всеволод,* брат Игоря (ум. в 1196) — князь трубчевский и курский. *Яруг* — овраг, буерак; также — ручей в овраге. *Див* — возможно, мифическое существо, вроде лешего или вещей птицы. *Сурож* — ныне Судак, город в Крыму. *Корсунь* (Херсонес) — греческая колония в Крыму (недалеко от нынешнего Севастополя). *Тмуторокань* — княжество, находившееся на месте нынешней Тамани, на северном берегу Черного моря, в XI в. управлялось черниговскими князьями, но во второй половине XI в. было отторгнуто половцами. *Болван тмутороканский* — возможно, одна из двух огромных статуй (божества Саперг и Астарта), воздвигнутых в в III в. до н. э. *Аксамит* — бархатная ткань. *Гнездо бесстрашное Олега.* Имеется в виду Олег Святославич — родоначальник черниговских князей, участников похода. *Гзак* (Гза) и *Кончак* — предводители половецких сил, идущих навстречу Игорю. *Бежать* — в Древней Руси означало не «спасаться бегством», а быстро передвигаться. *Стрибог* — по-видимому, бог ветров. *Авары* (обры) — племя, появившееся на северных берегах Черного моря в V в. и исчезнувшее в IX в. *Глебовна* — Ольга Глебовна, жена Всеволода *Звон тот слушал* — шум княжеских раздоров, усилившихся при *Владимире* Мо-

номахе. *Борис, сын Вячеслава* — внук Ярослава Мудрого; он выступил в междоусобной борьбе на стороне *Олега* Святославича, лишившегося своей вотчины — Чернигова, и был убит у реки *Канины*. *Отец Святополка* — Изяслав Ярославич был убит в 1078 г. близ Чернигова, в той же битве, что и Борис Вячеславич, сражаясь против *Олега*. *Угорские* — венгерские. *Даждь-бог* — один из языческих богов; *внуки Даждь-бога* — русские. *Оратай* — пахарь. *Харалужный* — по-видимому, булатный. *Ка́рна* — олицетворение кары и скорби. *Же́ля* (Жля) — плач по убитым. *Разбудил поганых для войны* и т. д. Походы Святослава (1184) замирили половцев, их вновь «разбудило» поражение Игоря. Половецкий хан *Кобяк* был захвачен в плен русскими князьями, выступившими в поход против половцев во главе со Святославом Киевским в 1183 г. *Венеце́йцы* — жители Венеции.

Часть вторая. *Олег* — сын князя Игоря. *Святослав* — племянник Игоря, князь Рыльский. *Девы готские.* Готы жили в Крыму и вблизи Тмуторокани. *Бус* (Бос, Боус или Бооз) — антский князь; в 375 г. готский король победил антов (предков восточных славян) и приказал распять Бооза и его сыновей. *Месть Шаруканья.* Шарукан — дед хана Кончака — потерпел жестокое поражение от Владимира Мономаха в 1106 г.; Кончак после поражения Игоря смог отомстить за его бесславие. *Татраны, топчаки, ольберы, ревуги* — племена тюркского происхождения, выступившие против половцев на стороне русских. *Римов* — осажденный половцами город. *Сыновья Глеба* — сыновья Глеба Ростиславича, рязанские князья, зависимые от *Всеволода* Георгиевича *Суздальского,* могущественного князя. *Ногата и резань* — названия мелких монет. *Рюрик* Ростиславич — один из самых деятельных и воинственных князей XII века. *Давид* (Давыд) Ростиславич Смоленский — брат Рюрика. *Ярослав* Владимирович Галицкий — тесть Игоря Святославича, князь богатого Галичского княжества, прозванный *Осмомыслом* (от «восьми мыслей»). *Роман* Мстиславич — князь волынский и галицкий. *Мстислав* — возможно, его двоюродный брат Мстислав Ярославич Пересопницкий. *Деремела, ятвяги* — литовские племена. *Рось* — правый приток Днепра. *Ингварь* и *Всеволод* — сыновья Ярослава Изяславича Луцкого. *Трое Мстиславичей* — сыновья Мстислава Изяславича: Роман, Святослав и Всеволод, волынские князья (Роман уже был выше назван). *Шестокрыльцы* — соколы. *Седьмой... век Траянов* — конец языческих времен, имеется в виду магическое значение числа семь: семь дней творенья, семь тысяч лет существования мира и т. п. *Всеслав Полоцкий* действовал в обстановке восстаний смердов, сомкнувшихся с реакцией древнерусского язычества. Решив воспользоваться в 1068 г. восстанием киевлян, чтобы захватить киевский престол, Всеслав играл своей судьбой — *кинул жребий. Выскочил из Белгорода зверем* и т. д. В 1069 г. Всеслав вместе с киевлянами выступил против пошедших на него войной князя Изяслава и польского короля Болеслава, но еще до встречи с их войсками, по неизвестной причине, был вынужден бежать ночью из Белгорода, тайно от киевлян (см. «Повесть временных лет», под 1069 г.) *Дудутки* — местечко вблизи Новгорода. *Немига* — небольшая речка, на которой стоял Минск (сейчас ее нет); здесь Всеслав потерпел

поражение от сыновей Ярослава. *Хорс* — славянский языческий бог, по-видимому — бог солнца. *Старый Владимир* — Владимир I Святославич, ходивший многими походами на внешних врагов Русской земли.

Часть третья. *Ярославна* — жена Игоря Ефросинья, дочь Ярослава Владимировича Осмомысла. *Забрало* — крепостная стена. *Овлур* — половец, бежавший вместе с Игорем. *Вежа* — шатер, кибитка. *Гоголь* — дикая утка из породы нырковых. *Дятлы... стуком кажут путь к реке.* В степи деревья растут только в глубоких, не видных издали долинах рек, стук дятлов в деревьях указывал Игорю путь к речным зарослям, в которых можно скрыться от погони. *Вот Стугна, худой имея нрав* и т. д. В реке Стугне (приток Днепра) утонул во время переправы двадцатидвухлетний сын Всеволода Ярославича князь *Ростислав. Соколенок* — сын Игоря Владимир; он женился в плену на дочери Кончака и в 1187 г. с женой и ребенком вернулся на Русь, где был обвенчан уже по церковному обряду. *Боричев* — неоднократно упоминаемый в летописи взвоз (подъем), ведущий снизу, от днепровской пристани, к центру Киева. *К Пирогощей богородице.* Имеется в виду церковь богородицы Пирогощей, построенная в 1136 г.

ИЗ ПЕРЕВОДОВ

Из сербского эпоса

Королевич Марко и вила. Впервые — «Сербский эпос», т. 1, М., 1960, стр. 160. *Королевич Марко* — юнак (богатырь, герой), о котором сложен цикл сербских народных песен. *Вила* — мифологическое существо. *Милош-воевода* — юнак, герой Косовской битвы (1389). *Шарац* — легендарный конь, наделенный сказочными свойствами. *Шестопер* — род палицы, тяжелое оружие. *Видин* — город на Дунае.

Марко узнает отцовскую саблю. Впервые — «Сербский эпос», т. 1, М., 1960, стр. 200. *Марица* — река. *Новак* — легендарный кузнец. *Вукашин* — правитель (1365—1371), действительно погибший в битве на Марице.

Старые немецкие поэты

МЕЙЕРГОФЕР

Мейергофер — малоизвестный австрийский поэт первой половины XIX в.

Мемнон. Впервые — «Стихотворения», 1957, стр. 119. *Мемнон* (греч. миф.) — сын богини утренней зари Эос (*Авроры* — у римлян),

убитый под Троей. Его именем греки называли статую египетского фараона Аменофиса (Аменктепа) III, находящуюся возле Фив и издающую при восходе солнца странные звуки.

РЮККЕРТ

Рюккерт Фридрих (1788—1866) — немецкий поэт-романтик, профессор восточных литератур.

Песнь старца. Впервые — «Стихотворения», 1957, стр. 120.

ГЕТЕ

Свидание и разлука. Впервые — «Стихотворения», 1957, стр. 122.

ШИЛЛЕР

Рыцарь Тогенбург. Впервые — «Стихотворения», 1957, стр. 124.

Ивиковы журавли. Впервые — «Стихотворения», 1957, стр. 127. *Ивик* — полулегендарный древнегреческий поэт (VI в. до н. э.). *Коринф* — один из крупнейших городов Древней Греции. *Акрокоринф* — стены Коринфского акрополя (т. е. возвышенной, укрепленной части города). *Пританы* — должностные лица в Древней Греции. *Гелиос* — бог солнца. *Фокида* — область в Средней Греции. *Авлида* — знаменитая морская гавань, из которой греческий флот отправлялся в поход на Трою. *Эриннии (Эвмениды)* — богини мщения. *Аид* — подземное царство.

Из современной итальянской поэзии

УМБЕРТО САБА

Умберто Саба (1883—1957) — итальянский поэт.

Мое достояние. Впервые — «Новый мир», 1958, № 4, стр. 80.

Паолина. Впервые — сб. «Из итальянских поэтов», М., 1958, стр. 94.

Чемпионка по плаванию. Впервые — сб. «Из итальянских поэтов», М., 1958, стр. 95.

Три улицы. Впервые — «Иностранная литература», 1958, № 5, стр. 90.

К стр. 376—383

РИПЕЛЛИНО

Рипеллино Анджело Мариа (род. в 1922 г.) — поэт, переводчик и литературовед, в частности — исследователь русской и советской поэзии.

«Нет, я не говорил, что одинок я в мире...». Печ. впервые по рукописи.

«Пришел февраль огромный, бородатый...». Впервые — «Иностранная литература», 1958, № 5, стр. 100. В сб. «Из итальянских поэтов», М., 1958, стр. 74 — под названием «Февраль».

Воскресенье. Впервые — сб. «Из итальянских поэтов», М., 1958, стр. 74.

Из венгерской поэзии

АНТАЛ ГИДАШ

Антал Гидаш (родился в 1899 г.) — современный венгерский писатель-революционер, известный не только своими стихами, но и как прозаик, автор романа «Господин Фицек». На русском языке вышли книги его стихов — «Венгрия ликует» (1930) и «Колонии кричат» (1931). Стихи, переведенные Н. А. Заболоцким, входят в цикл «Сад моей тетушки» (1946—1950). Впервые — «Новый мир», 1947, № 3, стр. 94. Печ. по кн. «Антал Гидаш. Избранные произведения в двух томах», т. 1, М., 1960, стр. 59—92. К стихотворению «Зачем? ..» (в «Антологию венгерской поэзии» (М., 1952, стр. 390) оно вошло под названием «Отмщенья!») имеется примечание: «Это и следующие стихотворения написаны в 1944 году, когда в Венгрии хозяйничали немецкие фашисты».

Классики грузинской поэзии

Печ. по кн.: Грузинская классическая поэзия в переводах Н. Заболоцкого, в двух томах, Тбилиси, 1958.

ДАВИД ГУРАМИШВИЛИ

Давид Гурамишвили (1705—1792) — грузинский поэт, создатель книги «Давитиани» (буквально — «Давидово»), много лет проживший на Украине.

Зубовка. Впервые — в кн.: Давид Гурамишвили. Стихи и поэмы, М., 1953, стр. 184. *Зубовка* — село на Украине близ г. Миргорода, на реке Хорол.

ГРИГОЛ ОРБЕЛИАНИ

Григол (Григорий) Орбелиани (1800—1883) — грузинский поэт-романтик и политический деятель.

Мухамбази («Не давай мне вина...»). Впервые — Григорий Орбелиани, «Стихотворения», Тбилиси, 1947, стр. 7. *Мухамбази* — форма восточного стиха с пятистрочной строфой. Мухамбази Гр. Орбелиани написаны в свободной манере.

Весна. Впервые — Григорий Орбелиани, «Стихотворения», М.—Л., 1949, стр. 30.

К Ярали. Впервые — Григорий Орбелиани, «Стихотворения», Тбилиси, 1947, стр. 38. *Ярали* Шаншиашвили — последний придворный поэт грузинских царей, знакомый Гр. Орбелиани. *Коджорские высоты.* Коджори — живописная местность возле Тбилиси. *Иверийцы* — жители восточной Грузии, называвшейся в древности Иверией. *Картвелы* — грузины. *Азарпеша* — ковш для вина с длинной ручкой. *Я — в Новгород брошен.* Орбелиани был выслан из Грузии после заговора 1832 г. в Россию.

Вечер разлуки. Впервые — Григорий Орбелиани, «Стихотворения», Тбилиси, 1947, стр. 63. *Дэвы* — в фольклоре народов Востока исполинские злые чудовища.

Мухамбази («Только я глаза закрою...»). Впервые — Григорий Орбелиани, «Стихотворения», Тбилиси, 1947, стр. 75. *Чамчи-Мелко* — тбилисский ашуг второй половины XIX в. *Лопиана* — тбилисский рыбак, отличавшийся в кулачных боях, любимец Гр. Орбелиани. *Орточалы* — предместье Тбилиси, излюбленное место развлечения состоятельной молодежи.

ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ

Илья Чавчавадзе (1837—1907) — грузинский поэт, прозаик и политический деятель.

Горам Кварели. Впервые — «Дружба народов», 1947, кн. 16, стр. 129. *Кварели* — город и крепость в Кахетии на берегу Алазани, родина поэта.

Элегия. Впервые — «Дружба народов», 1947, кн. 16, стр. 128.

Базалетское озеро. Впервые — «Дружба народов», 1947, кн. 16, стр. 128. Старинная легенда говорила, что на дне *Базалетского озера,* находящегося недалеко от г. Душети, в золотой колыбели растет младенец, будущий герой грузинского народа.

АКАКИЙ ЦЕРЕТЕЛИ

Акакий Церетели (1840—1915) — грузинский поэт и прозаик.

Волнуйся, море! Впервые — «Антология грузинской поэзии», 1958, стр. 332.

Рассвет. Впервые — «Антология грузинской поэзии», М., 1958, стр. 334. *Мтацминда* — «Святая гора», возвышающаяся над Тбилиси, на склоне которой находится кладбище — пантеон грузинских писателей. *Доблестный герой* — грузинский общественный деятель и писатель Д. И. Кипиани (1814—1887), сосланный в Ставрополь, где он был убит царскими наемниками.

Юности. Впервые — «Антология грузинской поэзии», М., 1958, стр. 343.

ВАЖА ПШАВЕЛА

Важа Пшавела — псевдоним поэта Луки Разикашвили (1861—1915).

Горы спят. Впервые — Важа Пшавела, «Стихи и поэмы», Л., 1957, стр. 36. *Хорал* — здесь: многоголосое пение, хор. *Гергети* — ледник на Казбеке. *Борбала* — горная вершина, где находятся истоки Алазани.

Гора и долина. Впервые — «Москва», 1957, № 8, стр. 35.

Стон бесконечный. Впервые — Важа Пшавела, «Стихи и поэмы», Л., 1957, стр. 40. Написано на основе поверья о герое Амирани, вступившем в борьбу с богами и, подобно Прометею, прикованном за это к скалам Кавказа. *Дэвы* — см. стр. 475.

Берикаули. Впервые — Важа Пшавела, «Стихи и поэмы», Л., 1957, стр. 48.

Орел. Впервые — Важа Пшавела, «Стихи и поэмы», Л., 1957, стр. 40.

Песня («Ты на том берегу...»). Впервые — Важа Пшавела, «Стихи и поэмы», Л., 1957, стр. 45.

Поэты Советской Грузии

Г. АБАШИДЗЕ

Облако Носте. Впервые — Г. Абашидзе, «Стихотворения», М., 1951, стр. 73. *Носте* — селение в Грузии, родина великого правителя *(дидмоуравиани)* Георгия Саакадзе, погибшего в изгнании. *Алеппо* — старинный город в Сирии. *«Дидмоуравиани»* — поэма о Са-

акадзе, написанная в 70-х годах XVII в. Иосифом Тбилели. *Кизилбаши* — «красноголовые», прозвище иранцев по цвету их головных уборов.

На кладбище Самцхе. Впервые — Г. Абашидзе, «Стихотворения», М., 1951, стр. 79. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 133. *Самцхе* — одна из южных областей древней Грузии. *Тамерлан* (1336—1405) — восточный завоеватель и основатель обширной среднеазиатской империи. *Шах-Аббас* (1587—1629) — иранский шах, дважды вторгавшийся в Грузию и опустошавший ее.

«Лишь ветер подует в дубраве...». Впервые — Г. Абашидзе, «Горы и скалы», М., 1956, стр. 57.

Ушба. Впервые — «Стихотворения», 1957, стр. 137. *Ушба* — труднодоступная вершина в горах Кавказа. *Каджети* — крепость мифических человекоподобных существ, чародеев, олицетворяющих злое начало.

Лес на Энгури. Впервые — «Стихотворения», 1957, стр. 138. *Энгури* — горная река.

К. КАЛАДЗЕ

По мирным дорогам Грузии. Впервые — под названием «По дорогам Грузии» — «Заря Востока», 1949, 27 марта. С изменениями — Карло Каладзе, «Избранное», Тбилиси, 1955. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 139. *Кеда* — селение в Грузии. *Хоруми* — грузинский народный танец.

Гончары. Впервые — Карло Каладзе, «Избранные стихи», М., 1949, стр. 89. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 141.

Сказание о зодчем. Впервые — Карло Каладзе, «Избранные стихи», М., 1949, стр. 27 (с подзаголовком — «Говорит хизобаврец»). Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 144. *Хертвиси* — селение у слияния реки Тапаравани с Курой; над ним находятся развалины средневекового замка. *Картли* (Карталиния) — часть восточной Грузии, бывшая в старину самостоятельным царством.

М. КВЛИВИДЗЕ

Ушба. Впервые — «Октябрь», 1955, № 2, стр. 125. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 146. *Сванетия* — высокогорная область в Грузии.

«Подняться на такую высоту...». Впервые — Михаил Квливидзе, «Солнце сквозь листья», М., 1955, стр. 62. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 149.

К стр. 418—427

Г. ЛЕОНИДЗЕ

Майская. Впервые — под названием «Майское» — Георгий Леонидзе, «Стихотворения и поэмы», М., 1955, стр. 32. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 151.

Т. ТАБИДЗЕ

Заздравный тост. Впервые — «Стихотворения», 1957, стр. 152. *Пиросмани Нико* — известный грузинский художник (ум. в 1918 г.).

Праздник Аллаверды. Впервые — «Новый мир», 1956, № 7, стр. 93. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 153. *Аллаверды* — селение в Кахетии. *Вачнадзе Ната* — популярная грузинская актриса. *Важа* — Важа Пшавела (1861—1915), знаменитый грузинский поэт. *«Не гасни, о день мой...»* — народная грузинская песня. *Миндия* — герой поэмы Важа Пшавела. *Кистины* (ингуши) — горная народность. *Мухамбази* — см. стр. 474. *Леван* — народный кахетинский певец. *Дзелква* — дерево, растущее в Закавказье. *Шаири* — форма грузинского стиха. *«Шашви какаби»* — народная песня о скворце. *Саят-Нова* (ум. в 1795 г.) — ашуг-стихотворец, слагавший стихи на грузинском, армянском и азербайджанском языках. *Бесики* — грузинский поэт (ум. в 1791 г.).

С. ЧИКОВАНИ

Садовник. Впервые — Симон Чиковани, «Избранное», М., 1954, стр. 22. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 156.

Вардзийский зодчий. Впервые — Симон Чиковани, «Избранное», М., 1954, стр. 120—122. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 158—160. *Вардзия* — подземный город, высеченный в скалах во времена царицы Тамары (конец XII в.). Находится в верховьях Куры. Шота *Руставели* — знаменитый грузинский поэт XII в., автор поэмы «Витязь в тигровой шкуре».

Сбор винограда. Впервые — Симон Чиковани, «Избранное», М., 1954, стр. 32. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 161. *Атени* — село близ г. Гори в Карталинии, славящееся своим вином.

Старик из Атени. Впервые — Симон Чиковани, «Новые стихи», Тбилиси, 1954, стр. 25. Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 163.

Дождь идет. Впервые — Симон Чиковани, «Избранное», М., 1954, стр. 159 Печ. по сб. «Стихотворения», 1957, стр. 165. В бумагах Н. Заболоцкого сохранилась вариация на тему этого стихотворения. *Крцаниси* — местность возле Тбилиси, где в 1795 г. произошла битва с иранскими полчищами. *Самгори* — буквально «Три горы»,

безводная степь недалеко от Тбилиси, ныне орошаемая. *Рустави* — новый город, центр грузинской металлургии. *Мтацминда* — см. стр. 475.

Раковина. Впервые — Симон Чиковани, «Тени платанов», М., 1959, стр. 56. *Риони* — крупнейшая река Западной Грузии.

Незнакомка из Зубовки. Впервые — Симон Чиковани, «Тени платанов», М., 1959, стр. 58. См. стихотворение Д. Гурамишвили «Зубовка» (стр. 383) и примечание к нему (стр. 474). *Нестан* — героиня поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

На озере Рица. Впервые — «Заря Востока», 1958, 7 сентября. Печ. по кн.: Симон Чиковани, «Тени платанов», М., 1959, стр. 54.

Из восточной поэзии

ЛЮТФИ

Лютфи (1369—1465) — выдающийся узбекский лирический поэт и ученый, одно время состоял на службе у сына и преемника Тимура — Шахрух-мирзы (1409—1446). Оставив службу, отправился в Золотую Орду, потом совершил путешествие в Иран и Азербайджан.

Газели. Печ. по «Антологии узбекской поэзии», М., 1950, стр. 103. *Мухтасиб* — официальное лицо, наблюдавшее за нравами в странах мусульманского Востока.

АГАХИ

Мухамед Риза *Агахи* — узбекский поэт, племянник известного поэта Муниса. Он служил при Аллакули-хане (Хива) в должности составителя ханских указов и, кроме того, выполнял обязанности мираба (должностное лицо, ведающее водопользованием). С 1838 г. продолжал труд своего дяди Муниса «Фирдавс-уль-икбал» («Сад благоденствия») — записки по истории Хорезма.

Газель. Печ. по «Антологии узбекской поэзии», М., 1950, стр. 223.

ФАЗЛИ

Фазли — видный узбекский ученый и поэт при дворе кокандского правителя Омар-хана (1810—1822). Фазли был тонким знатоком поэзии своей эпохи и занимался изучением литературы. Он собрал образцы произведений поэтов, живших при Омар-хане, и составил сборник под названием «Маджмуат-уль-шуара» («Собрание поэтов»).

К стр. 434—439

Газель. Впервые — «Антология узбекской поэзии», М., 1950, стр. 227. Печ. по рукописи. *Сунбуль* — гиацинт. *Сурьма Сулеймана.* По преданию, Сулейман (библейский Соломон) обладал сурьмой (краска для бровей), позволявшей ему видеть сокрытое от человеческих глаз.

МАСУДИ СА'ДИ САЛЬМАН

Масуди Са'ди Сальман (1046—1121) — таджикский поэт, придворный поэт могущественной династии Газневидов, попавший в немилость и заключенный в крепость, где он написал цикл стихов.

Отрывок из «Тюремной касыды». Печ. по «Антологии таджикской поэзии», М., 1957, стр. 269. В бумагах Н. Заболоцкого сохранился вариант перевода — «В крепости Сумдж». *Касыда* — род одического стихотворения в поэзии Востока.

АХМАТ ДАНИШ

Ахмат Даниш (1827—1897) — таджикский ученый и писатель-просветитель, убежденный сторонник русской культуры.

Касыда. Печ. по рукописи, датированной 1946 г. *Калам* — перо. *Отарид* — планета Меркурий. *Бехзадэ* (Бехзад) — знаменитый таджикский художник XV в., имя которого стало нарицательным. *Мани* (III в.) — легендарный основатель религиозного учения манихеев. По преданию, был художником. *Танга* — денежная единица в Бухарском эмирате.

КАТРАН ТЕБРИЗИ

Катран Тебризи — поэт первой половины XI в., живший в Иранском Азербайджане.

Землетрясение в Тебризе. Печ. по рукописи 1946 г. *Тебриз* — город на севере Ирана.

Из украинской поэзии

ЛЕСЯ УКРАИНКА

Леся Украинка (Л. П. Косач-Квитка, 1871—1913) — известная украинская писательница.

Песни про волю. Печ. по кн.: Леся Украинка, Собр. соч, в трех томах, т. 1, М., 1950, стр. 211. *«Смело, друзья!»* — стихотворение М. Л. Михайлова, ставшее революционной песней. Особенной популярностью пользовалось в среде народовольцев. *«Нагаечка, нагаечка!»* — студенческая революционная песня с припевом: «Нагаеч-

ка, нагаечка, нагаечка моя; так вспомни же, нагаечка, восьмое февраля». Во время демонстрации 8 февраля 1899 г. в Петербурге казаки на одном из мостов избивали студентов нагайками. *«Карманьола»* — французская революционная песня, сложенная в 1792 г. в связи со взятием Тюильри и падением королевской власти.

«За горой зарницы блещут...». Печ. по кн.: Леся Украинка, Собр. соч. в трех томах, т. 1, М., 1950, стр. 224.

МИКОЛА БАЖАН

Сумерки в Гайд-парке. Впервые — «Огонек», 1949, № 5, стр. 13. Печ. по кн.: Микола Бажан, «Английские впечатления», М., 1950, стр. 22. *Гайд-парк* — парк в Лондоне. *«Огород победы»*. Так была названа часть Гайд-парка, раскопанная во время войны под огороды.

Над морем. Впервые — «Новый мир», 1955, № 11, стр. 26. Это и следующее стихотворение — из цикла «Мицкевич в Одессе». *Эриннии* — см. стр. 473.

Буря. Впервые — «Новый мир», 1955, № 11, стр. 27. *Тарханкут* — мыс в Крыму. *Трамонтана* — северо-восточный ветер на Черном море.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ[1]

---

[1] Первая цифра указывает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

СТОЛБЦЫ И ПОЭМЫ

(1926—1933)

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

ИЗ ПЕРЕВОДОВ

Из сербского эпоса

Старые немецкие поэты

МЕЙЕРГОФЕР

ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ

АКАКИЙ ЦЕРЕТЕЛИ

ВАЖА ПШАВЕЛА

Поэты Советской Грузии

Г. АБАШИДЗЕ

К. КАЛАДЗЕ

М. КВЛИВИДЗЕ

Из украинской поэзии

ЛЕСЯ УКРАИНКА

МИКОЛА БАЖАН

Заболоцкий Николай Алексеевич

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1965, 504 стр.
Тем. план вып. 1965 г., № 513

Редактор *Г. М. Цурикова*

Художник *И. С. Серов.* Худож. редактор *А. Ф. Третьякова.*
Техн. редактор *В. Г. Комм.* Корректор *Ф. Н. Аврунина*

Сдано в набор 24/V 1965 г. Подписано в печать 13/XI 1965 г.
М 57151. Бумага 84×108 1/32. Печ. л. 15 3/4 + 5 вкл. (26,98)
Уч.-изд. л. 24,44. Тираж 25 000. Зак. № 1432. Цена 93 к.

Издательство «Советский писатель»,
Ленинградское отделение, Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров СССР по печати,
Красная ул., 1/3

